

ЭЛИ ВИЗЕЛЬ • ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

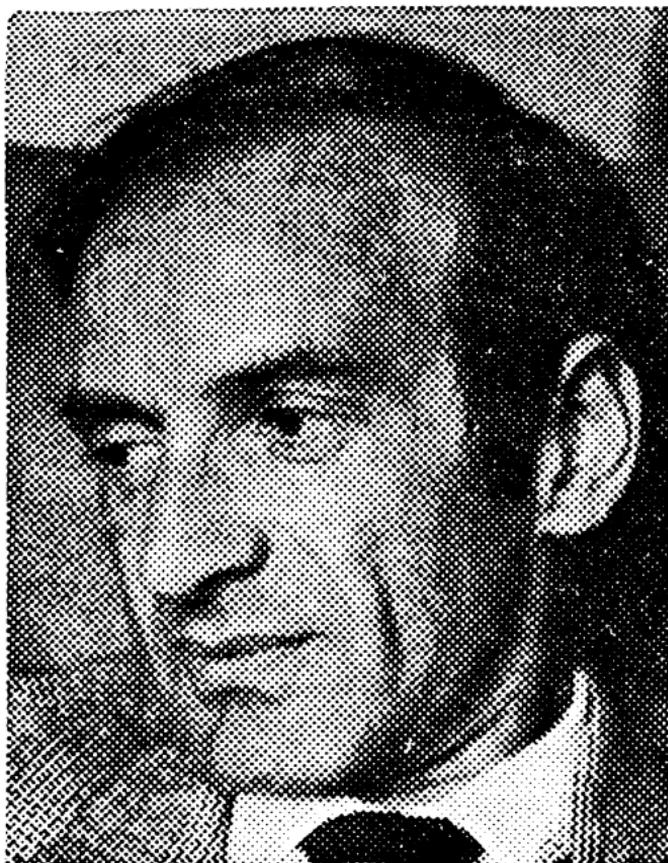


ЭЛИ ВИЗЕЛЬ
ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ

Эли Визель

ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

(две повести)



ЭЛИ ВИЗЕЛЬ – родился в 1928 году в Сигете, Румыния. Пишет в основном по-французски. Получил еврейское религиозное образование. Юношей испытал ужасы концлагерей Освенцим, Биркенау и Бухенвальд. После Второй мировой войны несколько лет жил в Париже, где закончил Сорбонну, затем переехал в Нью-Йорк. Большинство произведений Э. Визеля связаны с темой Катастрофы европейского еврейства ("И мир молчал", 1956; "Рассвет", 1961; "День", 1961; "Спустя поколение", 1970), воспринимаемой им как страшная и незабываемая мистерия. В 1972 году был опубликован сборник "Литературные портреты вождей хасидизма и легенды о них". В предлагаемую читателю книгу включены две повести – "Легенды нашего времени" (1966) и "Иерусалимский нищий" (1968). Тема этих повестей – отношения между человеком и Богом; поиск новых ответов на извечные вопросы бытия.

Эли Визель

**ЛЕГЕНДЫ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ**



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1982

Printed in Israel

אלי ויזל
סיפורי זמננו

Eli Wiesel
Legends of our Time

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

471

Перевела Р. Зернова
Редактор С. Шенбрунн

©
ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות
לספרית-עליה
ת.ד. 7422, ירושלים
היוצאת לאור בסיוע:
האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים
וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

СОДЕРЖАНИЕ

Выписка из дорожного блокнота автора	7
Легенды нашего времени	11
Введение	13
I Смерть моего отца	16
II Мои учителя	23
III Вечерний гость	30
IV Сирота	38
V Иом-Киппур, день без прощения	45
VI Старый знакомый	52
VII Барбара	67
VIII Завещание еврея из Сарагосы	79
IX Моше-сумасшедший	89
X Вечный жид	106
XI Последнее возвращение	129
XII Наша общая вина	153
XIII Речь в защиту мертвых	165
Иерусалимский нищий	191
I 	193
II 	206
III 	229
IV 	240
V 	250
VI 	260
VII 	271
VIII	277
IX 	294
X 	300
XI 	308
XII 	317
XIII	330
XIV	335
XV 	353
XVI 	366

Выписка из дорожного блокнота автора:

"Война окончена; где же радость? Во всеобщей взволнованной суматохе я ищу ее, но не нахожу. Вижу суровые лица, страдальческие взгляды. Люди, потрясенные пережитым, словно не знают, что им теперь делать. Недавнее прошлое поднялось на уровень легенды и Истории. Столько страхов, столько гнева накопилось перед взрывом; и вдруг – поворот колеса истории; все произошло слишком быстро, слишком внезапно. И победителям и побежденным еще понадобится время, чтобы перевести дух и понять смысл и значение происшедшего. Давид победил Голиафа и теперь спрашивает себя, как ему это удалось; этого не знает никто, а он сам меньше других. Это его удивление должно вызывать восхищение и надежду еще больше, чем его победа".

...Эти строки написаны в июне 1967 года, в Святой Земле, когда люди вдали от домашних очагов хоронили своих погибших в бою товарищей. Почему я приехал? Чтобы принять участие в битве? Нет. Я никогда не был солдатом. Да и опасность была уже позади. Я принял решение приехать гораздо раньше. Точнее говоря, во время напряжения, предшествовавшего военным действиям.

Ибо, не смея признаться себе в этом, я ожидал катастрофы. У меня было меньше веры, чем у израильтян; я воспринимал все эти силы, открыто готовившиеся их уничтожить, гораздо более трагически, чем они. Они ни на кого не могли рассчитывать, защищая свое право на жизнь. Они были одиноки – как когда-то в Европе.

Что касается туманных обещаний и советов дружественных и нейтральных государств – мы знали, чего они стоят. Равнодушие одних, напыщенные разглагольствования других. Арабский лагерь усматривал в этом одобрение или безмолвное сообщничество. Вокруг слышалось: "священная война", "тотальная война". На вопрос парижского журналиста, разрешит ли война еврейский вопрос в Палестине, Ахмед Шукейри, славившийся своей откровенностью, ответил не колеблясь: "После войны никакого еврейского вопроса не будет".

Как и двадцать пять лет назад, Ватикан молчал. Мир молчал. Пусть евреи дадут себя избить; мы оплачем их потом. Это походило на кошмар. Израиль превратился в гетто. Пусть жители сопротивляются до последнего, а так называемые христианские, цивилизованные и прогрессивные нации, верные своим традициям, будут сохранять нейтралитет. А потом нам придется начать все сначала, хотя у нас не будет ни сил, ни желания это сделать. Вот почему молодые так рвались в Израиль. Не только из солидарности с жертвами, зажатými в тиски, но и от отчаяния. Лучше погибнуть с последними защитниками, чем пережить крушение мечты.

Потом несчастье было отведено и превратилось в победу. Люди внезапно оказались в каком-то нереальном мире и перемещались там словно вне времени; им казалось, что они бредят. Никто не знал, какой сегодня день, месяц, век. То чудилось, что вернулось время библейских испытаний и побед: названия сражений звучали как-то знакомо. То казалось, что люди одним толчком выброшены вперед, в далекое, мессианское будущее.

– Вы в самом деле понимаете, по-настоящему понимаете, что произошло? – спросил я генерала Ицхака Рабина, бывшего начальника штаба армии Израиля и победителя в Шестидневной войне.

Он задумался, потом ответил:

– Нет, все еще не понимаю.

Что-то в понимании этой войны ускользало от него, что-то таинственное. Немало генералов ему вторило. Означало ли это, что они не были уверены, что выигрывают кампанию? Были уверены. Для Израиля это не был вопрос чести или национального унижения – это был вопрос жизни и смерти. Победа нужна была Израилю, чтобы выжить. Но военные и человеческие качества израильских бойцов, их храбрость и самоотверженность недостаточны для объяснения этой победы. Тут было что-то еще – но что именно, я не знаю. Знаю только, что эта война была непохожа на прочие. Во-первых, победители вообще предпочли бы обойтись без войны. Они возвратились домой погрузневшие; никакого высокомерия, никакой ненависти. Озадаченные, задумчивые, они словно хотели докопаться до самых корней своей тайны. Мир еще не видел таких победителей.

Конечно же, от времени воспоминания тускнеют, сюрпризы перестают волновать. Опять нами завладела повседневность. Люди все забывают слишком быстро.

Забывают, что эта победа, это событие, которое по самой сути своей связано с Катастрофой, имеет моральное, может быть, даже – мистическое значение. Я это понял в тот день, когда в Иерусалиме, в Старом городе, увидел поток людей, мужчин и женщин, шедших мимо Стены, мимо последнего остатка Храма. Меня поразила их странная сосредоточенность. Мне показалось, что я их узнаю, узнаю живых и мертвых; они пришли со всех четырех сторон изгнания, эти беглецы с европейских кладбищ, эти выходцы из наших воспоминаний. Некоторые, казалось, явились из моего детства, другие из моего воображения. Немые безумцы и нищие мечтатели, учителя и ученики, канторы и их подпевалы, праведники и их враги, пьяницы и сказочники, умершие и бессмертные дети, – все персонажи моих книг – да, да, все они пришли за мной сюда, чтобы присутствовать и свидетельствовать, как я, и через меня. Потом они расстались, и я должен был окликнуть их, чтобы соединить снова.

ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ВВЕДЕНИЕ

Старый рабби с белой бородой смотрел на меня неодобрительно.

— Значит, это ты, — вздохнул он. — Ты внук Довида Фейга.

Он узнал меня. Это и обрадовало меня, и смутило. С самого детства, с самой войны никто не говорил обо мне как о внуке Довида Фейга.

С тех пор, как рабби видел меня в последний раз, прошло двадцать лет. Мы жили тогда в Венгрии. Мама привела меня к рабби, чтобы он дал мне свое благословение. Теперь я снова пришел к нему в дом — где-то в предместье Тель-Авива. И почему-то чувствовал себя более неловко, чем тогда.

Он сидел в своем кресле и изучал меня. Он не слишком переменялся. У него по-прежнему было приветливое и грустное лицо. И в улыбке отражалась вся мудрость мира.

— Хмм... внук Довида Фейга, — повторил рабби.

Взгляд его не отпускал меня; хотелось бы знать, кого он сейчас видит перед собой. Почему он внезапно погрустнел? И тут я вдруг понял, что, в отличие от него, я сильно изменился с тех пор. И я уже не был его учеником.

— Рабби, — сказал я, — я немало потрудился, чтобы приобрести собственное имя. Но для вас я все еще привязан к имени своего деда.

Это была жалкая попытка разрядить напряженность — и она провалилась. Рабби, кажется, даже рассердился.

— А, так вот что ты делал все эти годы... — заметил он. Покачал головой и добавил: — Какая жалость!

Довид Фейг, отец моей матери, был одним из его любимых последователей. Как хасид он прославился куда больше, чем когда-либо прославится его внук как писатель. Не это ли сердило рабби? Я не посмел спросить. В его присутствии я опять стал ребенком, который должен только слушать.

— Расскажи мне, что ты делаешь, — тихим голосом сказал рабби.

Я ответил, что пишу.

— И это все? — спросил он, не веря.

Я сказал, что да, это все. И до того укоризненным стало выражение его лица, что мне пришлось объяснить, что иногда, в благословенные минуты, некоторые писания достигают ранга поступков. По-видимому, он не понял.

Это меня испугало. Если я откладывал поездку к нему столько лет — хотя и знал, где его можно найти — то лишь потому, что не хотел признать, что мы теперь далеки друг от друга. Я боялся, что это так; я боялся, что это не так. Кому же принадлежат все эти слова, которые я так старательно соединял двадцать лет, — мне или ему? У меня ответа не было, но я опасался, что у него он есть.

— Что ты пишешь? — спросил рабби.

— Рассказы, — сказал я.

Он захотел узнать, какие рассказы.

— Правдивые.

— О людях, которых ты знал?

— Да, о людях, которых я мог знать.

— О том, что было?

— Да, о том, что было, и о том, что могло быть.

— Но не было?

— Было, но не все. Некоторые события выдуманы от начала до конца.

Рабби наклонился вперед, словно желая измерить меня взглядом, и сказал, скорее печально, чем сердито:

— Значит, ты пишешь ложь!

Я ответил не сразу. Тому ребенку, что жил во мне и получил нагоняй, нечего было сказать в свое оправдание. И все-таки я должен был оправдаться.

— Все это не так просто, рабби. Некоторые события происходят на самом деле, но они не истинны. А другие истинны, хотя никогда не происходили.

Вот и все, что я мог сказать. Достаточно ли? Я не знал. Рабби ничего не возразил. Он долго смотрел на меня, а потом его лицо опять просветлело, и он попросил меня подойти ближе. Я подошел.

— Ну, — сказал он, — внук Довида Фейга не должен уйти с пустыми руками. Подойди, я дам тебе мое благословение.

И я не посмел напомнить ему, что в течение стольких лет трудился, чтобы приобрести собственное имя, которое тоже нуждалось в благословении. Только покинув его, я понял, что настало, быть может, время для внука Довида Фейга занять мое место за пишущей машинкой.

СМЕРТЬ МОЕГО ОТЦА

Годовщина смерти Шломо бен Нисселя приходится на восемнадцатый день месяца Шват. Этот Шломо бен Ниссель — мой отец, годовщина завтра, и, как всегда в этот день, я испытываю тревожное чувство недоумения: как отметить мне эту дату?

В великой книге "Шулхан Арух", которую написал рабби Иосеф Каро, чудесный визионер и законоучитель XVI века, даны на сей случай твердые и точные правила. Я мог бы не раздумывая им подчиниться. Соблюсти традицию. Сделать то, что делают все в такой день: трижды сходить в синагогу, выполнить там обязанности служки, выучить главу из Мишны, прочесть сиротский *Каддиш* и, перед общиной живых сынов Израиля, прославить святость Господа и Его величие, ибо пути Его хоть и неясны, но праведны и ныне, и присно, и во веки веков, и да будет воля Его, аминь.

Вероятно, так бы я и поступил, если бы отец мой умер от старости, от болезни, даже от горя. Но он умер не своей смертью. Не знаю, какой причине эту смерть приписать, в какую книгу занести. Нет связи между нею и его существованием на земле. Эта смерть, затерявшаяся в массе других, не имела ничего общего с его личностью. Могла бы коснуться его, — и потом все-таки обойти. Она унесла его случайно, по ошибке, даже не зная, что это он. У отца украли его собственную смерть.

На деревянной доске, среди множества окровав-

ленных трупов, с ужасом, застывшим в глазах, под маской страдания, перекрывшей волосатую, искаженную страхом маску его собственного лица, в Бухенвальде, вот где испустил дух мой отец, вот где отлетела его душа. В Бухенвальде эта душа никому не была нужна, и он, кажется, давно уже хотел ее отдать.

Но отдал он ее не Богу своих отцов, а кому-то, Его подменившему, жестокому и ненасытному Богу-врагу. Его Бога убили. Подменили.

Так как же мне быть? Разве я смогу завтра войти в храм и там раствориться в молитве, снова и снова повторяя священный обряд, не обманывая при этом себя, не обманывая его? Разве я смогу поступать или думать как все люди, и считать, что его смерть имела некий смысл, по поводу которого можно грустить или негодовать?

А может быть, все-таки сбегать завтра в синагогу и вознести славу Богу мертвых детей, хотя бы для того, чтобы бросить Ему вызов своим собственным смирением?

Завтра годовщина смерти моего отца, и я жду, что мне предпишут новые правила, укажут, какие обеты исполнять, а какие нет, какие слова произносить.

Право же, я знал бы, как себя вести, если бы мой отец при жизни был слепо верующим человеком, которому религия внушала бы смирение и страх. Я сказал бы себе: мой долг — отметить эту годовщину по законам и обычаям еврейской религии, потому что таково было его желание.

Но мой отец, будучи иудеем, не был фанатиком. Напротив, он утверждал, что дух должен быть открыт явлениям внешнего мира. Он жил в своем времени. Он отказывался жертвовать настоящим для непрозрачаемого будущего, каким бы оно ни было. Он любил простые житейские радости и не считал собственное тело врагом. По вечерам он редко возвращался домой без каких-нибудь лакомств или

фруктов для нас. Он был любознательным и терпимым и ходил к хасидам потому, что любил их песни и рассказы, не желая, однако, подобно им, заточать свой разум в систему.

Мать моя относилась к соблюдению обрядов серьезнее. Это она водила меня в *хедер*, чтобы сделать из меня хорошего еврея, сердце которого открыто лишь мудрости и любви, почерпнутым из Торы, и она же старалась посылать меня как можно чаще к Вижницкому реббе, чтобы получить его благословение или просто погреться в лучах его сияния.

Отец полагал свое честолюбие в том, чтобы сделать из меня не святого, а человека. "Твой долг — побеждать одиночество, а не усугублять его и не прославлять", — говорил он мне. И еще: "Богу, может быть, и нужны святые, но люди могут без них обойтись".

Его чаще можно было увидеть на улице или в официальных учреждениях, чем в синагоге, а порой, в опасные времена, — и чем дома. Все несчастья, происходившие внутри общины, затрагивали его непосредственно. То надо было срочно отправить заболевшего бедняка в Колошварскую или Будапештскую больницу, то вытащить из тюрьмы неудачливого коммерсанта, то помочь несчастному беженцу. Немало беженцев из польских гетто обязаны ему жизнью. Благодаря ему и его друзьям они получали деньги и фальшивые бумаги, которые давали им возможность уехать в Румынию, а оттуда в Соединенные Штаты или в Палестину. За эту свою деятельность он просидел три месяца в тюрьме. Когда его выпустили, он, ни словом не обмолвившись о пытках, которые ему пришлось вынести, в тот же день опять принялся за свое.

Мать учила меня любви к Богу. Отец же почти никогда в разговорах со мной не касался законов, определяющих отношения между Творцом и Его творениями. Никогда в наших беседах не заходила речь о Каддише. Даже в лагере. Особенно в лагере.

И потому я не знаю, чего он ждет от меня, что я должен сделать завтра, в годовщину его смерти. Если бы это был человек, который всю жизнь утешался мыслями о вечности и искуплении — тогда...

Но дело даже не в этом. Даже будь Шломо бен Ниссель верным слугой жестокого Бога Авраама, праведником с взыскующей и незапятнанно-чистой душой, недоступной сомнениям и слабостям, я и тогда бы не знал, как истолковать его смерть.

Потому что не знаю я главного: что он почувствовал, во что поверил в то последнее мгновение своей смиренной борьбы, когда существо его уже угасало, уже удалялось в те места, где более не мучают, где мертвым дают, наконец, опочить с миром, а если и не туда, так в ничто, какая разница.

Лицо его, мертвенно-бледное, в синяках и кровоподтеках, было страшно; агония бессловесна. Пересохшие губы чуть заметно шевелились. Я различал смутное бормотание, но не слова. Возможно, в эту минуту он выполнял свой долг отца, объявлял мне свою последнюю волю, а может быть, открывал свои взгляды на историю, познание, бедствия мира, на свою, на мою жизнь. Никогда я этого не узнаю. Не узнаю, было ли у него на устах имя Предвечного, и славил ли он Его, несмотря на все, что было, или, напротив, из-за всего, что было, освобождался от Него.

Из-под набрякших полуопущенных век он смотрел на меня, как теперь мне порою кажется, с жалостью. Он уходил, и ему было больно оставлять меня одного, без опоры в мире, который он желал бы видеть иным для меня, для себя, для всех людей как он и я.

Иногда моя память отстраняет эту картину и дает себе волю. Мне чудится, что я различаю тень улыбки на его губах: сдержанную радость, что хоть сын его, по крайней мере, остается жить еще на минуту, на день, на неделю; что сын, быть может, увидит ан-

гела-освободителя, вестника мира. Уверенность отца, что сын его переживет.

В глубине души, однако, я не сомневаюсь, что истина могла быть и иной. Умирая, мой отец смотрел на меня, и в глазах его, где сгущалась тьма, был только животный страх, безумный страх человека, желавшего понять слишком много и потому не понимающего ничего. Видели ли вообще его глаза, устремленные на меня, меня ли они видели — не знаю. Быть может, он принял меня за другого, быть может — за Ангела смерти. Не знаю, ничего не знаю, потому что невозможно уловить, что видят и чего не видят глаза умирающих, невозможно понять хрипы, покрывающие их последний вздох.

Знаю только, что в тот день, когда я стал сиротой, я не почтил традицию, не прочел Каддиш. Прежде всего потому, что никто не стал бы меня слушать и не сказал бы *амен*. И еще потому, что в то время я не знал наизусть этой прекрасной и торжественной молитвы. И потому, что был я в эту минуту пуст и бесплоден — никому не нужный предмет, существо, лишненное воображения. Да и говорить было не о чем, желать было нечего. Это было поражение, конец. Читать Каддиш в зловонном бараке, в царстве мертвых, было бы худшим из богохульств. Но даже на богохульство у меня не было сил.

Найду ли я силы завтра? Каков бы ни был ответ, он будет ошибочным, во всяком случае — неточным. И никак не связанным со смертью моего отца.

До сих пор никто не определил, какие последствия имела Катастрофа для верующих и неверующих среди евреев и христиан. Не определил окончательно, во всем объеме. И это неудивительно. Те, кто ее пережил, недостаточно объективны: они всегда будут стоять на точке зрения человека перед лицом абсолюта. Что касается разных ученых и философов, которым удалось наблюдать трагедию, то, если они способны на искренность, то есть на смире-

ние, они отступят и не осмелятся вникать в сущность предмета; если же не способны — то какое значение имеет их напыщенное красноречие? Их философские термины не определяют Освенцима.

Есть и другие, мыслящие более реалистично, если не более честно. Они отдают себе отчет в том, что присутствие (или отсутствие) Бога в Треблинке или Майданеке — это вопрос, один и тот же вопрос, который навсегда останется среди самых неразрешимых.

Я знал глубоко верующего человека, который в Иом-Киппур, уже совершенно обессиленный, рычал как раненый зверь, призывая небо на суд: "Чего Ты хочешь от меня, Господи? Что я Тебе сделал? Я хочу служить Тебе, хочу венчать Тебя царем мира, но Ты мешаешь мне это сделать; я хочу воспеть Твое милосердие, но Ты смеешься надо мною; я хочу веровать в Тебя, посвятить Тебе свои помыслы, но Ты мне этого не позволяешь. Почему, почему?".

И знал я другого человека, свободомыслящего, который однажды вечером, после селекции, неожиданно стал молиться, рыдая, как побитый ребенок. Он бил себя в грудь, он открыл в себе мученика. Ему нужна была опора, более того — уверенность; если он страдает, — значит, грешил; если терпит мучения, — значит, заслужил.

Утрата веры у одних равнялась открытию Бога у других. То и другое отвечало одной и той же потребности определить свою позицию, то и другое было выражением протеста. В обоих случаях это обвинение. Ибо, может быть, когда-нибудь в плане человеческом и сумеют объяснить, как мог произойти Освенцим; но в плане Божественном это навсегда останется самой мучительной тайной.

Много лет прошло с тех пор, как на моих глазах умирал мой отец. Я вырос, и свечей, которые я зажигаю несколько раз в год в память исчезнувших членов моей семьи, становится все больше.

Казалось бы, я должен был уже привыкнуть, но я не привык. И каждый раз, когда приближается восемнадцатый день месяца Шват, меня охватывает отчаяние и я не могу ничем заняться: я все еще не знаю, как отметить смерть моего отца, Шломо бен Нисселя, которая произошла словно по ошибке.

Да, я слышу голос, который говорит, что в сущности достаточно мне, как и в прошлые годы, пойти проторенной тропой, выучить главу Мишны и снова прочесть Каддиш, прекрасную и трогательную песнь, посвященную исчезнувшим, в которой слово смерть не упоминается. Почему бы мне не склонить голову? Это отвечало бы обычаю, установленному бесчисленными поколениями мудрецов и сирот. Изучая Священное Писание, ты предлагаешь мертвым если не покой, то преемственность. Так мой отец отмечал смерть своего отца.

Но это было бы слишком легко. Катастрофа отрицает связи и аналогии. Никакое сравнение невозможно между смертью моего отца и смертью деда. И просто повторять то, что делал мой отец, было бы недостаточно и даже несправедливо. Мне следовало бы придумать другие молитвы, другие выражения. Но боюсь, что я неспособен, да и недостойн.

Думаю, что в конце концов завтра я все-таки пойду в синагогу. Я зажгу свечи, я прочту Каддиш, и это будет для меня еще одним доказательством моего бессилия.

МОИ УЧИТЕЛЯ

Для некоторых литература — мост, соединяющий детство со смертью. Смерть рождает страх, а детство вызывает ностальгию. Чем глубже ностальгия, чем сильнее страх, тем чище и богаче слово и образ.

Но для меня писание — скорее *мацева*, невидимый надгробный камень, воздвигнутый в память о тех, кто умер без погребения. Каждое слово — это моление или лицо, ибо одно нуждается в другом, чтобы не потонуть в забвении.

Дело в том, что Ангел смерти слишком рано ворвался в мое детство и отметил его своей печатью. И мысленно я иногда вижу его, торжествующего, но не в конце пути, а в самом его начале. Он сливается для меня скорее с истоком, с первым порывом, чем с пропастью, в которой шевелится будущее.

И я вызываю образ этого одинокого победителя почти без страха, ностальгически. Может быть, это происходит потому, что я принадлежу к поколению без корней, без кладбищ, где, по обычаю, в первый день Нового года люди лежат у могил, думая о мертвых. У нашего поколения отнято все, даже кладбища.

Я покинул родной город весной 1944 года. Было тепло. Горы вокруг, покрытые зеленью, казались выше. Наши соседи гуляли без пиджаков. Одни отворачивались, другие ухмылялись.

После войны мне не раз представлялся случай

вернуться туда. Соблазнов хватало. Было бы вполне разумно посмотреть, кто из моих друзей выжил; выкопать ценности, которые мы закопали накануне отправки; хоть на короткое время завладеть нашей собственностью, нашим прошлым.

Я не вернулся назад. Я стал бродить по миру, хоть и знал, что никакое бегство не поможет: все дороги ведут домой. В этом мерцающем мире только дом — неподвижная точка. Иногда я признаюсь себе, что, в сущности, я так никогда и не покинул того места, где родился, где научился ходить и любить: весь мир — только расширенная проекция маленького, затерянного в Трансильвании городка под названием Мармарошигет.

В студенческие годы, и потом, когда я был журналистом, я встречал на своем пути странных людей, от которых иногда можно было кое-чему научиться; эти люди играли себя, создавали свой собственный образ — писатели, мыслители, поэты-экзистенциалисты, трубадуры апокалипсиса. Каждый из них что-нибудь дал мне в дорогу: один обронил словечко, другой подмигнул, третий загадал загадку. И я продолжал свой путь.

Но когда я в душе своей подвожу итоги, *хеш-бон ха-нефеш*, я вынужден признаться себе, что мои истинные учителя, которые ведут и толкают меня вперед, поджидают меня не в экзотических даях, но в маленьких темноватых классах, где читают нараспев и где мальчик, на которого я был похож, еще и сегодня учит первую страницу первого трактата Талмуда, уверенный, что найдет там ответы на все вопросы. Нет: все вопросы и все ответы.

Процесс писания для меня чаще всего — бессознательное или сознательное желание выбить несколько слов на надгробном камне: в память об исчезнувшем городе, о ссыльном детстве и, конечно, обо всех тех, кого я любил и кто ушел прежде, чем я успел сказать им это.

Это относится и к моим учителям.

Первым был пухленький старичок с белой бородой, живыми глазами и бескровными губами. Не помню его имени. Собственно говоря, я никогда его не знал. В городе его называли Бетицким учителем — вероятно, он был родом из деревни Бетицы. Он с любовью рассказывал мне про наш язык. В каждый слог, в каждую точку он вкладывал сердце и душу. *Алеф-бет* был рамкой и содержанием его жизни, охватывал его радости и горести, устремления и воспоминания. Ничего в мире не существовало для него вне двадцати двух букв священного языка. Он говорил нам с нежностью: "Тора, дети мои, что это такое? Это сокровищница, полная золота и драгоценных камней. Но, чтобы проникнуть туда, нужен ключ. Я вручу вам его, в добрый час, сумеете им воспользоваться. А ключ, дети мои, что это такое? Это Алеф-бет. Итак, повторяйте за мной, громко, еще громче: алеф, бет, гимел. Еще раз, и еще раз, дети, громко, с гордостью: алеф, бет, гимел. Вот так ключ станет частью вашей памяти, вашего будущего: алеф, бет, гимел".

После него был Зейде-меламед, который первый год преподавал мне Библию, а на следующий — комментарий Раши. Этот молчаливый учитель, с густой черной бородой, постоянно одетый в черное, внушал нам робость и страх. Его считали строгим, даже злым. Не смущаясь, он бил мальчиков по пальцам за опоздание или искажение смысла фразы. "Это для вашего блага", — объяснял он. Он часто гневался, и тогда мы втягивали голову в плечи и дрожали, ожидая, когда он успокоится. Но в действительности это был сентиментальный и измученный человек. Он сам страдал, наказывая строптивного ученика, но не подавал вида, — потому что не хотел показаться слабохарактерным. Только Богу он открывал свою душу. Почему на него клеветают? Почему называют его жестоким? Разве он желает кому-то зла? Может быть, потому, что он горбат и разговаривает не поднимая глаз. Дети, не подозревавшие о том,

что он сам их боится, с торжеством заключили, что уродство — спутник злобы, если не ее внешнее выражение.

Школа его находилась в разрушенном домике в глубине двора; там было только две комнаты. Первую занимал он, в другой его помощник, молодой эрудит по имени Ицхак, отворял перед нами тяжелые двери устной традиции. Мы начали с трактата Бава Мециа: два человека нашли одежду, кому ее отдать? Ицхак прочитывал предложение, и мы повторяли его нараспев. К концу полугодия мы уже могли усваивать по странице в неделю. В следующем году наступил черед Тосафот — комментария к комментарию. Медленно, постепенно ум наш обострялся, каждое слово высвобождало свет, заключенный в нем с тех пор, как стоит мир. Кто подошел ближе к истине — школа Шаммая, нетерпимого Шаммая, или школа Хиллела, его оппонента и соперника? Обе. Все деревья питаются одним и тем же соком. Но мне все-таки была ближе школа Хиллела: она старалась сделать существование приемлемым, а поиски — вознаграждаемыми.

В десять лет я покинул Ицхака и стал учеником Зелиштер ребе — угрюмого человека с дикими глазами и грубым, хриплым голосом. При нем мы не смели ни рта открыть, ни замечаться. Он нас терроризировал. Раздавая направо и налево пощечины — что случалось частенько, и частенько без причины — он не жалел сил; а сил у него хватало. Таким способом он устанавливал дисциплину; таким способом готовил нас к тому положению, которое мы будем занимать как евреи.

В сумерках, между молитвами Минха и Маарив, он приказывал нам слушать главу из сочинения *мусарников*. Когда он читал о мучениях, которые терпит грешник в могиле, еще до того, как предстать перед небесным судом, рыдания сотрясали все его тело. Он останавливался и закрывал лицо руками. Казалось, вся его жизнь — ожидание ужасов Страш-

ного суда. Никогда не забуду его подробных описаний ада, который он наивно помещал в какое-то вполне определенное место того света.

По субботам это был другой человек, почти неузнаваемый. Он появлялся в синагоге, напротив Малого рынка. Он стоял у печки, справа от входа; вид у него был загнанный; он читал и читал молитвы до полного изнеможения и никого не видел. Я здоровался с ним, желал ему доброй субботы — он не отвечал. Он меня не слышал. Он словно не знал, кто я такой, или просто не видел меня. Седьмой день недели он посвящал Творцу и больше не видел окружающего мира; он даже сам себя не видел. Он молился беззвучно, в стороне, он не следовал за кантором, его губы шевелились чуть заметно. Дольняя печаль лежала в его блуждающем взоре. Мне кажется, что в остальные дни недели я боялся его меньше.

Я решил переменить школу и последовательно учился у трех учителей, которые тоже были родом из окружающих деревень.

Они вели себя более человечно. Мы уже причисляли себя к "большим", считая, что и без посторонней помощи можем справиться, когда в книге встречается трудное место (*сугия*). Иногда, когда мы начинали тонуть, мы все-таки просили их показать, что делать дальше; и тогда все трудности, возникавшие при чтении комментариев Махарша или Махарамы, исчезали сами собой, и тексты представляли перед нами с ослепительной ясностью. Я испытывал чувство счастья, когда внезапно развязывался клубок талмудической мысли; я чувствовал себя на пороге сияющего, неразрушимого мира и говорил себе, что над веками, над кострами все-таки существует мост, который куда-то ведет.

Потом в наш городок вошли немцы, и ностальгическое пение учеников и их учителей было прео-

вано. Все, что у меня есть, все, что было мне обещано, я отдал бы за то, чтобы услышать его снова.

Иногда я сажусь за трактат Талмуда — и меня охватывает цепенящий страх: я не забыл слов, я сумел бы их перевести и даже прокомментировать, но ведь недостаточно произносить слова, надо петь, а я уже не знаю как. И вдруг все мое существо напрягается, глаза начинают блуждать, я боюсь обернуться: за моей спиной собираются мои учителя, их дыхание меня обжигает, они ждут, как когда-то, на экзаменах, что я начну читать вслух и покажу ушедшим поколениям, что их песнь не умирает. Мои учителя ждут, и мне стыдно, что я заставляю их ждать. Мне стыдно, потому что они-то не забыли напева. В них эта песнь жива, она сильнее тех сил, которые их самих уничтожили, упрямее, чем ветер, разметавший их прах. Я попросил бы их вернуться в свои могилы и не смешиваться более с живыми. Но им некуда вернуться: их отвергли земля и небо. И чтобы не унижать их, я начинаю читать первую фразу, повторяю ее снова и снова, прежде чем соединить со следующей. Голос мой — шепот. Я предал их: я больше не умею петь.

За исключением одного, все мои учителя погибли на фабриках смерти, изобретенных и усовершенствованных во славу немецкого национального гения.

Я видел их, обросших, похудевших, сгорбленных; я видел, как солнечным воскресным утром они шли на вокзал, откуда их увозили неизвестно куда. Я увидел Зейде-меламеда, согнувшегося под слишком тяжелым для него мешком. Я удивился: подумать только, что этот кочевник нас терроризировал. И Зелиштер ребе тоже был в этом стаде, сосредоточенный, весь в своем мире, но словно озабоченный тем, чтобы прибыть на место побыстрее. Я подумал: у него на лице субботнее выражение, а ведь сегодня воскресенье. Он не плакал, и глаза его уже не метал молний: может быть, наконец-то, он узнает

истину — да, ад существует, как существует этот огонь в ночи.

И в десятый раз я читаю все тот же кусок все той же книги, и мои учителя молчанием выражают мне неодобрение: я потерял ключ, который они мне вручили.

Теперь мною завладели другие книги, и у других рассказчиков я пытаюсь научиться, как проникнуть в смысл опыта и превратить его в легенду. Но почти все они говорят слишком много. Песнь теряется в словах, как иные реки в песке.

Зелиштер ребе говорил мне однажды: "Осторожно, слова — они опасны. Бойся их! Они рожают демонов или ангелов. От тебя только будет зависеть, кому из них дать жизнь. Осторожно, говорю тебе, ничего нет опаснее, чем дать волю словам".

Порой мне кажется, что он стоит за моей спиной, неподвижный и суровый, и читает поверх моего плеча то, что я пытаюсь сказать; он читает, чтобы понять, обогащает ли его ученик мир людей или обедняет его, призывает ли он ангелов или, напротив, преклоняет колени перед демонами, имя которым легион.

Если бы не стоял за моей спиной Зелиштер ребе с дикими глазами, я, быть может, написал бы эти строки иначе; а быть может, — и ничего бы не написал.

Может быть, я, его ученик, не что иное, как его надгробный камень.

III

ВЕЧЕРНИЙ ГОСТЬ

Как все гонимые еврейские дети, я страстно любил пророка Илью (Элияху), единственного из святых, который живым поднялся на небо в огненной колеснице, и на все века стал вестником освобождения.

Почему-то я воображал его похожим на еврей-йеменита — высоким, сумрачным и загадочным. Владыка без возраста, без человеческих связей, который появляется всюду, где его ожидают. Он грозен, он движется стремительно. И влечет его к себе конец, потому что ему одному ведома тайна конца. По пути он утешает старика, сироту, одинокую вдову. Он идет и увлекает весь мир за собой. В глазах его обещание освобождения, которое он хотел бы выполнить, но нет у него на это ни права, ни власти. Пока еще нет.

В своих фантазиях я наделял его величественной красотой Саула и силой Самсона. Поднимет он руку — и наши враги ничком упадут на землю. Прокричит приказ — и вселенная задрожит: время побежит быстрее, чтобы мы скорее достигли небесного дворца, где с первых дней творения — а по мнению некоторых мистиков и гораздо раньше — нас ожидает Мессия.

Почему еврей-йеменит? Не знаю. Может быть, потому, что я никогда йеменитов не видел. Для того ребенка, которым я был, Йемен помещался не на географической карте, а где-то там, вдали, в волшебном царстве, где печальные дети всех стран

и времен держатся за руки, бросая вызов насилию, годам и смерти.

Позднее я увидел пророка и признал свою ошибку. Это, конечно, был еврей, но родом он был просто из Польши. И ничуть он не был похож на великана, на героя легенды. Щупленький, сгорбленный, он поджимал губы, когда смотрел на собеседника. По тому, как он двигался, было видно, что он страшно устал, но глаза его горели. Чувствовалось, что единственное его убежище — это прошлое.

Это было в первый вечер Песах. Весь дом был освещен и готовился отпраздновать Праздник Свободы. Моя мать и две старшие сестры хлопотали на кухне, младшая накрывала на стол. Отец еще не вернулся из синагоги.

Я был раздосадован: на трапезе будут присутствовать только члены семьи, а я бы хотел, чтобы у нас были гости, как в прошлые годы. Настроение мое улучшилось, когда дверь открылась и появился отец, в сопровождении бедно одетого, озябшего и боязливого незнакомца. Отец обратился к нему на улице с ритуальной фразой: *Кол ди-хефин иете ве-йохал* (Всяк, кто голоден, пусть войдет и поест)*.

— Я не голоден, — ответил незнакомец.

— Неважно, все равно пойдете к нам, нехорошо человеку оставаться на улице в праздничный вечер.

Моя младшая сестренка, очень довольная, поставила еще один прибор. Я налил в бокал вино.

— Можно начинать? — спросил отец.

— Все готово, — ответила мать.

Отец благословил вино, вымыл руки и приготовился, по обычаю, рассказывать о подвигах наших праотцев, о том, как они бежали из Египта и очертя голову кинулись навстречу Богу и собственной истории.

* Фраза, предваряющая пасхальную трапезу.

— Я не голоден, — внезапно сказал наш гость. — Но я с вами поговорю.

— Позже, — сказал мой отец, несколько удивленный.

— У меня нет времени, уже слишком поздно.

Я не знал тогда, что это последний *седер*, последний пасхальный ужин в доме моего отца.

Был 1944 год. Немецкая армия только что заняла нашу область. В Будапеште власть взяли фашисты. Восточный фронт проходил менее чем в тридцати километрах от нас. До нас доносился отдаленный гром артиллерии, и по вечерам небо за горами краснело. Мы думали, что война идет к концу, что освобождение близко, что, как и наши праотцы, мы доживаем в рабстве последние часы.

На улице издевались над евреями, их унижали, засыпали оскорблениями. Раввина заставили подметать тротуар. Наши милые соседи-венгры вопили: "Смерть евреям!" Но наш оптимизм ничем нельзя было поколебать. Продержаться, продержаться еще несколько дней, еще несколько недель! Фронт продвинется, и Бог Авраама опять спасет свой народ, как всегда, в последнюю минуту, когда кажется, что все пропало.

Книга Хаггады, в которой говорилось про Исход, подтверждала наши надежды. Не сказано ли, что каждый еврей, везде и во все времена, должен считать, что он сам вышел из Египта? И что чудо будет возобновляться в каждом поколении?

Но наш гость смотрел на вещи иначе. Нас тревожило его беспокойство, его нахмуренный лоб. Угрюмый, сердитый, он упорно старался рассердить и нас тоже.

— Закройте ваши книги! — кричал он. — Это все старая история. Послушайте лучше меня!

Мы вежливо скрывали нетерпение. Дрожащим голосом он стал описывать страдания наказанного Израиля: рассказал об истреблении еврейской общины в Коломые, в Каменец-Подольске. Отец не

мешал ему говорить, а потом, как ни в чем не бывало, опять вернулся к древнему рассказу. Моя сестренка задала четыре ритуальных вопроса, которые давали возможность моему отцу, отвечая, объяснить смысл и значение праздника. "Что отличает эту ночь от других ночей? То, что под властью фараона мы были рабами, но в эту ночь Бог сделал нас свободными людьми". Недовольный вопросом и ответом, гость подхватил их по-своему: "Почему эта ночь не отличается от других ночей? Почему продолжаются страдания? И почему мы, всегда мы? И почему Бог не вмешивается? Где чудо? Чего Он ждет? Когда же встанет Он между нами и палачами?".

Его неожиданное вмешательство вызвало у всех сидящих за столом чувство неловкости. Как только кто-нибудь из нас открывал рот, он тут же начинал кричать:

— Вы занимаетесь прошлым, которому уже три тысячи лет, и отворачиваетесь от настоящего! Фараон не умер, откройте глаза и посмотрите, он истребляет наш народ. Моисей действительно умер, но Фараон жив, он идет сюда, скоро он будет у ворот этого города, у ворот этого дома. Вы что, уверены, что вас пощадят?

Гость пожал плечами и прочел несколько фраз из Хаггады; в его устах славословия звучали как богохульство. Отец попытался успокоить его, ободрить:

— Вы угнетены, друг, не нужно! Сегодня у нас праздник, и мы должны радоваться и благодарить.

Гость бросил на него огненный взгляд и вскричал:

— Благодарить? А за что? Вы уже видели детей, которых убивают на глазах матери? Я-то видел.

— Попозже, — повторял отец. — Вы расскажете нам об этом попозже.

Я слушал гостя и спрашивал себя: кто он? Чего он хочет? Мне казалось, что он несчастен и болен, может быть — безумен. И только потом я понял: да это же был пророк Илья! И если он не походил ни на библейский образ, ни на тот, который я создал в своем

воображении, то это потому, что каждое поколение рождает пророка по своему образу и подобию. Когда-то, во времена царей, он был пламенным проповедником, от слов которого вспыхивали горы и люди; потом, раскаявшись, нищим ходил по переулкам осажденного Иерусалима, потом стал студентом в Вавилоне, посыльным в Риме, служкой в Майнце, в Толедо, в Киеве. Теперь у него лицо и судьба несчастного польского беженца-еврея, который слишком часто видел своими глазами победу смерти над человеком и молитвой.

Я убежден, что именно он посетил нас. Ну, конечно, иногда я начинаю сомневаться. Немногочисленные те, кому удалось его увидеть. Путь к нему темен и опасен, стоит хоть раз споткнуться — и ты потеряешь душу. Мой ребе с радостью отдал бы жизнь, чтобы увидеть его на одно молниеносное мгновение, на один удар сердца. Чем заслужил я то, в чем было отказано стольким другим? Не знаю. Но я утверждаю, что наш гость был им. К тому же я вскоре получил тому доказательство.

По традиции после ужина, перед тем как опять перейти к молитвам, полагается налить бокал вина для пророка Ильи, который в этот вечер одновременно посещает все еврейские дома, подчеркивая тем самым их нерушимую связь с Богом. И мой отец взял прекрасную серебряную чашу, которой никто никогда не пользовался, и налил ее до самых краев. Потом он сделал знак сестренке, чтобы она пошла и пригласила дивного посетителя прийти попробовать нашего вина. Мы хотели сказать ему этим: смотри, мы тебе доверяем; несмотря на врагов, несмотря на пролитую кровь, радость не покинула нас, мы предлагаем тебе вино, потому что верим в твое обещание.

Молча, сознавая важность этой минуты, мы поднялись, чтобы торжественно приветствовать пророка, должным образом почтить его. Сестренка

встала из-за стола и направилась к выходу. Но наш гость внезапно воскликнул:

— Нет! Девочка, вернись! Я открою сам!

Что-то в его голосе заставило нас вздрогнуть. Он кинулся к двери и с грохотом распахнул ее.

— Смотрите! — завопил он. — Никого нет! Никого! Вы меня поняли?

С этими словами он выскочил на улицу, не затворив за собой дверь.

Мы так и окаменели стоя, с бокалами в руках, ожидая, когда же он вернется. Сестренка, чтобы не заплакать, зажала ручонками рот. Первым пришел в себя мой отец. Тихим голосом он позвал:

— Где вы, друг? Вернитесь!

Молчанье. Отец более настоятельным тоном повторил свой призыв. Никакого ответа. С горящими щеками я бросился на улицу, уверенный, что он на веранде; но там его не было. Я кинулся вниз по лестнице: он не мог уйти далеко. Но во дворе раздавались только мои собственные шаги. В саду? Под деревьями залегли тени, но его там не было.

Отец, мать, сестры, даже старая служанка вышли вслед за мной.

Отец повторял:

— Не понимаю.

Мать тихонько говорила:

— Где он прячется? Почему?

Мы с сестрами вышли за ворота и добежали до конца улицы. Никого.

Я крикнул:

— Эй, друг, где вы?

Несколько окон открылось:

— Что случилось?

— Вы не заметили тут польского еврея, такого сгорбленного?

— Нет.

Когда мы все опять оказались во дворе, мы едва дышали. Мать тихонько сказала:

– Можно подумать, что он сквозь землю провалился.

Отец повторял:

– Не понимаю.

И тут странная мысль вспыхнула в моем мозгу и тут же превратилась в уверенность: нет, мама ошибается, он не сквозь землю провалился, не земля, а небо расступилось, чтобы принять его. Незачем за ним гнаться, его здесь больше нет. Он поднялся в свое жилище в огненной колеснице, чтобы рассказать Господу, что его благословенный народ будет жив и в будущем.

– Друг, вернитесь! – в последний раз крикнул отец. – Вернитесь, мы будем вас слушать.

– Он не может тебя услышать, – сказал я. – Он уже далеко.

С тяжелым сердцем мы вернулись к столу и снова подняли наши бокалы. Мы прочли традиционные благословения и псалмы, и под конец спели *Хад Гадья* – страшную песню, где во имя справедливости зло призывает зло, смерть призывает смерть, пока наконец самого Ангела смерти не зарезал Всевышний, да благословенно будет имя Его. Я любил эту наивную песенку, где все, кажется, примитивно и просто: кошка и собака, вода и огонь, палачи и жертвы, понесшие одинаковое наказание в рамках единого Промысла. Но в этот вечер песня мне не понравилась. Я взбунтовался против смирения, которое она проповедовала. Почему Бог действует всегда слишком поздно? Почему не устранил Он Ангела смерти еще до первого убийства? Если бы наш гость остался с нами, он задал бы эти вопросы. Теперь, когда он ушел, их задал себе я.

Церемония кончалась, а мы все еще не смели посмотреть друг на друга. Отец в последний раз поднял бокал, и мы повторили за ним: "В будущем году в Иерусалиме". Никто из нас и подумать не мог, что это был наш последний Песах.

Через несколько недель я опять увидел нашего гостя. Из гетто в первый раз отправляли евреев, и он был среди них. Он вел себя как-то непринужденнее, чем другие, словно он уже тысячу раз проделал эту дорогу. Мужчины, женщины, дети — все тащили мешки, одеяла, чемоданы. Единственный человек с пустыми руками был он.

Теперь я знаю то, чего не знал тогда. После долгого путешествия, длившегося четыре дня и три ночи, он высадился на маленьком вокзале у мирного городка где-то в Силезии, где его уже ждала огненная карета, чтобы унести на небо. Это ли не доказательство, что он был Илья-пророк?

IV

СИРОТА

*Талмуд советует человеку
найти себе учителя и приобрести друга.*

Моим первым другом был сирота. Вот почти все, что я о нем помню. Я забыл его имя, походку, свойства характера. И цвет его глаз, и звук шагов — все забыл. Любил ли он петь, смеяться, бегать по солнцу, барахтаться в снегу? Ничего не могу вспомнить; порой я даже чувствую смутные угрызения совести, словно я от него отрекся.

Иногда я роюсь в памяти, надеясь отыскать его, спасти, ну хоть вернуть ему лицо и прошлое; но я возвращаюсь из этих поисков с пустыми руками. При том, что я легко могу увидеть ребенком себя, он, сирота, остается неуловимым, как эхо без голоса, как тень без отражения. От дружбы нашей осталась незыблемой только печаль, которую я испытывал в его присутствии. Даже сегодня, стоит мне увидеть в человеке сироту, как где-то во мне открывается старая, плохо зажившая рана.

Мне было лет пять, может быть, чуть больше. Я только начинал ходить в мою первую школу, в хедер. Среди детей, которых я не знал и не хотел знать, я, как, вероятно, и каждый из них, ощущал себя жертвой несправедливости родителей. Я выдумывал себе бесчисленные болезни, чтобы провести лишний день дома с матерью и услышать ее завере-

ния, что меня любят по-прежнему и не отдадут чужим людям.

Да и другие ученики, такие же упрямы, как и я, тоже относились к азбуке с опаской. Только сирота был не похож на других. Он никогда не капризничал. Никогда не подвергал тяжким испытаниям терпение и милосердие нашего учителя. Он приходил первым, уходил последним, не участвовал в наших кошачьих концертах, не устраивал истерик. Прилежный и послушный, он, в отличие от нас, не чувствовал себя чужим в узкой комнате с сырыми стенами, где мы проводили бесконечные часы за длинным столом, истертым тремя поколениями несчастных школьников.

Я упрямо сопротивлялся всем усилиям старого седобородого учителя, который кротко, но настойчиво старался научить меня еврейским буквам. Дело в том, что я, как все дети, не хотел расставаться с детством. Я боялся мира с его суровыми законами и угадывал его в черных буквах, чья таинственная власть завладевает воображением, как беззащитной жертвой. Сказавший "а" скажет и "б", и вот ты уже в сетях; тебе ничего не нужно, кроме слов, ты их уже обожествляешь. Я предчувствовал смутно, что в один прекрасный день, когда этот порог будет перейден, именно они, буквы, отнимут у нас невинность детства и встанут между нашими желаниями и их осуществлением.

Его примерное поведение только сердило нас: почему он хочет казаться не таким, как все? Через некоторое время я понял: он и был не таким, как все. Его мать умерла при его рождении.

Я не знал, что значит умерла; быть сиротой казалось мне чем-то вроде отличия, чести, которая достается далеко не каждому. Втайне я стал ему завидовать. И вести себя с ним я тоже стал иначе. Чтобы снискать его доверие, я делился с ним своим имуществом, завтраками, подарками. Дома изумлялись:

я, которого раньше приходилось уговаривать есть, стал уносить двойные порции.

Моя мать была жива, и это казалось мне несправедливостью. Перед сиротой я чувствовал себя неправым: у меня было богатство, которого у него не было. Ни он ни я тут ничего не могли поделать. Я отдал бы все, чтобы равновесие восстановилось. Я должен был стать не только его должником, но и поклонником, и благодетелем. Он же принимал мои жертвы, и уж не помню, благодарил ли он меня и нуждался ли он в них вообще. Не знаю почему, но я считал, что он беден. Хотя нет, знаю: я был балованным мальчиком и в сироте непременно видел **бедного** сироту. Несчастье я понимал как нечто всеобъемлющее: кто потерял часть любви, возможность любви, тот потерял все.

Я слышал, как в день своего рождения, совпавший с днем смерти его матери, он читал в синагоге Каддиш. Я удерживался изо всех сил, чтобы не вырваться от отца и не кинуться с плачем на шею моему другу, повторяя за ним погребальную молитву, славящую Господа, который наверное знает, что делает, отнимая радость у маленьких детей.

Через несколько лет наши дороги разошлись. Сирота не появлялся больше на моем горизонте. У меня были новые друзья, и сегодня я по другим причинам заявляю права на свою долю вины, но в основе этого чувства я всегда обнаруживаю его.

А между тем я хорошо знаю, что мой первый друг давно уже перестал быть из ряда вон выходящим явлением: мы все — поколение сирот, и Каддиш стал для нас ежедневной молитвой. Но всякий раз, когда смерть отнимает у меня близкое существо, я оплакиваю его, моего забытого друга. И спрашиваю себя, не мое ли лицо у него было, не моя ли судьба — может быть, он уже был тем, кем я стал впоследствии? И тогда я решаю, что пора мне приниматься усердно за азбуку, хотя бы для того, чтобы больше на него походить.

Друзей, которые пришли ему на смену, моя память сохранила лучше. Хаими Каган, Итцу Юнгер, Иерахмиэль Мермельштейн, Итцу Гольдблат. Иерахмиэль исчез в поднявшемся вихре, Итцу Юнгер пережил его всего на несколько лет и угас в Нью-Йорке от рака печени. Я написал ему из Парижа, что хочу приехать к нему в гости — но слишком поздно. Я отправил свое письмо другу, который уже умер.

Хаими Каган живет теперь в Бруклине, Итцу Гольдблат уехал в Израиль. Мы видимся редко. Мы и пишем друг другу редко — разве что банальные поздравительные открытки перед Новым годом. Иногда я встречаюсь с кем-нибудь из них, и настоящее исчезает: ты помнишь? Да, помню. Короткое неловкое молчанье — вот и все. И в сущности этого достаточно. Ведь детство — это источник, который становится все глубже с годами: чем дальше от него, тем больше наслаждаешься его чистотой, если не свежестью. А как сделать, чтобы всегда хотелось пить? Ответа нет, он тоже потонул в том источнике.

Во время наших редких встреч с Хаими Каганом мы любим вспоминать авантюру, в которую когда-то ринулись со всем пылом тринадцати лет. Мы решили основать свою синагогу и свое училище, где молодые смогут заниматься и молиться в своем кругу. Отец Хаими — Нохем Герш, секретарь и распорядитель у главного раввина — каждое утро, с шести часов, давал нам урок Талмуда, помогая открывать его строгость и ослепительную красоту.

Как и для прежних поколений, единственной нашей защитой и опорой был Письменный и Устный Закон: пока мы будем заниматься углубленным изучением трактатов Бава Камма (Первые Ворота) или Бава Батра (Последние Ворота), пока будем набожно читать, перед утренней молитвой и после нее, несколько глав из Псалмов, ничто дурное не может с нами случиться.

Но события доказали противное. Немцы заняли город, и нам пришлось закрыть залу наших собраний. Нохем Герш покинул нас для гетто. Но звук его голоса вибрирует в моем собственном всякий раз, когда я открываю Талмуд, чтобы еще раз покориться его законам, подышать его миром и насладиться его блистанием. Сегодня я готов допустить, что Нохем Герш был прав, но не вполне: Тора — это отблеск истины, если не пламя; но она не дает охраны, особенно на лестнице человечества. Помоему, сегодня у меня есть доказательство, что и Тора стала сиротой.

С Итцу Гольдблатом, ювелиром и сыном ювелира, я вынашивал замысел, столь же наивный, сколь и дерзкий: ускорить пришествие Мессии. Мы были одержимы этим. Мы изучали практическую Каббалу и тратили все свободное время на истязание плоти голодом и мыслей молчанием. Твердо решив получить во сне *Гилуй Элияху* — встречу с пророком Ильей, вестником освобождения, мы дошли до того, что забыли о реальности мира, охваченного войной. Нас занимали только внутренние духовные свершения. Мы распевали молитвы часами. На улице нас принимали за лунатиков. Перед каждым молитвенным собранием мы ходили в *микву* — ритуальные бани — чтобы очиститься, ибо иначе наши мольбы не будут услышаны. Иногда, в нашей безумной экзальтации, нам казалось, что мы уже различаем шаги Спасителя; скоро цель будет достигнута, звук *шофара*, трубы пророка, раздастся в самом сердце истории, и кровь жертв не прольется больше; скоро наши враги смиренно и покаянно признают, что никогда им не удастся уничтожить народ Завета, истребляя его детей. Скоро, но когда? Мы горели нетерпением, время торопило, надо было спешить. Но и тут оккупация положила конец нашим мечтам, а может быть — кто знает? — и нашему делу. Палач пришел раньше Мессии, и где-то под мирным небом Силезии веч-

ный народ и все то, что он воплощал, сгорало в огне ни за что, днем и ночью, особенно ночью.

Из всех моих друзей только Иерахмиэль отказывался жить химерами. Он цеплялся за конкретное, осязаемое, реализуемое. Он открыл политический сионизм и с тех пор не мог усидеть на месте. Не бросая изучения Талмуда, он находил время ходить по домам, собирая деньги для Еврейского национального фонда, и пользовался каждым случаем, чтобы пропагандировать среди молодежи свои идеи. Он был талантливым агитатором и появлялся всюду, где мог найти аудиторию. Он воспламенялся, когда держал речь, но взывал он в своих речах к разуму, а не к тоске, которую каждый еврей должен испытывать по Сиону.

В субботние вечера он приходил в нашу маленькую синагогу для традиционной третьей трапезы и беседовал с нами не о Библии и не о еженедельной *Сидре*, а о положении в Палестине. Так я узнал, что Святая Земля находится под британским мандатом и что подпольные еврейские организации взялись за оружие, чтобы завоевать национальную независимость.

Хотя разум мой не воспринимал политических объяснений Иерахмиэля, я все-таки заражался его энтузиазмом. Когда он говорил: Иерусалим, Цфат, Кармел, — кровь бросалась мне в голову: значит, можно восстановить Храм и царство Давида не только покаянием и слезами? А Бог, где же Его место во всем этом? У Иерахмиэля был ответ на все. Под его влиянием я стал изучать современный иврит. Где-то он раздобыл учебник грамматки, с которым никогда не расставался. Он одолжил его мне на неделю — мне пришлось поклясться, что я буду хранить этот учебник как зеницу ока. Перед тем как возвратить ему эту драгоценную книгу, я выучил ее наизусть и до сих пор еще помню оттуда целые страницы.

Но путь Иерахмиэля увел его далеко от величе-

ственного Иерусалима, от романтической Галилеи. Его отправили в Силезию с первым же эшелоном. Я провожал его до ворот гетто. Затерянный в толпе, он не заметил меня. Он думал. О чем он думал? О национальном еврейском возрождении? О сопротивлении древних евреев римской оккупации? За плечами у него, как и у всех, был мешок. Я догадываюсь, что было в этом мешке. Кроме еды и одежды, там была маленькая бесценная книжка — ивритская грамматика.

Потом, на развалинах всего, во Франции, в Израиле, в других местах, случалось мне сходиться с разными людьми, и несколько шагов мы проходили вместе. Но острота чувств, но пламенный жар, которые дали мне те первые приключения, отметившие начало моей жизни, — никогда больше мне их не познать.

Я постарел, и сегодня уже знаю цену слов и вес ожидания. Все пути ведут к человеку, но человек продолжает скитаться от пустыни к пустыне. А источник, этот сумеречный мираж, удаляется все дальше и дальше. Тот, кто думает, что слышит шаги Мессии и стук его сердца, слышит лишь шаги и заглушенные крики моих друзей, покинувших страну моего детства, где, притаившись, их ожидало ненасытное чудовище, пожирающее наших мертвых до самой души.

И нечего возвращаться, нечего отыскивать следы сироты в жилище моего первого учителя. А азбуку я уже знаю.

ИОМ-КИППУР, ДЕНЬ БЕЗ ПРОЩЕНИЯ

Пинхас копал землю. Глаза его были тусклы, страдальческая улыбка застыла на лице, но губы шевелились. Казалось, он спорит с кем-то в себе и, судя по выражению лица, вот-вот признает себя побежденным.

Я никогда не видел его таким подавленным. Я знал, что тело его долго не выдержит. Силы покидали его, движения становились замедленными, беспорядочными. Без сомнения, он и сам это знал. Но мы редко говорили о смерти. Мы предпочитали отрицать ее присутствие, сводить ее, как когда-то, к намеку, к безобидной абстракции. Слово, просто слово, как все другие.

— О чем ты думаешь? Что-то не так?

Пинхас опустил голову, чтобы скрыть смущение или печаль, или то и другое вместе, и помолчал. Потом ответил еле слышно:

— Завтра Иом-Киппур.

Чувство подавленности сообщилось и мне. Мой первый Иом-Киппур в лагере. Может быть, и последний. Судный день, день Прощения. Завтра будет заседать небесный суд и вынесет приговор: "И подобно стаду, существа этого мира пройдут перед Тобой". Когда-то — в прошлом году — я дрожал, когда наступил этот день слез, покаяния и страха. Завтра придется предстать перед Богом, который видит и знает все, и сказать ему: "Отче, сжался над детьми Своими". Сумею ли я молиться с

прежним жаром? Пинхас тряхнул головой и глубоко заглянул мне в глаза:

— Завтра день великого Прощения, и я решил: не буду поститься. Слышишь? Я не буду поститься.

Я не просил объяснений. Я знал, что он должен умереть, и испугался, как бы он не заявил в свое оправдание: "Все очень просто, я решил не подчиняться закону и не поститься, потому что для людей и для Бога я уже умер, а мертвые могут не подчиняться заповедям Торы". Я опустил голову и сделал вид, что не думаю ни о чем, кроме этой темной земли, которую я копал под еще более темным небом.

Мы были в одной команде. Мы всегда устраивались так, чтобы работать рядом. Разница лет не мешала ему относиться ко мне как к другу. Ему было более сорока, мне пятнадцать. Перед войной он был *Рош-иешива*, глава школы раввинов где-то в Галиции. Нередко, чтобы заглушить голод и не впасть в отчаяние, мы читали на память и обсуждали какую-нибудь страницу Талмуда. Я снова переживал свое детство, стараясь не думать о тех, кого больше нет. Когда я приводил аргументы, которые ему нравились, или цитировал комментарии, не искажая их смысла, он, случалось, говорил с улыбкой:

— Я бы с удовольствием взял тебя в ученики.

Я отвечал:

— Но я и так твой ученик, какая разница где.

Неправда, как раз это и было главное: где. По лагерным законам я был равен ему, я обращался к нему на ты. Нельзя было даже вообразить себе другую форму обращения.

— Слышишь? — вызывающе крикнул Пинхас. — Я не буду поститься.

— Я тебя понимаю. Ты прав. Не нужно поститься. Здесь, в Освенциме — не нужно. Мы тут живем вне времени, вне греха. Иом-Киппур к Освенциму неприменим.

С самого Рош ха-Шана, с праздника Нового года,

вопрос этот яростно обсуждался в лагере. Поститься означало приблизить смерть. Здесь постились круглый год. Иом-Киппур продолжался круглый год. И книга жизни и смерти находилась уже не в руках Божьих, а в руках палача. Слова *ми ихие у ми ямут* — кто будет жить и кто умрет — имели здесь страшный конкретный смысл и немедленное осуществление. Все молитвы на свете не могли изменить *гзар-дин*, прекратить неумолимое шествие рока. Чтобы жить, тут надо было есть, а не молиться.

— Ты прав, Пинхас, — сказал я, стараясь выдержать его взгляд. — Ты должен завтра есть. Ты находишься здесь дольше, чем я, дольше, чем многие. Тебе нужны силы. Ты не должен расходовать их зря. Надо следить за собой, беречься. Нельзя переходить границу. Нельзя приманивать несчастье. Это был бы грех.

Я — его ученик? Да ведь я его учил, я давал ему советы, словно старший, словно руководитель.

— Не в этом дело, — раздраженно сказал Пинхас. — Я вполне мог бы продержаться день без ничего. Не впервой.

— Так в чем же дело?

— В решении. До сих пор я принимал все. Без горечи, без задней мысли. Я говорил себе: "Бог знает, что делает", я покорялся Его воле. Теперь с меня хватит, я дошел до предела. Если Он знает, что делает, это очень серьезно, не знает — тем более серьезно. И я решил сказать Ему: "Я больше не согласен".

Я замолчал. Какие аргументы мог я привести? Я и сам переживал такой же кризис. С каждым днем я удалялся от Бога моего детства. Он становился мне чужим; иногда я подозревал в Нем врага.

Появление Эдека положило конец разговору. Он был наш бог и царь. Капо. Этот молодой краснощекий поляк, с повадками дикого зверя, старался застигнуть своих рабов врасплох, ему нравилось, когда они выли от страха. Он был еще подростком, и его забавляло, что у него такая власть

над взрослыми. Мы боялись его переменчивых настроений, его внезапных приступов злобы: он избивал своих рабов еще долго после того, как они теряли сознание и переставали стонать.

— Ну? — сказал он.

Он стоял перед нами, скрестив на груди руки.

— Значит, перекур? Рассказываем свои воспоминания? Вы что — на даче? Или в синагоге?

Злобный огонь вспыхнул в его голубых глазах и тут же погас. Сцена гнева не состоялась. Мы с остервенением налегли на лопаты, думая только о земле, которая угрожающе раскрывалась перед нами. Эдек бросил еще несколько бранных слов и удалился.

Ни Пинхасу, ни мне больше не хотелось разговаривать. Но жребий был брошен. Разрыв с Богом, по-видимому, совершился.

А яма под ногами у нас углублялась и росла. Вскоре только наши головы чуть виднелись на уровне земли. Странное чувство: мне показалось, что я рою могилу. Для кого? Для Пинхаса? Для себя? Для наших воспоминаний?

Когда мы вернулись, весь лагерь уже был охвачен лихорадочным ожиданием: готовились встретить самый святой и самый длинный день в году. Мои соседи по койке, отец и сын, тихо разговаривали. "Только бы перекличка не тянулась слишком долго", — говорил один. "Только бы успели раздать суп до захода солнца, а то нельзя будет к нему прикоснуться," — говорил другой.

Их желание исполнилось. Перекличка прошла без происшествий, без публичной казни. Начальник блока торопливо раздал суп; я торопливо его проглотил. Потом побежал мыться, очищаться. Когда стало темнеть, я уже был готов.

За десять дней перед тем, накануне Рош ха-Шана, все евреи лагеря, не исключая и капо, собрались на площади и молили Бога Авраама, Исаака и Иакова, чтобы Он положил конец нашим унижениям и пе-

решел на нашу сторону, разорвал Свой союз с врагом. Мы хором читали Каддиш по мертвым — но также и по живым. Офицеры и солдаты с автоматами стояли по ту сторону колючей проволоки: зрелище их забавляло.

Для молитвы Кол Нидре мы на площадь не пошли. Боялись селекции: в предыдущие годы селекция превращала день прощения в траурный день, Иом-Киппур превратился в Тиша бе-Ав, в девятое Ава — день разрушения Храма.

Поэтому в каждом бараке образовалась своя синагога. Это было благоразумнее. Но я об этом жалел, потому что Пинхас был в другом блоке.

Нашим официальным кантором был венгерский раввин. Его голос расшевелил мои воспоминания и пробудил легенду, согласно которой в вечер Иом-Киппур мертвые встают из могил и молятся вместе с живыми. Я думал: все правда, именно так это и происходит. Освенцим — подтверждение этой легенды.

Несколько недель подряд ученые евреи собирались по вечерам в нашем блоке и переписывали на туалетной бумаге молитвы для Великих Праздников. Каждый кантор получил экземпляр. Наш читал по бумажке вслух, и мы повторяли за ним каждый стих. Кол Нидре, освобождавшая нас от всех вынужденных обетов, показалась мне теперь абсурдным анахронизмом, хоть она и была сложена несколько веков назад в подобных же обстоятельствах — в Испании, где полыхали костры. Раз в год новообращенные собирались и возглашали перед Богом: "Знай, все, что мы говорили, — не сказано, все, что мы делали, — не сделано!" Кол Нидре? Печальная шутка. Здесь, теперь, у нас не было никаких тайных обетов, от которых мы могли бы отречься, все было ясно и непреложно.

Потом настал черед великой исповеди — *видуй*. Но и тут все звучало фальшиво и не касалось нас. *Ашамну*, мы гршили. *Багадну*, мы предавали. *Газалну*, мы воровали. Что? Мы? Гршили? Против

кого? Как? Мы предавали? Кого? Наверное, впервые с тех пор, как Бог стал судить Свои создания, жертвы били себя в грудь, обвиняя себя в преступлениях своих палачей.

Почему мы взяли на себя грехи и преступления, которые никто из нас не хотел, да и не мог бы совершить? Может быть, несмотря ни на что, мы все-таки чувствовали себя виноватыми. Это было проще. Лучше было верить, что наказание имеет смысл и, значит, мы его заслужили: жестокий, но справедливый Бог лучше, чем отсутствие веры. Чтобы не провоцировать открытую войну между Богом и Его народом, мы решили поберечь Его, крича: "Ты, Господь наш, будь благословен! Ты разишь нас без жалости. Ты проливаешь нашу кровь, а мы Тебя за это благословляем, о Предвечный, потому что Ты хочешь показать нам, что Ты справедлив и имя Твое — Правосудие".

Признаюсь, и я присоединил свой голос к другим и молил небо даровать мне милосердие и прощение. И несмотря на слова, которые произносили мои уста, я обвинял себя во всем лишь для того, чтобы превратить все это в насмешку, в фарс. И я все ждал, что Царь Небесный поразит меня немотой и скажет: "Хватит, ты зашел слишком далеко". И, думаю, я бы ответил Ему: "И Ты тоже будь благословен, и Ты тоже".

Лагерный колокол положил конец нашему молитвенному собранию. Начальники блоков кричали: "Ладно, ложитесь спать. Если Бог вас еще не услышал, значит, он и не способен слышать".

В Иом-Киппур Пинхас вышел на работу с другой командой. Я подумал: "Это для того, чтобы мое присутствие не мешало ему есть". Но на следующий день он вернулся к нам. Лицо его было еще бледнее, щеки запали еще глубже. Смерть разрушала его. Я поймал себя на мысли: он умрет, потому что один раз не соблюл правила Иом-Киппура.

Несколько часов мы копали, не глядя друг на

друга. Издали до нас доносились окрики капо, который разгуливал среди работающих, нанося удары по всем согнутым спинам без разбора. В конце дня Пинхас сказал:

— Я должен сказать тебе что-то.

Я вздрогнул, но не перестал копать. Странная, почти детская улыбка появилась на его губах. Он сказал:

— Знаешь, я постился.

Я так и застыл. Мое остолбенение его развеселило:

— Да, я постился. Как и все. Но по другим причинам. Не из покорности, а бросая вызов. Видишь ли, перед войной иные евреи, восставая против Божественной воли, в день Прощения шли в ресторан, но здесь наш возмущенный протест будет услышан только, если мы будем соблюдать пост. Да, ученик мой и учитель, знай, что я постился. Не из любви к Богу, но против Бога.

Через несколько недель он меня покинул — он оказался жертвой первой же селекции. Пожав мне руку, он сказал:

— Я хотел бы умереть не здесь и не так. Я всегда надеялся, что сделаю из своей смерти, как и из жизни, акт веры. Жаль. Бог помешал мне осуществить мечту, Он больше не любит мечтаний.

Тем не менее, он попросил меня прочесть Каддиш после его смерти, которая, по его расчетам, должна была наступить через три дня после отправки эшелона.

— Но зачем? — вскричал я. — Ведь ты больше не веришь в Него?

И тогда тоном, которым он объяснял мне трудные места Талмуда, Пинхас сказал:

— О, ты не улавливаешь сути вопроса. Теперь, здесь, есть только один способ обвинять Его — это славить.

И, засмеявшись, он ушел умирать.

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Летний вечер в Тель-Авиве, в автобусе. Жара не только не уменьшается, но нависает непроницаемой духотой, наполняет тело, затрудняет движения и дыханье, мешает видеть предметы. Ты словно спишь на ходу, ты вот-вот упадешь в пустоту. Чтобы дышать, чтобы смотреть, надо делать усилие, еще одно бессмысленное усилие.

И никакого движения вперед. По мере того, как автобус поднимается по главной магистрали — улице Алленби — к центру, уличное движение замедляется и скоро остановится совсем. Пассажиры, привыкшие к этим неприятностям, ведут себя мудро. Одни читают газеты, другие болтают или рассматривают рекламы: вина, кремы после бритья, сигареты. Шофер насвистывает последний шлягер. У меня назначена встреча. Пешком я дошел бы скорее.

Но до следующей остановки далеко. А мы почти не двигаемся: пробки, одна за другой. Словно три колонны машин потерпели аварию разом. Я бы вышел, но открывать двери до полной остановки запрещено. Протестовать бесполезно, у шофера крепкие нервы. О моих этого не скажешь. Я обозлен, я проклинаю себя, что не мог этого предвидеть. Не надо было мне ехать автобусом. И подумать только, что мы на земле пророков!

Чтобы обмануть время, я начинаю свою любимую игру: выбираю кого-нибудь наудачу и, без его ведома, устанавливаю с ним безмолвное общение.

Напротив меня сидит человек средних лет с рассеянным взглядом. Я подробно оглядываю его с головы до ног. Он легко поддается определению. Конторский служащий, или государственный чиновник, или помощник учителя. Безликое существо. Избегает крайностей, избегает ответственности, — только передает приказы. Чистенький, исполнительный, пунктуальный. Не на верхней, но и не на нижней ступеньке служебной лестницы. Ни беден, ни богат, ни счастлив, ни несчастлив. Просто зарабатывает себе на жизнь. Борется. Против всего мира.

В конце концов я окончательно подменяю его собой и уже думаю и мечтаю за него. Это меня нежно или сердито встретит его жена, и я, чтобы забыть свои огорчения, лягу спать или буду пьянствовать в одиночку; это меня предадут товарищи и терпеть не могут подчиненные; это я испортил себе жизнь, а теперь уже слишком поздно, чтобы начинать все сначала.

Я увлекся игрой; но вдруг мне показалось, что я этого пассажира знаю. Я уже видел эту лысую голову, этот жесткий подбородок, этот тонкий нос. Видел этот морщинистый лоб, эти отвисшие уши. Он отворачивается, чтобы взглянуть на улицу, и я вижу его затылок: голый, красный, огромный. Этот затылок я тоже когда-то уже видел. У меня мурашки. Теперь это не любопытство, не игра. Время меняет ритм и страну. Настоящее вступает в бой с темными, тщательно погребенными годами моей жизни. И я уже доволен, что согласился на сегодняшнюю встречу; доволен, что не поехал в такси.

А человек ни о чем не догадывается. Он только что потерял свое инкогнито, он возвращен в тюрьму, но сам он этого еще не знает. Теперь я его держу и не выпущу больше. О чем он думает? Да скорее всего ни о чем. Он боится думать. Боится говорить. Боится воспоминаний и слов, это можно прочесть на его бесцветном лице. Теперь, когда я поместил его во времени, я знаю, кто он. Такой способ са-

мозащиты был когда-то и у меня. Лучший способ не привлекать внимания палача — не видеть его. Чтобы тебя не замечали, надо убить воображение. Раствориться, растаять в запуганной массе, превратиться в неодушевленный предмет. Принять жидкое состояние, чтобы выжить. Но человек по-прежнему не замечает моего интереса к себе. Да если бы даже сотни таких, как я, наблюдали за ним, он и тогда бы ничего не заметил.

Я встаю с места и останавливаюсь прямо перед ним. Я стою очень близко, наши колени соприкасаются, но его глаза по-прежнему глядят, ничего не видя. Я тихонько говорю:

— По-моему, я вас знаю.

Он не слышит. Он притворяется глухим, слепым, мертвым. Как я когда-то. Он спасается в несуществование, но я упорно его преследую. Я повторяю свою фразу. Медленно, осторожно он подает первые признаки жизни. Поднимает на меня усталые глаза:

— Это вы мне говорите?

— Вам.

— Что вы сказали?

— По-моему, я вас где-то видел.

Он пожимает плечами.

— Вы ошиблись, я вас не знаю.

Автобус трогается и тут же останавливается опять. Я наклоняюсь над пассажиром, который делает вид, что не замечает меня, что для него вопрос решен. Я восхищаюсь им: он хорошо играет, он даже бровью не повел. Мы так близко друг от друга, что наше дыхание смещивается и капля моего пота падает ему на рубашку. А он по-прежнему не реагирует. Могу дать ему пощечину — он ничего не скажет. Привычка, дисциплина. Наука: скрывай боль, потому что она не смягчает, а возбуждает палача. Но со мной это не поможет, у меня тот же опыт.

— Вы нездешний, — говорю я.

— Оставьте меня в покое.

— Вы родились не тут. Вы из Европы.

— Вы мне надоели. Перестаньте ко мне приставать, пожалуйста.

— Да вы меня просто заинтересовали!

— Тем хуже для вас, вы меня ничуть не интересуете. Не хочу я ни разговаривать с вами, ни слушать вас. Садитесь на место, а то я рассержусь, поняли? Давай, проваливай отсюда!

И от этого тона я вздрагиваю. На мгновение наши глаза встречаются. Этого достаточно: я вижу себя двадцать лет назад, с котелком в руке, перед этим всемогущим повелителем, распределявшим вечернюю похлебку среди своры оголодавших мертвецов. На смену униженности приходит какая-то мрачная радость, которую мне трудно сдержать. Талмуд говорит, что не встречаются только горы; для людей же, которые карабкаются по горам, никакой круг не замкнут до конца, никакое переживание не будет единичным, никакое забвение окончательным.

— У меня к вам несколько вопросов, — сказал я.

— Плевать мне на ваши вопросы.

— Где вы были во время войны?

— Не ваше дело.

— В Европе, верно?

— Оставьте меня в покое.

— В оккупированной стране, верно?

— Вы мне надоели.

— Может быть, в Германии?

Автобус, наконец, останавливается на станции; человек хочет воспользоваться случаем; он вскакивает и спешит к выходу; я его нагоняю:

— Как интересно, нам вместе выходить!

Он поспешно отступает и пропускает меня вперед:

— Нет, я ошибся, мне дальше.

Я делаю вид, что схожу, — но едва поставив ногу на тротуар, я поднимаюсь обратно:

— Как интересно, мне тоже дальше.

Мы оба стоим у дверей, две женщины уже заняли наши места.

— Разрешите продолжать?

— Я не знаю, кто вы и что вам от меня нужно, — говорит он сквозь зубы. — Не понимаю ваших неуместных вопросов и ваших неприятных манер. Не знаю, во что вы играете, но я в вашей игре участвовать не хочу. Мне неинтересно.

— Что вы меня не помните — естественно. Я изменился, вырос, пополнил; я хорошо одет, здоров, хожу, не боясь упасть, мне хватает и хлеба и дружки. А вы? Вы хорошо себя чувствуете? Отвечайте, это меня очень интересует. Ни бессоницы по ночам, ни страхов по утрам?

И снова он скрывается под маской равнодушия, небытия. Ему кажется, что так он в безопасности, неуязвим. Но я преследую его неутомимо:

— Давайте продолжим. Мы установили, где вы были во время войны: где-то в Германии. А где именно? В лагере. Ну, конечно. С другими евреями. Ведь вы еврей, верно?

Он отвечает, еле шевеля тонкими, почти отсутствующими губами, тоном, еще не потерявшим уверенности:

— Идите к черту, говорят вам, перестаньте болтать. Всякое терпение имеет предел. Я не хочу скандала, но если я буду вынужден...

Я не обращаю внимания на его угрозу, я знаю, что ничего он не сделает, никуда не пожалуется, и с кулаками на меня не полезет — о нет, тут, публично, не полезет, полиции он боится еще больше, чем меня. И я продолжаю:

— Так в каком же вы были лагере? Ну, помогите же мне, это важно. Ну-ка! Бухенвальд? Нет. Майданек? Тоже нет. Берген-Бельзен? Треблинка? Понары? Нет, нет. Освенцим? Да? Да. Освенцим. Точнее — лагерь, подчиненный Освенциму. Явишовиц? Гляйвиц? Моновиц? Вот оно, вот оно — Моновиц-Буна. Может, я ошибаюсь?

Ничего не скажешь, хорошо играет, знает роль назубок. Не вздрогнул, не показал вида. Словно я

обращаюсь не к нему, словно мои вопросы обращены к другому, к тому, кто давно умер. Однако его усилия не выдать себя становятся заметными, он не может справиться с руками — то сожмет, то разожмет, — и в конце концов прячет их за спину.

— Перейдем к более конкретным вопросам. Что вы там делали? Вы не были простым лагерником, о нет. Вы из тех, кто не знал ни голода, ни усталости, ни болезни. Вы не из тех, кто жил в ожидании смерти, желая, чтобы она пришла поскорее, ибо хотели, по крайней мере, уйти из жизни как люди, а не как никому, даже самой смерти не нужный скот. Вы-то были старостой барака, у вас было право жизни и смерти над сотнями человеческих существ, не смеющих даже смотреть на вас, когда вы с аппетитом кушаете специально приготовленные для вас блюда. Смотреть на вас — да это был грех, преступление, оскорбление величества. А как сегодня? Вы хорошо кушаете? С аппетитом?

Он облизывает губы, с которых срывается легкий вздох. Наверное, удвоил усилия, чтобы не ответить, не принять вызов. Его мускулы перенапряжены, теперь он долго не продержится. Ловушка захлопнулась, и он начинает это понимать.

— А номер барака? В каком бараке было ваше царство? Вы помните? 57. Барак 57. Он был в самом центре лагеря, в двух шагах от виселицы. У меня хорошая память, верно? А у вас? Ваша память жива? Или она похоронила нас всех еще один раз?

Кондуктор объявляет остановку, но староста барака не шевелится: ему все равно. Дверь открывается, одна пара выходит, молодая мамаша поднимается, подталкивая перед собой своего мальчика. Шофер кричит: "Эй, мадам, с вас один груш или улыбка!". Он получает и то и другое. Автобус трогается. Но мой пленник этого не замечает: он потерял контакт с внешним миром. Там, за окнами, город, такой близкий и такой нереальный, там огни, шум, радость, смех, вражда, ярость, мелкие интриги; там

свобода и, если не прощение, то забвение. Он мог бы сбежать на следующей остановке. Но не сбежит, я в этом уверен. Он предпочитает, чтобы действовал я, чтобы я решил за него. Я хорошо знаю, что он испытывает: это смесь страха и покорности — но и облегчение. Он тоже вернулся в мир колючей проволоки и, как когда-то, все что угодно предпочитает неизвестности. Здесь, в автобусе, он уже знает, где опасность, и это его успокаивает: он уже знает мое лицо, мой голос. Разорвать эту связь означает кинуться навстречу другой опасности, природа и характер которой ему неизвестны. Так в лагере люди осваивались с существующим положением и делали все, чтобы оно как можно дольше оставалось неизменным. Больше всего боялись там всяких пертурбаций и сюрпризов. Этот обвиняемый уже знает, что я такое: я говорю с ним без ненависти, почти без гнева. А на улице набегут прохожие, и с ними вряд ли можно будет наладить взаимопонимание. Страна битком набита бывшими лагерниками, которые не желают рассуждать.

— Посмотрите на меня: вы меня помните?

Он не отвечает. Он неподвижен, невозмутим и глаза его по-прежнему смотрят в пустоту, поверх голов, но я знаю, что видят они то же, что и мои: истощенные, исхудалые тела, и освещенный двор, и виселицу.

— Я был в вашем бараке. Я дрожал перед вами. Вы были союзником зла, голода, жестокости. Я проклинал вас.

Ни звука. Лагерный закон: укрыться под собственной посмертной маской. Я говорю чуть слышно:

— Мой отец тоже жил в вашем бараке. Но он вас не проклинал.

А на улице пробки рассасываются, шофер уже гонит автобус. Скоро он закричит: "Конечная остановка, все выходят!" Свою остановку я уже проехал. Назначенная встреча уже не кажется мне такой важной. А что мне делать с моим пленником? Передать

его в руки полиции? Коллаборационизм – преступление, караемое законом. Пусть допрос его заканчивают другие. Я появлюсь у барьера как свидетель обвинения. Уже на многих процессах я присутствовал в этом качестве: когда судили бывшего капо, бывшего члена Юденрата, бывшего полицейского в гетто. Их обвиняли в том, что они выжили, избрав подлость.

Прокурор: Вы отреклись от своего народа, предали своих братьев, помогали врагу.

Защитник: Никто не знал, никто не мог предвидеть. Они думали, что делают правильно, особенно в начале; они надеялись, что смогут облегчить страдания общины, особенно в течение первых недель. А потом было уже слишком поздно, уже не оставалось выбора, уже нельзя было отменить все и стать жертвой среди жертв.

Прокурор: В Крыловском гетто немцы назначили некоего Эфраима председателем еврейского совета. Однажды они потребовали у него тридцать человек для принудительных работ. Он представил список. В нем тридцать раз было повторено одно имя: его собственное. А вы, вы продали душу, чтобы спасти свою шкуру.

Защитник: Немногого стоили в те времена и шкура и душа. Когда предел почти переиден, то муки уничтожают и тело и душу, но не одновременно, а по отдельности. Все приходит в разброд. Тело и разум, душа и сердце тянут в разные стороны, и дюжину смертей испытывает человек прежде чем смириться или пойти на сделку с дьяволом, а это тоже ведь способ умереть! И потому я прошу вас: не судите мертвых!

Прокурор: Вы забыли других, невинных, которые от сделки отказались. Не судить подлецов значит возложить вину на тех, кого они бросили, а иногда и приносили в жертву.

Защитник: Судить, не поняв – это право, но не добродетель. Поймите же, что обвиняемые – более

одинокие и потому еще более несчастные, чем другие, что эти обвиняемые — тоже жертвы, и они нуждаются в снисхождении и великодушии больше, чем те, другие.

Почти всегда я уходил с суда подавленный; у меня темнело в глазах; я колебался между жалостью и стыдом. Прокурор говорил правду, и адвокат тоже говорил правду, и все свидетели были правы, независимо от того, были ли они свидетелями обвинения или защиты. Суд был вроде справедливый, и все-таки оставлял место для вопиющей несправедливости.

И так всегда бывало после этих запутанных и мучительных процессов. Казалось, что никто не говорил правды, потому что правда была не здесь, а с мертвыми, и кто знает, не умерла ли и она вместе с ними? Я не раз думал: "Хорошо еще, что я свидетель, а не судья: я бы сам себя осудил". И вот я стал судьей. Нежданно-негаданно. Вот и я попал в ловушку — и теперь мне уже нет хода назад. Я должен учинить суд. Как бы я себя ни повел — это будет приговором.

Запах моря ударяет мне в ноздри, я слышу ропот волн, мы уже не в центре города с его огнями. Мы приближаемся к конечной остановке. Надо торопиться: я должен принять решение, закончить процесс бывшего старосты моего барака. И мне придется сыграть все роли: сперва свидетелей, потом прокурора и защитника. Пленнику моему досталась только одна роль, роль обвиняемого — или жертвы? Мне будут даны все полномочия, и мой приговор будет окончательным, без права обжалования. Для обвиняемого я буду богом.

Начнем с начала. С обычных вопросов. Имя, фамилия, род занятий, возраст, адрес. Обвиняемый не признает законности процедуры и суда, не желает принять участия в судеговорении. Что ж, суд обойдется без его ответов. Нас интересуют его преступления, а не его личность. Откроем досье, посмотрим, какие ему предъявляются обвинения. Я ви-

жу место преступления, вижу собирательное лицо страдания, слышу, как свистит кнут над истощенными телами. По вечерам обвиняемый, окруженный своими здоровенными прихлебателями, демонстрирует умение делать два дела разом: одной рукой распределяет похлебку, другой колотит наугад кого попало в толпе, чтобы было тихо. Слезы и стоны слишком его трогают, а, может быть, раздражают, какая разница, он раздает колотушки, чтобы было тихо. Вид больных выводит его из себя, он усматривает тут плохое предзнаменование. Он особенно жесток со стариками. "Чего вы цепляетесь за эту вонючую жизнь? Кончайте с ней и не будете больше страдать. Отдавайте хлеб молодым, сделайте хоть одно доброе дело перед тем как подохнуть". Однажды он заметил нас с отцом около барака. Отец, как всегда, протянул мне свой котелок и приказал есть. — Я не голоден, — объяснил он. Я знал, что он лжет. Я отказался: и я тоже, отец, я тоже не голоден! Я лгал, и он тоже это знал. Этот спор повторялся каждый день. Но тут староста подошел и повернулся к отцу: — "Это твой сын?" — "Да". — "И тебе не стыдно отнимать у него суп?" — "Но..." — "Заткнись! Отдай ему котелок, а то я тебе так влеплю, что долго будешь помнить!" И со страху, что он приведет в исполнение свою угрозу, я схватил котелок и начал есть. Сначала меня чуть не вырвало, но вскоре я почувствовал, как блаженное тепло разливается по моему телу, и я стал есть медленно, чтобы продлить наслаждение, которое было сильнее стыда. Наконец староста удалился. Я его ненавидел, но в глубине души был рад его вмешательству. Отец пробормотал: это порядочный человек, милосердный. Он лгал, и я солгал в свою очередь: да, отец, милосердный.

Так как же, вы признаете себя виновным, или нет?

Отец гордился тем, что сын его слушается. Как и прежде. Нет, даже больше, чем прежде. Тут, в лагере, среди всего этого организованного безумия есть су-

щество, которое от него зависит и в глазах которого он не просто половая тряпка. Но он не отдавал себе отчета, что я исполнил не его волю, а вашу. Я это сознавал, вы тоже, но я не хотел, в отличие от вас, об этом думать. Точно так же я знал, что подчинившись вам как раб и сообщник, я сократил жизнь моего отца на один вздох или на одно пробуждение. Я топил угрызения совести в желтоватой похлебке. Но вы были мудрее, а, главное, проникательнее моего отца, и вы-то себя не обманывали. Когда вы уходили, у вас был такой вид: ну, мы же с тобой понимаем! Вы говорили себе: "Ну вот, такова жизнь, мальчишка научится, он далеко пойдет, может когда-нибудь он и придет мне на смену". А я не отдал похлебку отцу, не бросился на вас, не вырвал у вас своими руками глаза и язык. Да, я подло струсил. К тому же меня терзал голод, а вы ставили именно на мой голод, и вы выиграли.

Итак, обвиняемый, что вы можете сказать в свое оправдание?

Вы выигрывали всегда, и порой, ночью, мне приходило в голову, что может быть правы вы, а не другие. Для нас вы были не просто кнут или топор в руках убийцы. Вы были князем смерти, ее пророком, ее глашатаем. Только вы умели понимать гнев палача и молчание всей земли; вы были вожатым, за которым надо было идти; кто подражал вам, жил; остальные гнили. Только ваша правда чего-то стоила, только она была возможна, только она отвечала желаниям богов и их предназначениям.

Виновен или не виновен?

Быть среди жертв, мучиться как мы, вместе с нами, плакать без слез, дрожать при виде раскаленных добела облаков, умирать как мы, с нами, может быть даже — за нас? Вы избрали другой удел. Вы стали царствовать в мире тьмы, вы стали объявлять всем и каждому, что жалость преступна, великодушные бесплодно, безумно, нечеловечно. Однаж-

ды после переклички вы сделали нам пространный доклад по лагерной философии: каждый за себя, каждый — враг своему ближнему, ибо живет за его счет. И в заключение вы сказали: "То, что я говорю вам, истинно и неизменно, ибо знайте, что Господь сошел с неба и решил стать видимым: это я".

Так признаете ли вы себя виновным?

Судья слышит подавленные стоны живых и мертвых свидетелей, он видит, как обвиняемый избивает старика, недостаточно быстро стащившего с головы берет, и другого, просто потому, что тот ему не понравился. "Ты, вроде, здоров", — говорит обвиняемый лагернику и бьет его кулаком в живот. "А ты, вроде, болен, вон ты какой бледный", — говорит он другому и бьет его по лицу. У Итцика есть теплая рубашка, обвиняемый ее отнимает. Итцик протестует — и вот он уже корчится от боли. У Ежи с прежних времен остались туфли: обвиняемый требует, чтобы он их ему отдал. Умный Ежи отдает туфли безропотно. Обвиняемый уносит их с презрительной улыбкой: посмотрите только на этого дурака, за себя постоять не умеет, разве он достоин жить?

Так как же? Виновен или не виновен?

А если бы все можно было переделать? Что такое вы сегодня по сравнению с тем, чем вы были тогда? Расскажите нам о своем раскаянии, о том, как вы искупаете свою вину. Что вы говорите жене, когда она делится с вами своей гордостью и рассуждает о будущем ваших детей? Что вы видите в глазах прохожего, который говорит вам доброе утро, добрый вечер, и *шалом*, что означает: мир тебе?

— Ну? — кричит шофер. — Сколько раз я должен повторять, что мы приехали?

Он видит нас в своем зеркале и кричит еще громче. Наше бездействие выводит его из себя. Он поворачивается на сиденьи и кричит во все горло:

— Да вы что, глухие? Иврита не понимаете?

Мой пленник делает вид, что не понимает никакого языка. Он спит и видит сны, он там, в другом времени, на другой конечной остановке. Он ждет, чтобы я сделал первый шаг, разорвал проклятый заколдованный круг, отделяющий нас от прочих людей. И, как когда-то, он подчинится и пойдет за хозяином.

Шофер уже рассердился не на шутку. Эти двое, что молчат и стоят, как привидения, собрались, видно, ночевать в его автобусе? Они думают, что это гостиница? Он встает, бормоча: ну, я вам покажу, я вам покажу! Он идет к нам и взгляд его не предвещает ничего хорошего. Мой пленник ждет не шевелясь, ему все равно, что с ним будет. Я касаюсь его локтя:

— Давайте выйдем!

Он машинально подчиняется. На тротуаре он послушно замирает, ожидая меня. Мог бы кинуться в один из темных переулков, ведущих к морю. Но нет. У него нет своей воли. Не хочет он перетряхивать порядок вещей, не хочет думать о неясном будущем. Никакой инициативы! В лагере это золотое правило.

Автобус отъезжает. Мы одни. Мне больше нечего ему сказать. Меня мучит чувство неловкости, словно я сделал глупость. И я уже робею. Слабым голосом я спрашиваю:

— Вы действительно меня не помните?

В темноте я не вижу его лица. Не узнаю его больше. Меня душит сомнение: а вдруг это не он?

— Нет, — говорит он наконец. — Я вас не помню.

Я уже и голоса его не узнаю. Тот голос был хриплый, резкий. Теперь он стал более человеческим.

— Но себя-то вы помните? Вы помните, кем вы были?

— Это касается только меня.

— Нет. Это касается и меня тоже.

Я знаю, что надо кончать, но как? Если он начнет скулить, оправдываться, просить прощения, я по-

зову полицию. И если он будет все отрицать — тоже. Что же он должен сказать, чтобы я его отпустил? Не знаю. Сам должен знать.

Он выпрямляется. Я догадываюсь, что его глаза опять стали холодными и жесткими. Теперь, наконец, он заговорит. Защищаясь, он наконец прольет свет на тайну, к которой мы навечно прикованы. Он заговорит, не шевеля губами, я уверен. Но нет: он кричит. Да нет: вопит! Внезапно, словно с цепи сорвался. Он вопит ругательства, оскорбления, он поносит меня. Не на иврите, — по-немецки! Мы уже не в Израиле больше, мы там, в мире ненависти, где-то в Германии. Он опять староста барака, который, заложив руки за спину, "советует" одному из своих рабов, чтоб валил отсюда, да как можно скорее, а то пожалеет, что родился на свет. Он грозит избить меня, переломать мне все кости, заставить жрать пыль, а если он это сделает? Никто не придет мне на помощь: в лагере прав тот, кто сильнее и грубее. Будет бить меня сапогами, забьет насмерть? И тогда я навсегда унесу его тайну. Значит, можно умереть в Освенциме после Освенцима?

Староста кричит, как когда-то, но я не слышу его слов. Голос его оглушает меня, меня качает, я тону. Нет, я уже не боюсь умереть и даже не боюсь убивать. Дело в другом, и это будет похуже: я вдруг понимаю, что бессилен, что потерпел поражение. Я уже знаю, что отпущу его, но не знаю — смелость это или трусость. Никогда не пойму, как я себя вел с палачом: как судья или как жертва. Одну только уверенность вынесу я из всего: человек, который решил помериться силами с реальностью зла, всегда выйдет из этого поединка побежденным и униженным. Да если я когда-нибудь самого Ангела смерти встречу на своем пути, я не убью его и не стану пытаться: напротив, я буду разговаривать с ним вежливо, гуманно, как можно более гуманно, чтобы понять его, угадать болезнь, разве что только не заразиться ею.

Староста продолжает выкрикивать непристойности и угрозы, но я не слушаю его. Я всматриваюсь в него последний раз, хотя в темноте и не могу разглядеть его черт. Потом засовываю руки в карманы и ухожу; сначала я иду медленно, потом ускоряю шаг, почти бегу. А вдруг он пошел за мной?

Он позволил мне уйти. Он даровал мне свободу.

VII

БАРБАРА

Хотел бы я рассказать вам историю женщины по имени Барбара, только я сам ее не знаю. Она не захотела рассказать ее мне: не потому, что я бы ее осудил, но потому, что сохранил бы об этом воспоминание. Она ее знать не хотела, она старалась изгладить ее из памяти людей, рискуя потерять собственную память. Она говорила: "Эти дураки мужчины думают, что покупают мое тело. А я им продаю свою память".

Как и у всех, прошлое ее состояло из слов, а будущее — из образов. Как и у всех, у нее была история, которую она не любила, которую она делила с бесчисленными незнакомцами; у всех у них были одинаково угрюмые лица, одинаково вульгарные движения и они сменяли друг друга, никогда не исчезая совсем, как в череде зеркал бесконечно повторяется один и тот же незнакомый силуэт. Эту свою историю она то рубила на части, то приукрашивала, то вываливала в грязи, то облепляла мишурной ложью. А что можно было сделать? Только исказить эту историю так, чтобы она стала неузнаваемой!

Вот потом, когда из нее выпустят всю кровь до капли, — тут-то она, Барбара, раздобудет себе настоящую историю, собственную, ничем не запятнанную, неповторимую, которая с ней начинается и с ней же кончается и которой сам Господь Бог еще не знает. Историю, которую эти дураки мужчины не узнают никогда.

В то время я был еще так молод, что инстинктивно прибавлял шагу, когда мне случалось забрести в душные, плохо освещенные переулки, где беспокойные ночные создания, прислонясь к стене, вечно ожидали друга или врага, каждый раз другого. Казалось, прижимаясь к стене, они страхуют себя от удара в спину.

Я сходил с тротуара на мостовую, я их избегал. Они внушали мне смутный страх. Всякий раз, когда одна из них негромко обращалась ко мне, впрягая в мои глаза сладострастный взор, я опускал голову и краснел. "Нет, спасибо", — бормотал я, сознавая, что грешу, потому что должен был бы ответить: "Да, спасибо".

В Библии слово *кдоша* означает святая, а *кдеша* — проститутка: у обоих слов один корень. Я усматривал в этом некую тайну, которая занимала мое воображение. Но мне не хватало смелости, да и денег. Я сопротивлялся соблазну и упрекал себя за это.

Однако в эту ночь все было по-другому. Сон не шел; я встал и отправился бродить по набережным Сены. Меня грызла тоска. Уже несколько недель я не жил, а погружался все глубже в бездействие и печаль. Читать надоело, друзья только раздражали. Целыми днями я бесцельно бродил в заколдованном одиночестве, происхождения которого не понимал. Что-то стояло между мной и жизнью, я видел, как она отдаляется, и не мог даже руки поднять, чтобы подтащить ее обратно: я позволял ей уходить. И пропасть, к краю которой я приближался, тоже казалась мне чуждой. В то время было в моде слово "абсурд".

Долго я ходил в ту ночь, пока наконец не попал в маленький скверик на улице Сен-Дени, у Рынка. Полночь уже миновала. Теплый ветер обдувал деревья. Четыре девушки ходили по тротуару. Они то сходились и отпускали шуточки или держали совет, то рассыпались и снова расхаживали, покачивая бедра-

ми, стреляя глазами. Для привлечения клиентов у них был разработан очень эффективный и не раз оправдывавший себя стратегический план. Это было похоже на фронтовой патруль, задача которого — завязать контакт с врагом.

Откуда-то возник мужчина, остановился около одной из них, сказал несколько слов, потом покачал головой, ушел и скрылся за углом. Это был последний клиент. Ночь проходила, город засыпал. "Что за жизнь!" — вздохнула одна из четырех.

Так прошло более часа, пока, наконец, они меня заметили. Осуществляя маневр по окружению противника, они подошли со всех четырех сторон.

— Пошли, дружок? — спросила одна рыжая.

Я долго ее разглядывал, думая о другом, прежде чем сам услышал свои слова:

— Нет, не сегодня.

— А почему не сегодня? — воскликнула ее подруга, низенькая и полная.

— Я хочу остаться здесь.

— А, понятно, этот шалолай любит смотреть! — сказала третья.

Все так и покатались со смеху, я промолчал. Смех у них был непристойный. Их рты раскрывались, как расплзающиеся трещины на обветшалых домах этого квартала. Убежать? Нет, не сейчас. Их насмешки меня не трогали; я был не здесь, я был нигде.

— Может, ты кого поджидаешь? — задорно спросила рыжая.

— Да, жду.

— А она запаздывает. Нелюбезно с ее стороны.

— Он вообще нелюбезен, — сказал я. — И он любит, чтобы его ждали. К тому же я люблю его ждать.

— Мы могли бы составить тебе компанию, — предложила рыжая, по-видимому, главный оратор группы. — На то мы и здесь. Мы сделаем тебе скидку.

— Нет. Спасибо. Мне лучше ждется, когда я один.

— А может он обрадуется, что мы тут с тобой, а?

— Нет, не обрадуется.

— Слушай-ка, ты за себя говоришь, или за него тоже?

— За нас обоих. Он любит уединение. И тишину.

— Так скажи, как его зовут. Может, мы его знаем. Мы много кого тут знаем, верно, девочки? Скажи, какой он: богатый? Любит повеселиться? Какие пороки? Какие привычки? Вот у нас и появится интересный клиент.

Я пожал плечами и замолчал. Мне больше не хотелось продолжать эту нелепую игру.

— Да ну, — возмущилась рыжая. — Он просто невежа! Мы хотим ему добра, а он даже отвечать не желает! Можешь сказать, кого ты ждешь, мы его не съедим.

— Кое-кого, — проронил я.

И вызывающе смерил их взглядом. Они захихикали. В обычный день я бы уже давно кинулся отыскивать место, где можно было бы спрятаться, отмыться, покаяться. В обычный день — но не сегодня. Я был спокоен, равнодушен: их приставания не имели ко мне никакого отношения.

И вдруг четвертая, которая до сих пор ничего не говорила, наклонилась ко мне.

— А если я скажу тебе, что ты ждешь меня? — прошептала она мне на ухо, чтобы другие не могли услышать.

Длинные волосы падали на ее полуобнаженную спину. Она смотрела мне в лицо холодным, серьезным, рассудительным взглядом. Я чувствовал ее тяжелое, прогорклое дыхание. Она была навеселе. И тут расхохотался я. Новая мысль вспыхнула во мне, как пламя, и овладела мной. Тот, кого я ищу так долго, — женщина. Бесстыдная женщина, которая не отдается, а продается, женщина, для которой быть и иметь — одно и то же, женщина, которая соединяется с теми, кого презирает. Подумать только, что в детстве я прозревал то существо только на вершинах гор и в глубинах благочестивых размышлений! Девушки разглядывали меня, ничего не понимая.

Я смеялся, но не узнавал своего смеха, как прежде — голоса.

— Ну? — прошептала длинноволосая.

— Пошли, Барбара, брось! — заговорили другие, таща ее за собой.

Они решили, что спектакль окончен.

— Отстаньте, — грубым голосом сказала Барбара.

— Да ты с ума сошла, подруга, ты что, не видишь, что он без копейки?

— Отстаньте!

— Совсем чокнулась!

Девушки ушли, и их голоса потонули в ночи.

— Ваши подруги правы, — сказал я наконец. — У меня ни копейки.

— А плевать мне на это! — ответила она ледяным голосом. — Ты мне нравишься.

Она тронула меня за плечо и сказала, стараясь смягчить голос:

— Ты мне нравишься — и все! Остальное неважно.

Пошли.

— Куда?

— Ко мне. Я недалеко живу. Это будет приятнее.

Пошли.

— Нет, спасибо.

— Ты боишься? Ты застенчивый? Ну, так пойдем к тебе.

— Я не боюсь, но не хочу возвращаться домой.

Она посмотрела на меня внимательно и нахмурилась.

— Ты еврей, верно?

— Да, — сказал я, ничуть не удивившись. — Как вы догадались?

— Акцент, голос... Ты так говоришь "нет"...

— Да, я еврей, и это значит, что я уже ничего не боюсь. Страх меня уже не интересует.

Она села рядом, глядя на меня во все глаза. В темноте ее грубо накрашенное лицо было ужасно. На нем были видны все унижения, которым подвергались ее тело и душа.

— Ты любишь заниматься любовью? — спросила она решительно.

— Смотря с кем.

— А со мной? Хотелось бы тебе со мной?

— Не знаю.

— Хочешь попробовать?

— Нет, спасибо.

— Почему?

Я молчал. Не меня она спрашивала, не мне было отвечать. Она взяла мою руку, я отнял.

— Я тебе противна? В этом все дело?

— Вовсе нет. Просто мне жарко.

— Мне тоже. Но иногда я себе противна.

Я хотел бы что-нибудь ответить, но голова моя была пуста.

— Давай поговорим, — сказал я.

— О чем?

— О вас.

— Говори мне "ты". Все мужчины говорят мне "ты".

В первый раз в жизни меня назвали мужчиной.

— Ладно, поговорим о тебе.

— А что ты хочешь чтобы я тебе сказала? — возразила она, начиная сердиться. — Я не люблю говорить о себе. Мужчины, когда раздеваются, непременно хотят узнать, кто я такая, чтобы запачкать меня как следует, со знанием дела. Им непременно надо узнать, кого они имеют честь и удовольствие заплевать. А я не отвечаю. Не отвечаю правды. Она и так уж достаточно замарана, моя правда. Ну, я и выдумываю. Раскрашиваю. Фантазии хватает. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал я.

Я не понимал, и даже не слушал, но не стоило ее обижать. Мне было жарко. Я вытащил платок и вытер лоб. Она сделала то же.

— Я тебе надоела?

— Нисколько.

— Если надоела, скажи.

— Да нет же. Просто жара.

— Так о чем, бишь, я?

— О правде.

— Ах да! Так что же я говорила? А! Мужчины требуют, чтобы я все, абсолютно все им рассказала. И тут я выдаю историю по заказу, такую — закачаешься. У тебя прямо сердце разорвалось бы от жалости. Эти дураки обожают истории, исповеди. В каждом сидит кюре; для них женщина — всегда несчастная проститутка, и им непременно надо спасти ее душу, утешить и вернуть в лоно. Это же их роскошь, — они воображают себя великодушными покровителями вдов и сирот. Потому они и приходят. Не для того, чтобы заниматься любовью — ну, и для этого, конечно, — а для того, чтобы продать нам по дешевке сочувствие и жалость. "Ах, бедняжка, ты так страдала в детстве! Вот я тебе даю лишних сто франков, видишь, это в подарок, видишь, я щедрый. Но зато, моя хорошенькая, будь со мной поласковее, обещаешь? Ты не будешь топиться, обещаешь?" Ну что ж, я беру чаевые, говорю спасибо, большое спасибо, мсье, огромное спасибо, папочка, вы добрый, вы хороший, у вас золотое сердце, ну идите ко мне, положитесь на меня, я вам отдаюсь, я все позволяю, получайте удовольствие, сколько хотите, сколько можете, я же машина для удовольствия, не стесняйтесь, всем хватит, всем кюре и святителям, которые придут после вас. Вот это я им и говорю, и рыдаю или бью их — кому что нравится: некоторые любят, когда я плачу, некоторые — когда бешусь. Понял? Я стою не больше ста франков.

Она облизнула губы и спросила:

— А ты что хочешь?

— Не знаю.

— Хочешь, я расскажу тебе правду?

— Если тебе это нужно. Но предупреждаю: у меня ничего нет.

Она схватила меня за руку, на этот раз я ей это

позволил. И тут в первый раз за весь вечер я вздрогнул. Я ощутил свое тело.

— Ты мне нравишься, — продолжала она, отпуская мою руку. — Ты мне нравишься, потому что ты молодой и у тебя ничего нет; потому что ты еврей и ничего не боишься. И еще потому, что я тебя не понимаю.

Она отодвинулась, как бы для того, чтобы разглядеть меня получше.

— Я знаю, что ты думаешь. Что я пьяна.

— Ты ошибаешься, я ни о чем не думаю.

— Не перебивай, пожалуйста. Ты ни о чем не думаешь, но ты думаешь, что я пьяна, одно другому не мешает. Ну и что, я, правда, выпила. Немного. С тремя клиентами. По тарифу "люкс". Я им предложила пригласить подружек, они не захотели: сама справишься, как большая. Мы выпили, повеселились, они были очень довольны, так и сказали. Когда ушли, оставили мне бутылку. Я к ней не прикасалась, клянусь, ну, почти совсем не прикадывалась. Я и пить-то не люблю; в одиночку, вот так — не люблю. У меня голова кружится. Тронь: она кружится, чувствуешь?

Она стала вертеть головой, все быстрее и быстрее, и я сам почувствовал головокружение.

— И правда кружится, — сказал я.

— Вот видишь! Я знаю, что говорю. Кажется, что я несу чушь, а я знаю, что говорю. А если ты этого не понимаешь, то только потому, что ты еврей: хорошо слушаешь, да плохо понимаешь.

Она закрыла себе рукой рот, как бы извиняясь, что сказала лишнее.

— Обиделся? Нет? ну, тем лучше. Извини, пожалуйста. Я знаю, что ты понимаешь. Все свои слова беру назад: раз ты еврей, ты должен понимать. Это я тебя не понимаю. Вот когда я увидела, как ты сидишь на скамейке, как ты уселся на ночи — не смотри так на меня, ничего особенного, да, я сказала — на ночи, на ней можно и сидеть, и лежать,

и даже жить — так вот, когда я тебя заметила, до меня сразу дошло, что ты из тех, кто понимает и кого я не понимаю совершенно. Ты любишь, когда тебе это говорят, верно? Ты молодой, а молодые обожают, когда им это говорят. Ладно, доставлю тебе удовольствие: объявляю торжественно, что я тебя не понимаю. Доволен? Да это и хорошо. Я так хотела бы не понимать. Это случается так редко. Обычно я все понимаю слишком хорошо и слишком быстро. Что ж ты хочешь, мне за это платят. Я знаю мужчин, вижу, как они начинают рассчитывать в уме, я жду, я думаю: давай, дядя, разыгрывай свою сцену, я уже знаю, чего ты хочешь — раньше, чем ты, и лучше, чем ты. Эх, они думают, что владеют мной, потому что проходят через мое тело и наполняют его своей пакостью; а ведь на самом-то деле я ими владею, потому что меня-то не надуешь, я не ошибаюсь, я их насквозь вижу и плюю на них на всех.

Барбара рассказывала мне свою жизнь, я думал о своей, и вообще о человеческой жизни, которую может испортить, навсегда загубить одно движение, одно какое-нибудь происшествие. Слово сказанное, или не так сказанное, или не сказанное вовсе, поезд, на который ты опоздал, рука, которую ты взял или оттолкнул, — и вот вся жизнь переменялась. Свобода? Да вы шутите! Будущее — это плод прошлого, недоступного нам; мы уже не имеем возможности к нему прикоснуться и оно становится божеством, которое мы сами создали, создали против себя. Что сделано — сделано, возврата нет, нельзя переиграть себя заново. И каждое да, и каждое нет связывают человека с тем, что вне настоящего. Вот в чем недоразумение, вот в чем фундаментальная несправедливость: человек принимает или отвергает ситуации, которые возникнут только впоследствии, когда будет слишком поздно.

Барбара давно уже молчала. Следовало что-нибудь ей сказать. Она истолковала мое молчание неправильно.

— Ты молчишь. Может, ты меня и не слушал?

— И да и нет.

— И тебе нечего сказать?

— Нечего.

— А ведь я тебе рассказала идиотскую историю, которая называется "моя жизнь". И у тебя нет вопросов? Нет замечаний?

— Нет.

— Ну, что ж. Тем лучше. Теперь окажи мне услугу.

— Какую?

— Забуди мою историю. Сейчас же. Я тоже хочу ее забыть. Обещаешь?

— Конечно.

Она попыталась меня поцеловать, я осторожно ее оттолкнул:

— Слишком жарко.

Она вытерла мне лоб своим платком.

— Хочешь, теперь говори ты. Мы ведь слушать тоже умеем, такое у нас ремесло.

— Нет, спасибо.

— Боишься, что я не пойму, да? Но я как раз этого и хочу! Говори что угодно, только бы я не понимала! До чего бы я хотела хоть разок в этой блядской жизни не понимать!

Густая печаль застыла комом в моей груди. Барбара приблизила лицо, я не отодвинулся. Она прижалась губами к моей щеке, я не мешал ей. От нее пахло вином. Я думал: первая женщина, с которой я говорю о любви, — проститутка, пьяная проститутка, которая любит евреев, потому что их не понимает. Я сам себя не понимал.

— Тебе грустно. Я разбираюсь, когда мужчине грустно. Пойдем, надо заняться любовью. Это лучшее средство от тоски, уж ты поверь мне. Знаешь для чего мужчине дана тоска? Чтобы такие женщины как я не подошли с голоду.

Я смотрел на себя из собственного детства и думал: нет, ты не пойдешь, нет, тебе не выкрутиться.

— Пойдем, ну? Тебе не придется ни говорить, ни слушать. Полная свобода.

Я поднялся рывком:

— Нет, спасибо. Неохота.

Это была неправда — но и правда. Я хотел ее и боялся, как бы она этого не заметила.

— Ты правда не хочешь? Сам не знаешь, что те-ряешь!

Серый свет медленно разрывал небо. Город давал последний бой стае ворон или ястребов и угонял их за горизонт. Скоро наступит день. Я посмотрел на женщину и протянул ей руку:

— Я должен идти, — сказал я, подавляя волне-ние. — Желаю удачи.

Она поколебалась, потом взяла мою руку в свою:

— До свиданья, еврейчик ты мой. Куда ты идешь? К жене? К подружке?

— А у меня их нет.

— К родителям?

— Может быть.

И, помолчав, я сказал:

— Они умерли.

Она улыбнулась:

— Нет, я тебя совершенно не понимаю. Спасибо тебе за это.

Мы разошлись, каждый в свою сторону, я — поту-пившись, она — высоко неся голову. Через несколько шагов я услышал, что она кричит свое последнее сообщение:

— Я забыла важную вещь. У меня не будет детей, слышишь? Никогда, никогда! Это важно, это конец моей истории.

— Твоей истории? Какой истории?

Я пожал плечами и продолжал свой путь в утреннем тумане. Пьяная проститутка, вот она кто, Барбара. Барбара? Разве это ее имя? Наверняка нет. Мари, Сюзан, Бланш, Элизабет, Эмма, Марсель. Но не Барбара. Она приняла это имя, чтобы иметь возмож-

ность говорить себе: да это не я работаю на тротуаре, а Барбара. С кем же я разговаривал?

Несколько месяцев я избегал этот квартал. Потом как-то ночью у меня появилось желание увидеть Барбару. Много часов я провел на скамейке, в маленьком скверике около Рынка, ожидая ее появления. Но ее там уже не было; то ли ночь ее поглотила, то ли собственная история, которой никто никогда не узнает. Другая девушка заняла ее место. Она подошла и спросила:

— Кого-нибудь ищешь?

— Да, — ответил я.

— Кого?

Я ответил не сразу:

— Пророка.

— Ищи, ищи, парень. Он как раз сейчас там наверху занимается любовью.

ЗАВЕЩАНИЕ ЕВРЕЯ ИЗ САРАГОСЫ

Великий рабби Исраэль Баал-Шем-Тов приказал однажды своему вознице поскорее запрягать и везти его за гору.

— Поторопись, мой добрый Алексей, у меня встреча.

Они остановились в дремучем лесу. Святой человек спрыгнул на землю, подошел к дубу, прислонился, постоял минуту, а затем вернулся и сел в бричку.

— Ну вот, Алексей, — сказал он улыбаясь, — теперь мы можем возвращаться.

Возница уже привык к тому, что не понимает своего хозяина-чудотворца, но на этот раз он так удивился, что, набравшись смелости, спросил:

— Но как же ваша встреча? Вы ее пропустите? Ведь вы всегда приезжаете вовремя и никого не подводите? Что же, мы зря сюда приехали?

— Да нет же, милый Алексей, мы не зря ехали в такую даль. Моя встреча состоялась.

И как всегда, когда ему удавалось облегчить горе мира хоть на малую толику, лицо рабби сияло от счастья.

Хасиды считают, что человеку не дано измерить ни долговечности своих дел, ни действия своих молитв, так же как путнику не дано предвидеть истинную цель своего путешествия. Это — тайна постижения исправления — *тиккуна* — одного из главных понятий в Каббале.

Бродяга, который ходит по земле, чтобы очистить свою любовь или избавиться от нее, не знает, что его повсюду ждут. Каждая его встреча, каждая остановка неведомо для него записывается где-то — он не властен выбирать дорог, которые его ведут.

Мертвые, забытые души возвращаются на землю, чтобы выпросить свою долю благодати; живые нужны им, чтобы выбраться из пустоты, из вечного Ничто. Им достаточно жеста, слезинки, искры. Ибо каждое создание участвует в вечно возобновляющейся тайне творения; каждый человек, хоть раз в жизни обладает абсолютной властью Цаддика, неотъемлемой привилегией Праведника, и может восстановить равновесие, исправить ошибку, подействовать на отсутствующих. Приговоренный к тому, чтобы постоянно превосходить себя самого, человек достигает этого безотчетно и понимает свою роль только потом.

А теперь я расскажу вам одну историю.

Место ее действия — Испания. Когда я оказался там впервые, у меня возникло странное чувство, будто я эту землю знаю. Солнечное небо, страдальческий блеск глаз; знакомые, уже виденные пейзажи и лица.

Как угадать, у кого из гуляющих по Барселонской Рамбле, у кого из прохожих с детьми, бредущих по переулкам Толедо, течет в жилах еврейская кровь, кто происходит от знаменитых марранов? Ежеминутно я был готов увидеть под ярким портиком Шмузля ха-Нагида, или Ибн-Эзру, или Дона Ицхака Абарбанеля, или Иехуду ха-Леви — легендарных властелинов и поэтов, сформировавших и воспевших золотой век мысли моего народа. Они появлялись передо мной, когда я читал, они входили в мои сны.

Времена инквизиции особенно притягивали мое воображение. Меня поражали загадочные священники, во имя Любви и во славу молодого еврея из Галилеи пытавшие и предававшие медленной смерти тех, кто Отца предпочитал Сыну. Я завидовал их жертвам.

Выбор для них был сформулирован в таких простых терминах! Бог или костер, отречение или изгнание.

Многие выбрали изгнание, но я никогда не осуждал марранов, несчастных новообращенных, которые втайне, несмотря на опасность, исповедовали веру своих предков. Я ими восхищался. Восхищался их слабостью и их смелостью. Уехать с общиной было легче; порвать связи с ней — удобнее. Решившись порвать, но и не порвать, они жили на лезвии ножа, в ежеминутном самоотречении.

И хоть я и не знал этого, когда отправлялся в Испанию, меня там уже ждали.

Это было в Сарагосе.

Будучи добросовестным туристом, я внимательно осматривал собор, когда ко мне подошел человек и предложил быть моим гидом. Зачем? А почему бы нет? Он любит иностранцев. Сколько это будет стоить? Да ничего. Он не берет денег за эту работу. Для него удовольствие, когда люди восхищаются его городом. Он говорил о нем с энтузиазмом и настоящим красноречием. Говорил обо всем: о его истории, архитектуре, нравах. Когда мы уселись, чтобы выпить по стаканчику, он простер свою любезность до того, что проявил интерес ко мне: откуда я, куда еду, женат ли, верю ли в Бога. Я ответил, что приехал издалека и дорога моя ведет далеко. От других вопросов я уклонился. Он не настаивал.

— Значит, вы много путешествуете, — сказал он вежливо.

— Да, много.

— Не слишком ли много?

— Может быть, и слишком.

— А что вам это дает?

— Воспоминания и друзей.

— И все? А почему вы не ищите их в своей стране?

— Наверное, ради удовольствия вернуться. И при-

везти в багаже несколько слов, которых не знал раньше.

— Каких?

— Не могу вам сказать. Пока не могу. У меня еще нет багажа.

Мы выпили. Я надеялся, что он переменит тему, но он продолжал:

— Кстати о словах. Вы, наверное, говорите на многих языках?

— Даже на слишком многих.

Я перечислил: идиш, немецкий, венгерский, французский, английский и древнееврейский.

— Древнееврейский? — переспросил он, насторожившись. — *Эбрео*? Он существует?

— Существует, — ответил я со смехом.

— Трудный язык, верно?

— Не для евреев.

— А, понятно, простите. Вы еврей.

— Они существуют, — сказал я со смехом.

Убежденный, что допустил неловкость, он стал думать, как бы ее загладить. Подумав, он смущенно спросил:

— А как пишут на этом языке? Так же, как по-арабски?

— Да, как по-арабски. Справа налево.

Какая-то мысль пришла ему в голову, но он не решился ее высказать. Я стал ободрять его:

— У вас есть еще вопросы? Не стесняйтесь.

Он покраснел, но все-таки решился:

— Могу я попросить вас оказать мне услугу? Большую услугу?

— Ну конечно, — сказал я.

— Пойдемте... Пойдемте со мной.

Это было неожиданно.

— С вами? — воскликнул я. — Куда? Зачем?

— Пойдемте. Всего на несколько минут. Может быть, это будет для меня очень важно. Пожалуйста, пойдемте.

Он говорил так настоятельно, что я не мог от-

казаться. К тому же мне было любопытно. Я вдруг вспомнил, что и Сарагоса занимает свое место в еврейской истории. Там родился и жил мистик Аврахам Абулафия, который задумал обратить в иудаизм самого папу Николая III. Стало быть, в этом городе может случиться что угодно.

Мы пришли домой к моему гиду. Его квартира была на втором этаже и состояла из двух крошечных комнат, обставленных бедно, но со вкусом. Керосиновая лампа бросала свет на лицо Мадонны. Распятый Христос висел напротив. Испанец пригласил меня садиться.

— Простите, одну минутку!

Он исчез в другой комнате и через минуту вернулся. В руках у него был пожелтевший кусок пергамента.

— Это на древнееврейском?

Я развернул пергамент. Волнение охватило меня, глаза мои затуманились. Я держал в руках священную реликвию, обрывок завещания, написанного несколько веков назад.

— Да, — сказал я сдавленным голосом. — Это на древнееврейском.

Рука моя дрожала, я не мог этого скрыть. Он это заметил.

— Читайте, — приказал он тоном, не допускающим возражений.

С большим трудом мне удалось разобрать буквы, которые выцвели за четыре столетия. "Я, Моше, сын Аврахама, вынужденный порвать связи с моим народом и моей верой, оставляю эти строки детям моих детей и их детям, чтобы в день, когда Израиль снова сможет ходить под солнцем с высоко поднятой головой, без страха и угрызений совести, они знали, где их корни. Написано в Сарагосе, в девятый день месяца Ава, в год наказания и изгнания".

— Вслух! — нетерпеливо сказал испанец. — Читайте вслух!

Я прокашлялся.

— Да, это документ. Очень старый документ. Я его у вас куплю.

— Нет! — резко сказал он.

— Я дам хорошую цену.

— Не настаивайте. Нет!

— Очень жаль.

— Говорю вам, это не продается.

Я не мог понять его поведения.

— Не сердитесь, я не хотел вас обидеть. Просто этот пергамент имеет для меня историческую и религиозную ценность. Для меня это больше, чем сувенир, это скорее знак...

— Но ведь и для меня тоже! — вскричал он.

Я по-прежнему не понимал. Почему он вдруг ожесточился?

— Для вас тоже? Каким образом?

Он коротко объяснил: в его семье этот пергамент передавался от отца к сыну. Его считали амулетом, исчезновение которого может накликать несчастье.

— Я понимаю, — прошептал я. — Да, я понимаю.

История замкнула круг. Четыре столетия понадобилось словам Моше, сына Абрахама, чтобы дойти по назначению. Вероятно, у меня было странное выражение лица, потому что испанец спросил:

— В чем дело? Вы молчите, вы не говорите, о чем думаете, вы меня обижаете. Да скажите хоть что-нибудь! Не можете же вы сердиться на меня за то, что я не продал вам амулет?

Он покраснел от негодования, а может быть — от тревоги; лицо его приняло недоброе, подозрительное выражение. Резкие складки залегли у рта. Значит, это он ждал меня здесь. Я был носителем тиккуна, носителем исправления для него, а он об этом и не подозревал. Я не понимал, как открыть ему все это. В конце концов, не придумав ничего лучшего, я посмотрел ему прямо в глаза и сказал:

— Да нисколько я на вас не сержусь, все в порядке. Только знайте: вы еврей.

И повторил:

— Да, вы еврей. *Худио*. Вы!

Он помертвел. У него не было слов. Он еле справился с непреодолимым желанием схватить меня за шиворот и выбросить вон. *Худио* — да это оскорбление, это слово вызывает дьявола. Оскорбленный испанец готов был избить меня за то, что я задел его честь. Потом гнев уступил место изумлению. Он смотрел на меня так, словно видел в первый раз, словно я пришел из другого века, из какого-то чуждого племени с неведомым языком. Он ожидал, что я скажу ему, что это неправда, что я просто над ним посмеялся, но я молчал. Все было сказано. Давным-давно. Все, что последует, будет только комментарием. Мой хозяин наконец овладел собой и придвинулся ко мне.

— Говорите! — сказал он.

Медленно, подчеркивая каждый слог, каждое слово, я прочел ему документ по-еврейски, потом начал переводить. От каждой фразы его лицо передергивалось, как от ожога.

— Это все? — спросил он, когда я закончил.

— Все.

Он сощурил глаза и открыл рот, чтобы глотнуть воздуха. На минуту я испугался, что он потеряет сознание. Но он опять овладел собой, закинул голову, взглянул на страдания Марии за моей спиной, потом снова обратился ко мне.

— Нет! — сказал он решительно. -- Это не все. Продолжайте.

— Я перевел вам все, что было в пергаменте. Я не пропустил ни одного слова.

— Продолжайте, продолжайте, говорю вам! Не останавливайтесь на середине, продолжайте, я вас слушаю.

Я повиновался. Я возвратился назад и набросал ему картину Испании в конце пятнадцатого века, когда Фома Торквемада, уроженец Вальядолида, Великий инквизитор христианнейшей всемирнолюбивей-

шей королевы Изабеллы превратил страну в гигантский костер, чтобы спасти евреев, сжигая их, чтобы распространилось и было услышано, возлюблено и воспринято слово Иисуса Христа — аминь.

У испанца были слезы на глазах. Он не знал этой главы своей истории. Он не знал, что евреи были так тесно связаны с величием его страны перед тем, как их изгнали. Для него евреи были частью мифа, он не знал, что "это существует".

— Продолжайте, — умолял он. — Продолжайте, не останавливайтесь!

Мне пришлось подняться к истокам: рассказать о Иудейском царстве, о пророках, об оборонительных и наступательных войнах, о Первом Храме, о вавилонской диаспоре, о Втором Храме, об осаде Иерусалима и Масады, о вооруженном сопротивлении римской оккупации, об изгнании и о долгом, вековом ожидании Мессии, мучительно близкого и мучительно далекого. Я рассказал ему и об Освенциме, и о возрождении Израиля. Я должен был поделиться с ним всем, что хранила моя память. Он слушал не перебивая, только повторял: еще, еще! Наконец я остановился. Мне больше нечего было прибавить. Как всегда, когда я говорю слишком много, мне стало неловко, я боялся, что надоел. Я встал.

— Теперь мне пора, я уже опаздываю.

Машина должна была ждать меня на Соборной площади. Испанец пошел меня провожать. Голова у него была опущена, он смотрел себе под ноги. Площадь была пуста, машины не видно было. Я успокоил своего провожатого: ничего, без меня машина не уедет.

Мы два раза обошли здание, и мой гид, вернувшись к своим обязанностям, дал мне дополнительные объяснения по поводу собора Санта Вирхен дель Пилар. Очень усталые, мы вошли внутрь, уселись на скамейку, и там, в тишине и полутьме, где, казалось, ничего больше не существовало, он по-

просил прочесть ему в последний раз завещание, которое еврей из Сарагосы написал когда-то, думая о нем.

Несколько лет спустя, находясь проездом в Иерусалиме, я шел в Кнесет, где происходило неслыханно бурное заседание по поводу политики Израиля по отношению к Германии. На улице Кинг Джордж меня остановил прохожий.

— Пойдите! Одну минуточку!

Мне не понравилась его манера. Я его не знал, к тому же у меня не было ни времени, ни охоты заводить знакомства.

— Простите, — сказал я, — но я спешу.

Он схватил меня за руку.

— Не уходите, — возразил он повелительным тоном. — Я должен с вами поговорить.

Он говорил на иврите запинаясь. Похоже, турист, или недавний эмигрант. А может — сумасшедший, нищий, мечтатель: их в Вечном городе хватает. Я попробовал высвободиться, но он вцепился в меня не на шутку.

— У меня к вам вопрос.

— Ну, давайте, только поскорее.

— Вы меня помните?

Я боялся опоздать, я сказал, что он ошибся, с кем-то меня спутал.

Он резко оттолкнул меня.

— И вам не стыдно?

— Вовсе нет. Что вы хотите, моя память несовершенна. Да и ваша, по-видимому, тоже.

Я уже уходил, когда человек выдохнул одно слово:

— Сарагоса!

Я остолбенел от изумления, я не мог проронить ни слова. Он здесь? Здесь, передо мной, со мной? Я жил в мире, где галлюцинации в порядке вещей. Я, как свидетель со стороны, присутствовал при встрече двух городов, двух разновременных эпох.

Чтобы убедиться, что я вижу это не во сне, я повторил: Сарагоса, Сарагоса, Сарагоса...

— Пойдемте, — сказал человек. — Я хочу вам кое-что показать.

В тот день я уже не думал ни о Кнесете, ни о дебатах, которые надолго лягут тяжким бременем на политическую совесть страны. Я пошел с испанцем к нему домой. Здесь тоже у него была скромная двухкомнатная квартира. Но на стенах ничего не было.

— Подождите, — сказал он.

Я рухнул в кресло, а он вышел в другую комнату. Вернулся он оттуда со знакомым клочком пергамента, который был теперь забран под стекло.

— Теперь смотрите, — сказал испанец. — Я выучился читать.

Мы сидели с ним до наступления ночи. Пили вино, болтали. Он рассказывал о своих друзьях, о работе, о первых впечатлениях. Я — о своих путешествиях и открытиях. Я сказал:

— Мне стыдно, что я вас забыл.

Он улыбнулся снисходительно:

— Может, и вам нужен такой амулет, как у меня, чтобы не позволял вам забывать.

— Покупаю его у вас.

— Невозможно. Ведь это вы мне его дали.

Я встал. И когда мы уже пожимали друг другу руки на прощанье, хозяин с некоторым удивлением сказал:

— А ведь я вам еще не сказал, как меня зовут.

Он помолчал, для вящего эффекта, и в глазах его засветилось добродушно-лукавое выражение:

— Меня зовут Моше бен Абрахам. Моше, сын Абрахама.

МОШЕ - СУМАСШЕДШИЙ

Из всех лиц, связанных с моим детством, яснее всех я вижу лицо Моше-сумасшедшего. Словно я остался для него единственной связью, как и он для меня.

С годами я забуду кое-кого из товарищей своих игр и большую часть тех, кого знал перед войной и во время войны. Но не его. Как будто мы находимся один у другого в плену. Куда бы я ни пошел, он идет впереди меня. Порой я не знаю, кто из нас кого преследует.

А ведь я знаю, что он давным-давно умер; его смерть совпала со смертью моего детства. Но он отказывается это признать. Он как бы злоупотребляет своей привилегией покойника и мертвеца, отрицая факты.

Факты неопровержимы: приговоренный дважды, и как еврей, и как душевнобольной без средств к существованию, он был отправлен из гетто с первой же партией. Первая остановка: старая синагога. Моше воспользовался этим, чтобы вести молитву. Он смеялся. Это был величайший день его жизни: он никогда и вообразить не мог, что будет молиться в этом прославленном месте, перед собранием в три тысячи человек. Вторая остановка: вокзал. Моше пел и танцевал, то ли для того, чтобы ободрить других, то ли потому, что он никогда не ездил поездом. Третья и последняя остановка — перрон другого вокзала, маленького, откуда не уезжали уже никауда.

Моше шел впереди молчаливого шествия и пел все громче и громче, до самого конца, словно смеясь над врагом, которого только он один и знал.

Этому врагу не удалось заглушить его низкий, тревожащий голос. Он звучит во всем мире; его опасно слушать — и опасно не слушать. Он часто будит меня ночью. Ко мне возвращаются детские страхи, словно я опять ребенок и боюсь спать один. Мне кажется, что он здесь, в моей комнате, в углу около зеркала, или около окна, выходящего на реку. Я весь съеживаюсь, я не сплю до самого утра, я жду первых утренних звуков пробуждающегося города, чтобы наконец пошевелиться.

Когда-то я его не боялся. Он часто приходил к нам. Отец был его другом и доверенным лицом. Меня предупредили: будь с ним ласков, он сумасшедший. Я не знал, что это значит. Он сам говорил мне: посмотри на меня хорошенько, я сумасшедший. Я смотрел на него, не понимая. Людям, которых он встречал по десять раз на дню, он всегда так и представлялся: — Вы меня не знаете, я — Моше-сумасшедший. — Знаем, знаем, — говорили они, отстраняя его. — Не все знаете, не все знаете, никогда вы всего не узнаете.

Он меня заворожил. Люди смотрели на него с жалостью, но он главенствовал над ними. Всюду он был центром, оракулом; он жил в собственном мире, в собственном времени, и только от него зависело, чтобы и мы вошли туда тоже. В нем угадывалась сила, способная нас сломить.

Мутный взор, устремленный в одну точку, придавал его лицу хитрое и злое выражение, но со мной он всегда был добр и сердечен. Я охотно отрывался от чтения, чтобы послушать его душераздирающие песни. Он мне и истории рассказывал, довольно странные, лишённые всякой развязки. Он говорил: — Меня интересует только начало. А на конец мне плевать, я его знаю. — А начало? — спрашивал я. — Начало я тоже знаю, только я стараюсь его переменить.

Не было грехом оторваться от изучения Талмуда, если это делалось ради того, чтобы провести часок с ним вдвоем. Он знал больше, чем мудрецы и их ученики две тысячи лет тому назад. Он видел дальше, и молчание его скрывало более таинственную истину. Может, он различал там, вдали, первого сумасшедшего, созданного Богом, на которого он, по всей вероятности, походил. Из этой дали он вынес не знания, а видения, не утверждения, а вдохновение. Он первый внушил мне, что я могу — и должен — думать о себе как о постороннем; и что этого постороннего я должен — я могу — убить, или позволить ему меня уничтожить.

Он не только не отмахивался от своего сумасшествия, он его призывал. Это было его убежище, его родная страна. Теперь, когда мне случается посещать сумасшедшие дома, я испытываю перед каждым больным почтительный страх, который когда-то внушал мне Моше. Вот пророк подмигивает мне: это Моше. Вот человек, которого все преследуют, отталкивает меня: это опять Моше. Молодая женщина блаженно качает невидимого ребенка: да это его, Моше, она старается успокоить. У всех у них его взгляд.

Иногда я сталкиваюсь с ним на улице. Иногда — в ресторане, в театре, в самолете. Порой мне кажется, что во всей вселенной обитает лишь одно существо и все лица растворяются в одном. И тогда девушка, с которой я прогуливаюсь под руку, кажется мне глупой; слова, которыми я утоляю жажду, оказываются пустыми; дружеские отношения — обременительными. Мне хочется бежать, но Моше-сумасшедший стережет все выходы. Облеченный какой-то неизвестной мне властью, он приказывает, и я повинуюсь; я живу за него. Чтобы бежать от него, я должен его уничтожить. Но как убить ангела, который стал сумасшедшим?

Однажды мне показалось, что я нашел решение: я вывел его в романе. Я надеялся, что теперь, когда

я дал ему крышу над головой, адрес, жилище, любящее окружение, он, наконец, оставит меня в покое. И только когда я кончил работу, я увидел, какую шутку он со мной сыграл: без моего ведома, украдкой, он вошел и в других моих героев, независимо от возраста, пола и религиозной принадлежности. По очереди он говорил: я, ты, он. Когда разговаривали двое, он был обоими одновременно. Они мучили друг друга: он был причиной и воплощением их страданий. В тревоге я перечитал свои старые рассказы: он царил там полновластно. И тут он меня опередил! Более того: он установил для себя статус временно проживающего, возникая и исчезая, когда ему заблагорассудится. Только сорвешь с него маску — а он уже бешено несется вперед, на поиски новых приключений, и силой увлекает меня за собой.

Мне иногда приходит в голову, что я — просто ошибка, недоразумение: я воображаю, что живу своей жизнью, а в действительности моя жизнь — только перевод с жизни Моше.

Сегодня утром мне позвонил читатель и попросил с ним встретиться. Он говорил на идише, и его певучий, протяжный говор выдавал венгерское происхождение. Меня поразил его голос: он показался мне знакомым.

— С кем имею честь? — осведомился я вежливо.

Если он стыдился своего имени, то, во всяком случае, не дал себе труда придумать другое. Зато он с большим искусством стал отвечать мне общими местами:

— Мое имя? Зачем вы спрашиваете? Вы его не знаете. Кроме того, это не имеет никакого значения. Что такое имя? Условность, прикрытие. Что может быть обманчивее имени? Ведь у Господа его нет!

— Он может Себе это позволить, — возразил я; его слова меня позабавили и рассердили. — Его не спутаешь ни с кем другим.

— Вы этого не можете знать. А откуда вам известно, что это не распространяется и на меня тоже? В конце концов, я ведь был создан по Его образу и подобию, верно?

Я уже слышал этот хриплый, тревожный, тревожащий голос. Где? Когда? При каких обстоятельствах? Забытый товарищ? Воскресший друг? Сосед по нарам, который решил, что пора выяснить отношения?

— Я вас знаю?

— Вы меня удивляете. Разве можно сказать, что кого-то знаешь?

Я вышел из терпения. Глупость я еще могу перенести, если надо, но не банальные общие места.

— Мы теряем время, мсье. Что, собственно, вам нужно?

— Я сказал: встретиться с вами.

— По какому поводу?

— Да ничего особенного. Я хотел бы увидеть вас, поговорить и понять.

— Вы меня удивляете, — возразил я. — Разве можно сказать, что кого-нибудь понимаешь?

— Вы отказываетесь? Вы не имеете права отказываться.

Наконец, он снизошел и объяснил, кто он: оказывается, он — то, что называется "поклонник". Утверждал, что читал кое-что, подписанное моим именем. Хотел обсудить некоторые аспекты моих писаний, имеющие прямое отношение к нему лично.

Я не люблю разыгрывать мудреца, который непосредственно сносится с высшим миром. Я живу не в замке и государь-правитель не делится со мной своими секретами. И по-прежнему я не понимаю, почему некоторые люди готовы пожертвовать даже близким существом ради славы или счастья, тогда как все равно в конце пути их ожидает тьма. Точно так же я не понимаю и тех, кто упивается собственным отчаянием, тогда как каждое мгновение несет и радость, и искру вечности. Я преклоняюсь перед

верующим, который осмеливается провозгласить, что жизнь прекрасна — или черна, и перед неверующим, который думает, что может управлять человеком и историей — справа или слева, но толкать вперед, будто ему известно, что нужно сделать и какую борьбу затеять. Я-то об этом ничего не знаю. Человек смотрит, как люди идут по улице, как дремлют на солнце дети, человек робеет и не решается ни подойти, ни отойти, человек ищет себя. И я говорю себе, что слова — это только слова, и что несут они скорее печать нашего неумения, чем искренности. И никакого отношения? Именно — никакого, в том-то и дело. Согласно рабби из Коцка, среди вещей, которые можно сказать, есть такие, которые можно говорить, и такие, которых лучше не говорить; но и те и другие не стоят тех, которые не могут быть сказаны.

— Значит, отказываетесь? — настаивал мой читатель. — Не хотите со мной встретиться только потому, что мое имя вам ничего не скажет?

Где я слышал этот голос, этот певучий говор?

— Дайте мне всего лишь час времени. Я обязательно должен вас увидеть. Речь идет о Городе Возможностей. По-моему, я знаю этот город.

Я не ошибся. Он был родом из маленького городка в нашем районе. Знал он и мой родной город, он бывал там по нескольку раз в год. Помнил и Моше-сумасшедшего, которого два раза на большие праздники приглашали в качестве кантора в их единственную синагогу. Я так и подскочил: Моше-сумасшедшего? Но ведь это все меняет!

— Правда? — закричал я. — Вы его знали? Вы слышали его пение? Когда? В каком он был настроении? Вы с ним разговаривали? Что он вам сказал? Когда вы его видели в последний раз?

— Вы задаете слишком много вопросов. Я не могу отвечать по телефону. Как раз о нем я хотел вас расспросить. Но вам, к сожалению, так дорого время! Мне очень жаль!

— Подождите! Я этого не говорил!

— Я так понял, что...

— Забудьте все, что я вам сказал.

Теперь на встрече настаивал я. Когда? Да как можно скорее, хоть сейчас. Нет, сейчас он занят. А после обеда? Тоже занят. А вечером? Сегодняшний вечер у него занят. Он заставлял себя упрашивать. Со мной он сможет встретиться только на будущей неделе. Наконец он дал себя уговорить. Ладно, чтобы доставить *мне* удовольствие, он освободит себе завтрашний вечер. После работы, в семь часов. Я пригласил его к себе. Нет, это далеко, он живет в Бруклине. За неимением лучшего, мы договорились встретиться у городской библиотеки на Сорок Второй улице. У входа. Оттуда пойдем обедать и проведем вечер вместе! Идет? Идет. На всякий случай я хотел описать себя. Он сказал, что это не нужно.

Смеясь, он повесил трубку, и этот его смех показался мне еще более знакомым, чем голос.

Значит, в этом городе с каменным лицом жил еще один человек, который сохранил живой образ кантора, разыгрывавшего сумасшедшего властелина, а потом сумасшедшего нищего, чтобы бросить вызов небесам и позабавить детей.

Кто бы это мог быть? Старик, готовый проклясть себя, хочет еще раз оглянуться? Сын ищет прошлое и его незаживающие раны? Сирота хочет понять? Завтра все узнаю. А пока хватит с меня и ожидания. Я уже чувствовал себя не таким одиноким; теперь память перестанет быть моей тюрьмой, где каждая камера удушливее другой. Дверь распахнется снаружи. Я получу подтверждение, что Моше-сумасшедший существовал в действительности, что у него была своя жизнь, что он просто занимал и дразнил мое воображение.

Я остро нуждался в осязаемом доказательстве этого, в чужом свидетельстве. Постоянно отвечая на его зов, постоянно ощущая его дыхание, я в

конце концов стал сомневаться в его существовании; мне уже казалось, что оно — отражение, если не продолжение, моего собственного. Так часто и так далеко он меня сопровождал, что я смешал наши судьбы и устремления; я пел, как он, молился, как он, как он, испытывал глубину молчания людей, противопоставляя им свое собственное молчание. Я был им.

И я уже думал о незнакомом друге из Бруклина с чувством, похожим на благодарность. Теперь, благодаря ему, я стану самим собой. Только бы с ним ничего не случилось, только бы он внезапно не умер, не потерял память...

В прекрасном настроении явился я в свое бюро во Дворец Объединенных Наций. Совет Безопасности, созванный на специальную сессию, рассматривал угрожающее положение в Конго. Декорации были грандиозные и переливались всеми цветами радуги, но сам спектакль оставлял желать лучшего: тягучее действие, бледные тексты, тусклые действующие лица. Ни напряжения, ни драматизма. Спектакль не волновал, не трогал, не захватывал. О судьбе народов говорилось в тоне болтовни, словно чиновники рассказывали друг другу последние сплетни. Актеры играли без подъема. Каждый уже не раз сыграл не только свою роль, но и роль соседа; все реплики были известны наперед. Все, что они могли сказать, уже говорилось во время многочисленных предыдущих кризисов: кубинского, кипрского, суэцкого. Монологи шли без вариантов. Казалось, что слушаешь одну и ту же речь на всех языках. Почтенные делегаты бросали друг другу в лицо одни и те же обвинения и одинаково их отражали, призывая одних и тех же богов — мир, свободу и священное право народов на самоопределение. Журналисты писали, всевозможные наблюдатели наблюдали, а добрейшие туристы, на галерее для публики, ничего не поняв, уходили, убежденные, что видели Историю в действии.

Коллега толкнул меня локтем:

— Ну, что ты думаешь?

— Кто же тут думает. Это было бы невежливо.

— Будут те реагировать?

Он понизил голос:

— По-твоему, американцы зашли слишком далеко? Попали в собственную ловушку и теперь уже не могут отступить?

Я понимал его беспокойство и разделял его. Хотелось бы мне его успокоить, сказать ему: "Да нет, войны не будет, великие мира сего все-таки не сумасшедшие!". Но тут я вспомнил о моем собственном сумасшедшем и мне уже не захотелось разговаривать. Моше-сумасшедший, Моше-кантор. Умер в Освенциме. Там, в Освенциме, родилась будущая война, там было убито будущее человека.

— Что ты сегодня собираешься передать в редакцию?

Мне надо было написать длинный отчет о дебатах, но я никак не мог заставить себя почувствовать к ним интерес. Не было единой меры для возмущенных речей дипломатов и предсмертных криков людей, которые, исходя ненавистью, ради лозунгов убивали друг друга в Азии, в Африке и на Ближнем Востоке.

— Ничего, — сказал я, — моя телеграмма уйдет вовремя. Придумаю что-нибудь. Хоть молитву.

— А завтра?

— Никакого завтра не будет. Меня прогонят.

Дебаты продолжались до позднего вечера. Потом, за неимением ораторов, заседание было отложено: почтенные представители великих и малых держав проголодались. Мир во всем мире мог и подождать.

Не без труда я написал свой отчет. И так как я все-таки не стремился потерять место, то молитву я в него не включил.

Когда я возвращался домой, меня охватило легкое беспокойство: а вдруг мой венгерский еврей из Бруклина не незнакомец? Я остановился посреди улицы и прислонился к стене небоскреба. Вспомнил

наш телефонный разговор — сейчас он показался мне еще более странным. Почему он не захотел назвать себя? Почему отказался прийти ко мне? Почему назвал имя кантора только в последнюю минуту? Что, собственно, его рассмешило? Я почувствовал какую-то смутную опасность. Если он не незнакомец, то кто же он? Что ему от меня нужно?

Я встряхнулся и пошел дальше. Было поздно, я очень устал. На набережной, по которой я шел, не было ни одного человека. Но все-таки я на каждом углу останавливался и оглядывался, сдерживая дыхание: не идет ли кто за мной? Никого не было. Просто нервы. Машина ослепляет меня фарами, я отступаю, она проезжает мимо. Кто вел эту машину? Нет, не надо ни о чем думать. Но вот, наконец, и дом, в котором я живу. Швейцар открывает подъезд и смотрит на меня неодобрительно — думает, что я пьян, или что я не один. Поднимаюсь на двадцать четвертый этаж. Моя комната. Боюсь зажечь свет. Ощупью нахожу кровать, раздеваюсь в темноте, ложусь. Но за мной наблюдают. Спать, спать, броситься в сон. Тысячи рук тянутся ко мне, зовут меня; мне страшно, но я позволяю им унести меня, я хочу найти тот голос, понять, почему он показался таким знакомым; я боюсь, но хочу понять, почему я боюсь даже во сне.

Уже за час до назначенного времени я стоял у входа в библиотеку. Большие магазины выплескивали на улицу волны посетителей, и они затопляли тротуар и мостовую. Пешеходы и автомобилисты вязались в свою ежедневную войну, к отчаянию разрывавшихся на части полицейских. Пробкам не было конца. От жары у прохожих были покорные, погасшие лица. Мужчины и женщины, молодые и старые, держались за руки, одни по привычке, другие, чтобы не потеряться. Толпа росла на глазах. На каждом шагу приходилось останавливаться. Казалось,

эта сплошная аморфная масса никогда не схлынет с места.

Я стоял неподвижно и всматривался в потные лица: не узнаю ли я того, кого жду? К тому же мне не хотелось встретить тут кого-нибудь из знакомых. Но это, разумеется, произошло. Почти произошло. На лестнице огромного дома показалась девушка. Это была студентка, которая приходила ко мне всякий раз, когда в ее жизни наступал кризис — что случалось довольно часто. Она мне нравилась, но не представляла мне случая сказать ей это: ее интересовали только так называемые умные вопросы. Я приглашал ее пойти со мной пообедать или в концерт: она все говорила и говорила. Я отпускал комплименты ее красоте, она отвечала: "Большое спасибо". И тут же меняла разговор, непременно желая, чтобы я ей сказал, какова роль индивидуального действия в современном мире, или каким образом еврей в кровавые века мог оставаться евреем, не оскорбляя других и не роняя себя, или возможно ли для творческого человека осуществить себя не во враждебном окружении. Я поддразнивал ее: — А о любви вы никогда не думаете? — Нет, она никогда не думала о любви.

Прелести в ней было столько же, сколько комплексов; очарования не меньше, чем неврастении. Но мне она очень нравилась.

И вот сейчас, в самый неподходящий момент, она спускается своей легкой поступью по лестнице прямо ко мне. Убежать? Но толпа тотчас же отбросит меня назад. И я, чего доброго, упущу своего незнакомца. Я остался на месте, молясь о чуде. Против всякого ожидания, моя молитва была услышана. Девушка, сделав вид, что меня не заметила, кинулась к парню, стоявшему в нескольких шагах от меня. Они так поцеловались, что я понял: с ним она занимается не дискуссиями о бессмертии души.

Ровно в семь часов подошел человек и стал меня разглядывать. Он меня не узнал: с тех пор, что я по-

кинул свой город, я изменился. Но я его узнал. Горящие глаза, раздутые губы, сгорбленная спина. Остальное меня не интересовало. Внешние атрибуты не имели значения. Когда-то он ходил в лохмотьях. Теперь он выглядел элегантно: серый костюм, галстук в тон. Когда-то он играл нищего; теперь — богача.

— Моше, — пробормотал я сдавленным голосом. Он протянул мне руку.

— Здравствуйте. Рад с вами познакомиться. Как поживаете?

Голос Моше, низкий и мелодичный. Неуверенные движения. Мутноватый взгляд, умоляющий и насмешливый.

— Так себе, Моше, так себе.

Я не верил своим глазам. У меня голова шла кругом. Он держал мою руку и я был не в силах ее отнять. Я говорил себе: надо собраться с мыслями. Но я не смел это сделать. Кто знает, куда меня заведут мои мысли. Если Моше-сумасшедший жив, то и все исчезнувшие, все, кто ушел в туман, живы тоже; значит, в царстве тьмы произошло что-то такое, чего мы еще не знаем, что-то иное, не то, что мы думаем.

Он отпустил мою руку и вперил в меня испытующий взгляд:

— Вы назвали меня Моше. Почему?

— О, не знаю. Просто так, по привычке. Я люблю это имя, в нем история моего народа. Первый еврей, которого так звали, был и первым, кто спасся от организованной смерти: Моисей — Моше. Мы получили в наследство не только его Закон, но и его имя. И все, что с ним связано.

Это он, он, мой друг, сумасшедший кантор, смотрел на меня, в этом не было никакого сомнения. Я видел, как он шел умирать, и это только доказывает, что он остался в живых; все те, кто вошел ночью в расщелину смерти, выплыли оттуда с на-

ступлением дня, чистые и святые, более чистые и святые, чем те, кто не последовал за ними.

И вдруг я понял, почему он преследовал меня со времен освобождения: я видел его повсюду, потому что он и был повсюду, во всех глазах, во всех зеркалах. Мертвые вернулись на землю, и у всех был его облик; он был первый в этой династии сумасшедших; он — рок, ставший человеком.

У него теперь не было ни большого живота, ни всклокоченной бороды. Он уже не носил *таллит катан* под заплатанным пиджаком. И все-таки это был тот самый Моше, который в часы молитвы кричал на улице перед синагогой: — ”Горю, дети мои, горю, как огонь! Смотрите, дети, смотрите! Видите, каждый может гореть и не сгорать!” Все думали, что он пьян. Он любил выпить. По праздникам он приходил на собрания разных хасидских групп; собрания прерывались; он вскакивал на стол и пил прямо из бутылок, которые ему протягивали со всех сторон. Это был король-шут, пророк-шут, который мог позволить себе все. Чем больше он пил, тем прозорливее становились его речи. Он кричал: — ”Горю, дети мои, горю! Смотрите и поймите, наконец, что огнем зажигают огонь и огнем же его гасят! Горе тому, кто его погасит, горе тому, кто от него отстраняется! Смотрите, дети мои, смотрите, как я очертя голову бросаюсь в огонь!”

— Пойдемте, закусим, — предложил мой спутник.

— Прекрасно. Будем есть и пить. Непременно. Как когда-то.

Мы нашли на 46-й улице кашерный ресторан. Официант поставил на стол бутылку сливовицы. Мы чокнулись. Я сказал:

— Моше-сумасшедший пил один. Я должен был бы составить ему компанию; тогда я был слишком мал, не поздно ли сделать это сейчас? Хотел бы я знать.

Я налил по второй, по третьей. Я опрокидывал рюмку залпом; он потягивал маленькими глотка-

ми. Я думал: — И все-таки он переменялся. Когда-то он был нетерпелив, ему хотелось опередить время. Может быть, он уже добежал до конца?

— Я прочел то, что вы написали о Моше-сумасшедшем, — сказал он с легкой гримасой. — Вы, по-видимому, знаете его лучше, чем я.

— Лучше чем вы? Может быть, иначе?

— Нет. Лучше, чем я. Доказательство: вы о нем говорите, он вдохновляет ваши рассказы. Потому-то я и хотел встретиться с вами. Что вы о нем знаете? Какие у него были корни, стремления, тайные замыслы? Вы уверены, что он был таким, как вы описываете? А не пользовался ли он своим сумасшествием, чтобы достичь какой-то одному ему известной цели? И уверены ли вы, что он был убит в Освенциме?

Мне хотелось перебить его, сказать: — Вы не так меня поняли, я не так выразился, не так написал и вы не так прочли. Теперь я знаю истину, истина в том, что Моше-сумасшедший не умер и не умрет никогда, и образ его никогда не угаснет. Но я ничего не сказал; я сидел под градом его слов, которые сыпались на меня как справедливое и заслуженное возмездие. Наконец я не выдержал и закричал:

— Чего вы от меня хотите? Что я вам сделал? Кто дал вам право судить и обвинять меня? Моше-сумасшедший? Он никого не осуждал, а вы осуждаете. Во имя чего? Во имя кого?

Он положил руку мне на рукав, стараясь успокоить.

— Вы вспыхнули, не надо на меня сердиться. Если я вас задел, то прошу прощения.

Я думал: "Да, он все-таки изменился. Моше-сумасшедший в жизни ни у кого не просил прощенья, даже у Бога, особенно у Бога".

Он выпил еще глоток и тихо добавил:

— Я был так заинтересован, что, понимаете, даже злоупотребил вашим добрым отношением.

— Не будем об этом говорить. Выпьем. Лучший способ помянуть кантора — это выпить.

Чтобы все загладить, он залпом проглотил рюмку, потом сказал нерешительно:

— Последний вопрос. Может быть, он будет вам неприятен. Вы говорите о нем с любовью. Всегда с любовью. Вы говорите о нем так, как я говорю о своем отце. С чем это связано?

Ему хотелось рассказать мне свою жизнь, все, что он пережил до, во время и после войны. Мне не хотелось об этом знать. Я сбивался, сердился, мысли мои путались, я терял нить.

— Лучше вернемся к вашему вопросу. Почему я вспоминаю о нем с любовью? Да потому, что больше никто этого не сделает. Потому что он никому не был отцом, никому не был сыном. Ни домашнего очага, ни связей, ни положения: что называется — свободный человек. Ничто внешнее его не соблазняло и не пугало. Он был одинок, неуравновешен; из своего безумия он сделал общее веселье, а из одиночества — общее достояние. Он был вожатым, он показывал дорогу. Он был ясновидящим; он никогда не пил дважды из одного стакана, не повторял дважды один и тот же опыт. Разве мог бы я воссоздать его образ без любви и его судьбу без зависти?

Можно было бы продолжать так до самого утра, но я не стал. Мне вдруг пришло в голову, что в сущности мы ничего не знаем о Моше, кроме того, что он позволял нам видеть. Может быть, у него была семья в какой-нибудь окрестной деревне, может быть, он любил жену, кормил детей? Разве можно сказать что-нибудь с уверенностью? Да, он объявлял себя сумасшедшим, путал счастье с развязкой, ясновиденье с галлюцинацией. А дальше? А другое его лицо, которого он не показывал? Меня одолели сомнения. Я по-новому увидел еврея из Бруклина.

— Правду! — сказал я тихо. — Я требую, чтобы вы сказали мне правду. Дайте ее мне. Кто вы? Почему вас интересует кантор? Вы, может быть, его брат? Друг? Убийца? Мститель? А может быть... сын?

Мои вопросы его, видимо, ошеломили. Он покраснел, заморгал; тик, с которым он не мог справиться, стал дергать его веки. Через минуту он овладел собой и расхохотался:

— Вы шутите! Вас заносит! Ну и воображение у вас! Я — мститель! Я — его сын!

— Вы смеетесь, но это ничего не доказывает. Вы смеетесь, чтобы скрыть правду, но я вижу вас насквозь. Скажите мне, кто вы, и что вы тут делаете, и почему вы со мной. Говорю вам, я должен все знать!

Он перестал смеяться и стал рассматривать свои ногти. Глаза мои наполнились слезами.

— Ну? Значит, ничего не скажете? Жаль. Если бы Моше-сумасшедший был здесь, он бы вас заставил. Но его уже нет на этом свете. Да никогда и не было. И все-таки я его знал и следовал за ним повсюду, до этого самого места. Что-то это, наверное, доказывает, но я так и умру, не узнав, что.

Он стал кусать ногти, пот выступил у него на лбу. Я его испугал, это было видно. Потому что разоблачил? Или потому, что он увидел другое лицо кантора? Или потому, что решил, что я и есть Моше-сумасшедший? Он печально покачал головой, потом вскочил с места и глухим голосом объявил, что ему пора.

Как в тумане я видел, как он уходил: подошел к кассе, заплатил по счету, дал официанту на чай, обернулся, посмотрел на меня последний раз и скрылся. Я бы должен был задержать его, побежать за ним, заставить во всем сознаться. Кантор сумел бы. Но я был на это неспособен: я слишком много выпил.

От нечего делать я начал рассматривать посетителей ресторана, которые, к счастью, не обращали на меня внимания. Молодые парочки улыбались друг другу, забывая, что надо есть, пожилые люди ели молча, словно чем-то недовольные. Постепенно зал опустел. Наконец и я поднялся и ушел, спотыкаясь. Вскоре я оказался на Таймс сквер, куда вечно заносит гонимые души, которые бегут от

собственной тени. Купаясь в неоновом свете, оглушенные копеечной механической музыкой, одинокие люди тащились из бара в бар. Я бродил бесцельно всю ночь. Наконец чистый утренний ветер освежил меня, и я двинулся вдоль реки домой. Опынение проходило, ко мне возвращалось равновесие и ясность. Я уже стыдился своего поведения в ресторане, спектакля, который я там разыграл. Да ведь этот еврей из Бруклина, имени которого я по-прежнему не знал, был только любознательный читатель; ему просто хотелось встретиться с земляком. Все остальное сделало мое больное воображение. Он, бедняга, был тут ни при чем.

— Чертов Моше, — усмехнулся я, — опять твои штучки. Никогда ты не переменишься.

И все-таки после этого эпизода передо мной встал еще один вопрос, который следует присоединить к тем, что я задаю себе по поводу нашего кантора. В конце концов, может быть, я был прав в ту ночь, когда так напился. Может быть, Моше-сумасшедший, который не был ничьим сыном, был всем нам отцом.

ВЕЧНЫЙ ЖИД

Никто не знал, ни как его зовут, ни сколько ему лет. Может, он и не имел ни имени, ни возраста. Он не хотел иметь тех признаков, по которым обычно определяется или, по крайней мере, хоть опознается человек. Своим поведением, ученостью, разнообразием и противоречивостью позиций он стремился воплотить неизвестность, неуверенность. На голову выше всех, он использовал свои знания лишь для того, чтобы замутить всякую ясность, откуда бы она ни шла. Ему нравилось переставлять неподвижные точки, разрушать то, что казалось прочным; он упрекал Бога за то, что Он изобрел вселенную.

Откуда он был? Какие были у него радости, какие опасения? К чему он стремился, что хотел забыть? Неизвестно. Знал ли он когда-нибудь в своей жизни женщину, счастье, разочарование? Тайна под семью замками. О себе он говорил только для того, чтобы окончательно запутать: да и нет значили одно и то же, добро и зло тянули в одном и том же направлении. Он строил свои теории и тут же разрушал их, применяя одни и те же средства. Чем больше человек его слушал, тем меньше узнавал о его жизни, о его внутреннем мире. Он обладал сверхчеловеческой властью — изменять собственное прошлое.

Он внушал страх. Но, конечно, и восхищение. О нем говорили: "Опасный человек, он слишком много знает". Ему это нравилось. Он таким и хотел

быть — одиноким, чуждым всем, непостижимым.

Он мог появиться где угодно, всегда неожиданно, чтобы потом, через неделю, через год, исчезнуть бесследно. И тут его, всегда неожиданно, всегда случайно, обнаруживали за горами или по ту сторону границы — то это был поразительный раввин, то делец, то скромный синагогальный служака. Он несколько раз проделал кругосветное путешествие, без денег и без бумаг; никто не знал, ни как, ни с какой целью. Может быть, для того он их и проделывал, чтобы никто никогда не узнал.

Местом его происхождения оказывался то Марракеш, то Вильно, то Кишинев, то Цфат, то Калькутта, то Флоренция. Он приводил массу доказательств, массу деталей, и каждый раз ему удавалось убедить слушателей, что теперь они, наконец, знают правду. На другой день все здание рушилось: он описывал, походя, сказочную атмосферу своего родного города где-нибудь в Китае или в Тибете. Его преувеличения были безмерны и выходили за пределы лжи; они становились мировоззрением.

Каков был результат его реальных или мнимых путешествий? Он говорил хорошо и много. Он владел тремя десятками древних и новых языков, в том числе венгерским и хинди. По-французски он говорил прекрасно, по-английски — безукоризненно, а идиш его принимал акцент любого собеседника. Зохар и Ведды он читал наизусть. Вечный жид, он чувствовал себя дома в любой культуре.

Вечно грязный, вечно оборванный, он был похож на бродягу, ставшего клоуном, или на клоуна, изображающего бродягу. На его огромной, круглой, шишковатой голове всегда сидела крошечная шляпа; взгляд прятался за толстыми пыльными стеклами очков. Встречные, не знавшие его, отстранялись с отвращением. Надо сказать, что это доставляло ему большое удовольствие.

Три года в Париже я был его учеником. Близ него я узнал многое: узнал, как опасен язык и разум,

узнал, что такое гнев мудреца — и безумца тоже, — узнал таинственные пути мысли сквозь столетия и колебания этой мысли, но ничего не узнал о тайне, которая терзала — или защищала — его перед лицом больного человечества.

Наша первая встреча была краткой и бурной. Она произошла в старой синагоге на улице Павэ, куда я часто приходил в пятницу вечером, чтобы присутствовать на богослужении, которым встречают Царицу-Субботу.

После молитвы верующие окружили отвратительного старика, который, размахивая руками, стал объяснять им Сидру — главу Библии на предстоящую неделю. Голос его звучал хрипло и неприятно. Он говорил быстро, фразы так и наскакивали друг на друга, за ним трудно было поспеть; он делал это нарочно: его забавляло, что слушатели не понимают, в чем дело. Каждое слово, каждая мысль были понятны, и все-таки чудилось, что это самообман, что он издевается над теми, кто делает вид, будто понимает. Но никто не оказывал сопротивления: даже это чувство становилось каким-то нездоровым умственным наслаждением.

В середине своей речи он вдруг заметил меня. Он крикнул:

— Ты кто?

Я назвал свое имя.

— Иностранец?

— Да.

— Беженец?

— Да.

— Откуда?

— О, — сказал я, — издалека. Оттуда.

— Верующий?

Я не ответил. Он повторил:

— Верующий?

Я снова промолчал. Он сказал:

— Ага, понимаю.

И продолжал свои расспросы, словно не замечая моего смущения:

— Студент?

— Да.

— Что изучаешь?

— Хотел бы изучать философию.

— Почему?

— Потому.

Он не отставал:

— Почему?

— Я ищу.

— Чего?

Я хотел поправить: не "чего", а "кого". Однако я этого не сказал и просто ответил:

— Еще не знаю.

Его это не удовлетворило:

— Чего ты ищешь?

Я сказал:

— Ответа.

Он словно хлестал меня словами:

— Ответа на что?

Можно было бы сказать ему: не "на что", а "кому", — но я предпочел выразиться проще:

— На мои вопросы.

Он саркастически хихикнул:

— Значит, у тебя есть вопросы?

— Да, у меня есть вопросы.

Он протянул руку:

— Дай сюда, я тебе их верну.

Я ошеломленно посмотрел на него, ничего не понимая.

— Да, — сказал он, — я верну их тебе разрешенными.

— Как? — вскричал я. — Вы обладаете ответами на вопросы? И признаете это при всех?

— Вот именно, — сказал он. — Если хочешь доказательства, то я тебе его тут же предоставлю.

Я промолчал минуту, потом сказал:

— Нет, в таком случае я предпочитаю верить вам на слово.

— Мне это не нравится, — рассердился он.

— Ничего не поделаешь, — сказал я, краснея. — Если вы можете ответить на мои вопросы, то у меня их нет.

Старик — сколько ему было? семьдесят? больше? — долго смотрел на меня; прихожане тоже. Мне стало страшно: я почувствовал, что мне что-то угрожает. Куда спрятаться?

Старик склонил свою тяжелую голову.

— Задай мне все-таки вопрос, — сказал он примирительно.

— Я уже сказал вам: у меня их нет.

— Есть, есть. Всего один вопрос. Неважно, какой. Не пожалеешь, вот увидишь. Чего тебе бояться?

Чего мне бояться? Да всего. Послушаешься один раз — послушаешься и второй. Этому не будет конца — и больше для меня не будет свободы.

— Ну? — дружелюбно сказал старик. — Только один вопрос...

Я молчал. Лоб его нахмурился, черный огонь вспыхнул в глазах.

— Да это просто глупость, парень. Я предлагаю тебе кратчайший путь, а ты его отвергаешь. А ты уверен, что имеешь на это право? Уверен, что твой приезд во Францию свершился не ради встречи со мной?

Сердце мое сильно билось, я сжимал губы. Я слышал внутренний голос, предостерегавший меня, я понимал, что нахожусь на распутье. Берегись, смотри в оба, молчи, не становись на путь, который окажется не твоим.

— Ну? Предпочитаешь упрячиться? Ты что, язык потерял? Или память? Воображаешь, что ты смеешь меня не слушаться?

Старик терял терпение. Мой страх возрастал, он уже душил меня. Когда я был ребенком, то в каждом незнакомце видел посланца, и только от меня зависело, получу ли я от него обетование или проклятье. Учителя научили меня не доверять види-

мости, они же учили, что лучше самому стерпеть тысячу унижений, чем унижить другого. По Талмуду, унижить человека публично — значит пролить его кровь. Отказать старику значило оскорбить его.

— Ну, решился? — спросил он, глядя на меня недобрый взглядом. — Откроешь, наконец, рот?

Неловко, наобум, просто чтобы покончить с этим я, наконец, спросил его, как толкуется какое-то место Библии. Вопрос был, по его мнению, слишком легкий. Он потребовал, чтобы я задал другой. Опять слишком легкий. Следующий. Он покраснел от гнева.

— Ты смеешься надо мной? Давай, стремись, иди до конца, до темноты, и тащи мне то, что от тебя ускользает, что тебя смущает.

На десятой или двенадцатой попытке он, наконец, заявил, что это более или менее подходит. Он закрыл глаза и пустился толковать темное место с таким блеском и точностью, что я был ослеплен. Я уже принадлежал ему, вместе со своей волей и разумом. Он говорил, а я только и мог восхищаться обширностью его знаний и богатством мысли. Его слова уничтожали расстояние, снимали препятствия; не было уже ни начала, ни конца — только хриплый, неприятный голос человека, объясняющего Творцу тайны и поражения Его созданий.

— Как красиво, — сказал я, когда он кончил.

Я был растроган, мне хотелось пожать ему руку. И сказать ему: Вы меня встревожили, я пойду за вами! Но лицо его вдруг так изменилось, что я не посмел пошевелиться. Одутловатое лицо полиловело от негодования. Он подошел, схватил меня за плечи и стал трясти, крича с величайшим презрением:

— И это все, что ты нашелся сказать? "Красиво"! Дурак, плевать я хотел на красоту. Красота — это фасад, декорация. Слова умирают во тьме, ничего к ней не прибавляя. Когда ты поймешь, что красивый ответ — это ничто? Ничто, обман зрения. Человек

определяется тем, что его тревожит, а не тем, что успокаивает. Когда же ты поймешь, что жил, заблуждаясь, и искал, заблуждаясь, потому что Бог — это движение, а не объяснение?

Он оттолкнул меня и стремительно ушел, оставляя за собой свой тяжкий и таинственный гнев.

Кто-то расхохотался и начал меня утешать:

— Не расстраивайся, молодой человек! Он всегда так ведет себя и с теми, кто им восхищается, и с теми, кто его боится. Не надо сердиться. К тому же рассердиться — это значит попасть к нему в ловушку. Не принимай его ругательства близко к сердцу. Он любит причинять боль, это его любимое занятие. Это его подстегивает. Он уже высмеивал людей постарше тебя, да и поученее. Он бы и жить не мог, если бы каждый день для него не находилась новая жертва.

Так впервые я столкнулся с его легендой. Я услышал много рассказов о его могуществе; он знал о других все, а сам оставался в тени; он прочел все книги, самые важные и самые ничтожные; он проник во все секреты; он объездил все страны; он был у себя везде — и нигде. Никто не знал, где и на какие средства он живет. Кто были его друзья и соперники? Его называли рабби, но никто не знал даже, верующий ли он. Он не признавал никакого закона, никакого авторитета — ни общинного, ни индивидуального; покорялся ли он воле Божьей? И это тоже было тайной. Он всегда появлялся неожиданно-негаданно, словно возвращался с неких дальних берегов, из волшебных стран. Годы не властны были над его телом и умом: он не старился. Он был такой, как всегда, он дразнил воображение и бросал вызов времени.

До позднего вечера рассказывали мне евреи о нем, и я слушал с таким мучительным напряжением, словно опять стал ребенком, замиравшим от сказок, в которых хасиды, между молитвами Минха и Маарив,

повествововали о чудесах, совершенных цадиком, наперсником и слугой Господним.

— Не расстраивайся, молодой человек, — повторял мужчина, желавший утешить меня. — То, что наш гость тебя изругал, — привилегия.

— Но кто он такой? И что он делает, если ему под руку не попалась очередная жертва? Где он прячется и почему? Как его можно найти?

Евреи пожимали плечами. Одни считали, что он сказочно богат, другие — что гол, как сокол. "Просто сумасшедший, который смеется над нами", — заявил бородатый старик. Его сосед возразил: "Нет! Это святой, это Праведник, и миссия его на земле — расталкивать нас; ведь нужно иногда всех расшевелить, верно?" Бородач согласился: "Ты прав, это нужно, а то душа так и сгниет в своей скорлупе; но, говорю тебе, не люблю я нашего гостя, не могу я доверять человеку, который мне не доверяет. По-моему, он служит Сатане; это Сатана ему покровительствует и помогает побеждать. Ради чего, какой ценой? Хотелось бы знать — и боюсь узнать!"

Кто-то вспомнил: во время оккупации нашего странствующего оратора арестовали немцы. Его стал допрашивать офицер гестапо. Старик сказал, что он эльзасец, профессор высшей математики в немецком университете. Офицер чуть не лопнул от смеха.

— Ты? Ты преподаешь в университете? И ты хочешь, чтобы я эту дичь проглотил?

— Именно, — сказал бродяга совершенно спокойно.

— Покажи документы.

— Пропали во время бомбежки.

Офицер перегнулся через стол к допрашиваемому:

— Не повезло тебе, жид. Я сам до войны был профессором высшей математики.

Еврей ничуть не растерялся.

— Какая удача, дорогой коллега! Очень рад познакомиться. Конечно, я мог бы предложить вам проэкзаменовать меня. Но у меня другое предложение: я проэкзаменую вас. Вот вам задача. Найдете реше-

ние — расстреляйте меня: обещаю не протестовать. Не найдете — отправьте меня на все четыре стороны, без всяких расспросов.

Офицер согласился. "Профессор" был освобожден и вскоре оказался в Швейцарии, где Главный Раввин стал одним из его преданнейших поклонников. Как ему удалось перейти границу?

— Все логично, — сказал недоверчивый бородач. — Ему помог Сатана.

— Ну, нет! — возразил его сосед. — Ты воображаешь, что Сатана поможет еврею спасти свою шкуру? Нет, я утверждаю, что наш гость — Святой, и этим все объясняется. Пока царь Давид пел псалмы, смерть была против него бессильна, так точно она бессильна против нашего гостя, пока он нас будоражит. Она боится его гнева, как и все мы.

В эту ночь я не смог, да и не хотел заснуть. Выйдя из синагоги, я пошел бродить по улицам и переулкам заснувшего города, сам себе не признаваясь, что надеюсь: вот сейчас впереди меня — или позади — он вынырнет внезапно, как злоумышленник, как мудрец, переодетый нищим, и скажет: "Рассвет наступает, иди за мной". Рассвет наступил, я вернулся домой один.

Чего бы это ни стоило, я должен был его отыскать. Его-то я и искал с самого конца войны, после смерти моих учителей, после того как их огонь потух в огромных кострах где-то в Силезии. Он один достоин прийти им на смену, он укажет мне путь, даже, быть может, откроет, куда он приведет. Отыскать, найти, умолить! Но где? С чьей помощью? По каким признакам? Я стал часто заходить в синагогу на улице Павэ; верующие уже знали меня и знали, зачем я прихожу; знали, что не Бог притягивает меня сюда. Они снисходительно подсмеивались: "Эй, молодой человек, хочешь, чтобы тебя опять изругали?" Я отвечал: "Да!" Они улыбались: "Терпение, молодой человек, терпение! Он вернется,

он всегда возвращается, только нельзя сказать точно, когда. С ним ничего нельзя знать точно”.

Да, это был он — Вечный Жид. Оставался ли он еще во Франции? Думаешь, что он здесь, а он уже в другом месте, где-нибудь в Индии, в Марокко, в Катманду, в пустынных песках или в море — откуда нам знать? С ним всякая уверенность превращается в прах.

Несколько месяцев спустя. Северный вокзал в Париже. Я ехал в Таверни. Мне приходилось ездить туда два раза в неделю: я читал курс по книге Пророков группе молодых польских и венгерских беженцев, спасшихся из лагерей; они были во Франции проездом и жили в замке OSE, ожидая визы в Палестину.

Я листал свои тетрадки, пересматривая записи, как вдруг услышал, что кто-то меня окликнул. Я так и подскочил: хриплый, неприятный голос. Да, это был он. Грязный, обросший, оборванный, в вечной своей крошечной шляпе — ну, просто клоун.

— Иди сюда! — кричал он во все горло. — Тут, около меня, есть место.

Пассажиры бросали на нас неприязненные взгляды. Я испытывал неловкость и вместе с тем облегчение: неловкость потому, что люди видят меня с таким безобразным созданием, облегчение — потому что я его наконец нашел, когда уже и не надеялся.

— Куда едешь?

Я объяснил. Он дал волю иронии:

— Да неужто? Поразительно. Ко всему я был готов, только не к этому. Значит, ты — учитель! Ты! Ну, знаешь! Чего только не бывает на свете! Стало быть, искатель стал поводырем? Ладно, расскажи мне тоже что-нибудь из того, что ты своим ученикам рассказываешь. Чтобы я тоже мог этим воспользоваться, понимаешь ли!

Я не соглашался, но он настаивал. Ужасно смущенный, я стал бормотать что-то нечленораздель-

ное по поводу Книги Иова; она была тогда в моде, каждый уцелевший после Катастрофы мог бы и сам ее написать. В своем курсе я говорил о зарождении диалога между человеком и человеком, между Богом и Сатаной. Я подчеркивал важность молчания как основы. Говорил об идеях дружбы и справедливости, о том, в какой мере распространение одной ослабляет другую. О концепции победы у пророков. И что такое человек — союзник Бога, или игрушка, просто довод в Его руках, триумф Его или провал?

Мой спутник не спускал с меня снисходительного взгляда, делая вид, что ему интересно. Нельзя было не заметить, что он забавлялся. Он не перебивал меня, но иногда издавал какое-то сухое рычанье, которое еще больше меня конфузило; я уже не знал, что говорю, что пытаюсь доказать. Все смешалось в моем мозгу; я слышал себя словно со стороны, словно кто-то другой повторял плохо выученный урок, все звучало фальшиво. В конце концов я остановился, измученный, готовый разрыдаться.

— И все? — спросил беспощадный бродяга.

— Пожалуй...

— Бедняга Иов! — ухмыльнулся он. — Мало он намучился и без твоей помощи!

И он подверг меня такому экзамену, который должен был добить меня окончательно. Мои знания, добытые за долгие годы, ценою бессонницы и самоотречения, разлетались в прах. Я думал, что знаю Талмуд? Ошибка. Думал, что понимаю комментарий Раши? Иллюзия. А Псалмы? Я знаю их наизусть? Ну, и тем хуже, потому что даже в первом стихе не разобрался как следует.

Кровь стучала у меня в висках, все тело болело. Значит, я жил зря, мошенничал, лгал самому себе. Значит, я зря растратил детство и юность; весь мой опыт — одно хвастовство. И, как Иов, я проклял день своего рождения, мне хотелось умереть, исчезнуть, чтобы стереть и искупить свой позор. Бродяге это было очень смешно. Чем больше я говорил,

тем глубже тонул в своем невежестве. Я был близок к безумию, вот-вот забуду самый язык, онемею, превращусь в ничего не ведающего ребенка.

Я стал молиться: Господи, сделай так, чтобы мы поскорее прибыли в Таверни, пока не стало слишком поздно, потому что я больше не могу! Таверни стало для меня землей обетованной, там палач и жертва распрощаются, распрощаются навсегда, и пытка кончится. Медлительность пригородного поезда меня убивала. Обычно поездка длилась час, теперь этот час казался мне вечностью. А бродяга не давал мне передышки, его хриплый неприятный голос не стихал ни на минуту. Я думал:

— Бородач в синагоге был прав, это Сатана, он хочет меня погубить. Я уже не хочу с ним встречаться, пусть уходит, пусть оставит меня с миром, я выхожу из игры!

И вдруг поезд остановился. Кондуктор прокричал: Таверни-и-и! Я встряхнулся, оправился. Бродяга иронически следил за моими движениями. Я протянул ему руку: — Мне здесь сходить. Он поднялся и сказал: — Мне тоже. И притворился, что не увидел моей растерянности.

Когда мы уже вышли, я спросил его, куда он идет.

— Как куда? С тобой, конечно!

— Со мной? — вскричал я в ужасе.

— Ну да, я решил составить тебе компанию.

Почему? С какой целью? Он и сам этого не знал.

— Пойму там, на месте.

Но, ради всего святого, кто его приглашал? Да никто.

— Я свободный человек, иду куда хочу, когда хочу, с кем хочу.

— А я? Где мое место в ваших расчетах?

— А еще рано знать, потом увидим.

Минут двадцать мы шли молча и наконец добрались до Замка, где вид моего товарища вызвал все-

общее веселье. Я рассчитывал в тот же вечер уехать в Париж. Провел я там неделю. И он тоже.

Моя лекция должна была происходить на открытом воздухе, в середине дня. За завтраком старик молча наблюдал за мной; от этого я чувствовал себя совершенно больным. Я не притронулся к еде. Правда, и он тоже.

Я так нервничал, что это подействовало на остальных, и за столом почти никто не разговаривал. Я предчувствовал полное поражение: в его присутствии моя лекция могла кончиться только провалом. А как его удалить? Сказать: умоляю вас, господин незнакомец, будьте милосердны, убирайтесь отсюда и возвращайтесь вечером? Да лучше пусть меня похоронят заживо. Притом, просьбы мои будут напрасны. Уж слишком заманчивый это был для него случай, ни за что он не преминет им воспользоваться.

Директор отправил слушателей в сад, на лекцию. С тяжелым сердцем я последовал за ними. Я знал, что погиб, но что делать: жребий был брошен.

Мой спутник занял место слева от меня. Слушатели расселись полукругом под огромным развесистым деревом и с лукавым видом разглядывали нас. Я конфузился перед этим бродягой, это было очевидно, и они не понимали, почему. Они болтали и обменивались непочтительными замечаниями по его адресу, да и по моему тоже, вероятно. Я попросил соблюдать тишину, сознавая, что все забыл: я не помнил даже, о чем, собственно, по программе я должен был говорить. К счастью, в последнюю минуту, когда я уже собрался начинать лекцию, уродливый старик прикоснулся к моему плечу и сухо сказал, что решил говорить сегодня вместо меня. В жизни я не испытывал такого облегчения. Слушатели покапались со смеху. Оратор откашлялся:

— Я знаю, что вы изучаете трагедию Иова. Предлагаю, чтобы ему дали передышку: пусть залечивает свои раны. По-моему, в течение последних недель его тут слишком уж измучили.

Он покосился на меня: уловил ли я намек. Я опустил голову. Мои верные слушатели оценили остроумие моего заместителя: теперь они смеялись уже не над ним, а надо мной.

— Вот что я предлагаю, — продолжал оратор очень серьезно. — Пусть каждый из вас предложит мне тему, которая его интересует: я буду говорить обо всех этих предметах вместе. Только одно условие: старайтесь, чтобы темы не походили друг на друга. Я терпеть не могу повторений.

Эта риторическая игра вылилась в незабываемое переживание. Библия, Мидраш, Зохар: вопросы неслись со всех сторон. Кое-кто, чтобы довести испытание до абсурда, задавал вопросы о международной политике, об атомной бомбе, даже о средневековых суевериях. Докладчик не делал никаких замечок: опустив веки, он ждал, пока выскажется каждый. Затем, без всякого предварительного замечания, не изменив даже позы, он открыл фронтальную атаку и стал говорить о каждом предмете в отдельности и обо всех вместе. Голос его звучал хрипло и неприятно, но никто этого не замечал. Мы слушали его, околдованные; мы горели, мы оцепенели, мы затаили дыханье, мы преобразились, мы унеслись в странный мир, где живые существа и предметы сорвали с себя все покровы, где все тяготело к абсолюту, безразлично какому, где только силой слова, оттенка слова человек, оказывается, мог и обязан был рассеять хаос, предваряющий, а зачастую и определяющий всякое творчество, и сообщить ему смысл и будущее. Внезапно каждый из нас осознал, что все эти темы, заявленные как попало, вперемешку, просто для развлечения, в действительности имеют общий центр, общий источник ясности. Да, в деянии Каина уже содержится деяние Тита. Да, принесение в жертву Исаака предсказывает Катастрофу, песнь Давида призывает песнь Иеремии; *хафох ба ве-хафох ба де-кула ба* — Тора все и все находится в Торе. Почему первая буква

Бреши́т — первой книги Пятикнижия — Бет, а не Алеф? Потому что человек слишком слаб для того, чтобы начать: кто-то начал до него. Иаков избрал изгнание, чтобы Моисей выбрал свободу. Кто, оглянувшись, видит вершину горы, знает, что начало подготавливает конец и что человек может воздействовать на своего создателя, который тоже изучает Тору.

Давно уже вдали, на деревенской колокольне, пробило полночь, а оратор, неутомимый, неистощимый, все еще говорил, и речь его вспыхивала миллионами огней и рождала столько же теней, а мы все молились только о том, чтобы эта речь не кончилась никогда, никогда, до самого пришествия Мессии.

Рассвет застиг нас врасплох. Мы были счастливы: проделав длинный путь, мы увидели и пережили редкостное, единственное в своем роде явление: победу человека над ночью. Никаких следов усталости. Лица сияли гордостью. А ведь мои слушатели, фанатически религиозные, совершили грех: впервые в жизни они забыли прочесть вечернюю молитву.

Учитель сдался на уговоры и согласился продлить свое пребывание в замке. Сперва на день, потом на неделю. Что касается меня, то меня никто не уговаривал, но я остался.

С утра до вечера, до самой полуночи, а иногда и позже, учитель завораживал нас; мы принадлежали ему, он завладел нами, он перекраивал нас и делал неузнаваемыми.

Был месяц Ав, и, по традиции, он больше всего говорил с нами о разрушении Храма. Мне казалось, что я знаю все связанные с этим легенды, но в его устах они обновились и приобрели особую силу: слушая их, мы все больше гордились тем, что принадлежим к народу, пережившему собственную историю, но сохраняющему ее все такой же живой и жаждущей света.

Однажды он рассказал нам о партизанской войне,

которая в то время шла в Палестине: англичане собирались казнить одного из бойцов "Иргуна". Учитель перевозносил его, как святого, даже сравнил с рабби Акивой, который во времена римского владычества принял смерть как свободный и смелый человек, чтобы прославить имя Божие. Впоследствии я присоединился к борьбе еврейской молодежи за независимость моего народа, и этим я обязан ему, моему учителю.

Наступил день отъезда. Мои ученики стали его спрашивать, вернется ли он. Он ответил:

— Может быть.

— А куда вы сейчас отправляетесь? В каких событиях хотите принять участие? Какие открытия сделать?

— Это вас не касается, — ответил он раздраженно. Тогда они обратились ко мне:

— А ты, ты вернешься?

Я ответил:

— Нет.

Встреча с учителем положила конец моей лекторской карьере. Я снова стал учеником. Мы ушли из замка вместе, и ученики проводили нас на вокзал.

В поезде, уносившем нас в Париж, я сказал ему, что принял решение больше его не покидать. Он не соглашался, но я держался твердо. Я сказал:

— Вы мне нужны.

Он возразил:

— А кто тебе сказал, что ты в состоянии следовать за мной? Или — что ты этого заслуживаешь?

— Я сам.

— Ты сам? — прорычал он. — Ты что же, считаешь себя собственным учителем? Ты слушаешь собственный голос? Откуда у тебя такая гордыня?

— От вас.

Он пришел в ярость. Он поносил меня всячески, но я так и не сдался и, наконец, настоял на своем. Мы вышли на Северном вокзале, и я твердым шагом пошел вслед за ним.

- Ты куда?
- С вами.
- А если я не захочу?
- Все равно пойду.

И торопливо прибавил:

- Вы объяснили мне смысл слова "свобода".

Его уродливое лицо стало пунцовым, я подумал, что он просто плюнет мне в глаза. Но он успокоился.

— Ты упрям, — сказал он презрительно, — но мне нравится, когда евреи упрямы.

И махнул рукой:

- Ладно, пойдешь со мной до конца.

И тут же одумался:

- Но не сегодня. В другой раз. Я сам к тебе приду.
- Когда?
- Не знаю.
- Когда?
- Скоро.
- Утром? Вечером?
- Откуда же мне это сейчас знать?

Он покинул меня около станции метро и исчез.

В своей жалкой комнатушке у ворот Сен-Клу я ждал его и томился: исполнит ли он обещание? Я не решался даже сходить в булочную. Через три дня он постучал в мою дверь. Окинул взором комнату, с отвращением взглянул на книги и приказал мне сесть на кровать. Сам он уселся на единственный в комнате стул.

- Смотри на меня и слушай, не перебивая.

Он приходил ко мне два раза в неделю, в разные дни, в разные часы. Иногда он приходил рано утром, когда город еще спал; иногда втаскивал за собою сумерки. Он оставался у меня по три, четыре, пять, шесть часов. Ему было все равно — один день или столетие: он отрицал время. Едва переступив порог, он начинал говорить о предмете, который его в этот день занимал. И всякий раз я испытывал то же ощущение чуда.

Позже я узнал, что в то время у него были и другие ученики, среди них Эммануэль Левинас, и он отдавал им столько же часов, сколько мне. Откуда он брал время и силы для такой огромной работы? Никогда не видел, чтобы он ел, спал или читал — а между тем он прекрасно себя чувствовал и был в курсе всего, что творилось в мире. Несколько раз случалось ему исчезать на неделю-другую, потом он возвращался, ничуть не изменившись.

Три года я был его учеником, но и сегодня я знаю о нем не больше — а может быть и меньше, — чем узнал в нашу первую встречу в маленькой синагоге на улице Павэ, когда пришел туда встречать Царицу-Субботу.

Как-то раз он узнал, что в Париж, по дороге в Соединенные Штаты, приезжает известный хасидский рабби. Хасиды из Лондона и Цюриха, Антверпена и Франкфурта устремились во французскую столицу, одни — чтобы приветствовать рабби, другие — чтобы попросить у него совета и благословения.

— Ты его знаешь? — спросил учитель.

— Да, он из наших мест, из Трансильвании. Перед войной я один раз видел его издали. Это не мой рабби, мой — Вижницкий.

— А в чем ты его упрекаешь, вот этого?

— Ни в чем, разве только в том, что он не страдал — или недостаточно страдал — во время войны.

— А ты? Ты страдал достаточно?

— Нет, недостаточно. Но ведь я же не рабби, я ни для кого не рабби.

— Что ты можешь об этом знать?

Он уже готов был пустить в меня одну из своих отравленных стрел, но сдержался.

— Ты придаешь страданию слишком большое значение.

Я ждал продолжения, но его не было. Он был так озабочен приездом рабби в этот день, что не тронул меня.

— Я хочу с ним познакомиться, — сказал мой учитель.

— Это будет нелегко.

Рабби остановился в одном из роскошных отелей правого берега. В коридоре толпились люди. Они стояли в очереди долгие часы ради беседы с рабби, которая длилась не более пяти минут. Перед тем как войти в зал, где восседал святой, полагалось еще в передней вручить секретарю *пидион*, банковский билет. Таков был обычай: прежде чем увидеть рабби, надо было совершить доброе дело — а милостыня это доброе дело, — чтобы заслужить такую честь.

— Идем со мной, — приказал учитель.

Я боялся самого худшего. Ведь швейцар может и не пропустить бродягу с прислужником. Но никто не задержал нас в тот день. Коридорный посмотрел на нас и сказал: — Второй этаж. В коридоре стояло человек триста. Мой учитель пробился к секретарю:

— Я хочу его увидеть.

— Становитесь в очередь, как все.

— Я — не то, что ты называешь "все."

— Значит, вы его не увидите.

— В самом деле?

Он вырвал листок из моего блокнота и нацарапал на нем несколько слов.

— Приказываю тебе передать это посланье рабби, не то я тебя прокляну.

Секретарь повиновался. И вот что было еще более странно. Дверь открылась, и сам рабби попросил моего учителя войти. Они провели с глазу на глаз несколько часов, и никто никогда не узнал, о чем они беседовали. Прощаясь с ним, рабби только и сказал, совсем тихо:

— Допускаю, что человек может знать так много. Но как вы сумели все это понять?

Позже я спросил учителя:

— Что вы написали в записке?

— Не твое дело.

— Видите ли, мне тоже хотелось бы научиться открывать иные двери.

Он рассердился:

— Этому научиться нельзя. Ты хочешь подражать мне? Ничего никогда ты не научишься открывать, если будешь подражать кому бы то ни было. Ключ нельзя купить, его надо выковать самолично. То, в чем моя сила, у тебя может стать слабостью. Долг ученика — следовать за учителем, а не копировать его.

К счастью, приступы гнева быстро проходили. Вспыхнут, как молния, и вот он уже такой, как всегда, как всегда озаренный.

Один-единственный раз он ушел в бешенстве, хлопнув дверью. В этом был виноват я. Я хотел вломиться в святилище, я стал задавать вопросы, которые преследовали меня даже во сне:

— Кто вы? Что скрываете? Почему делаете из этого такую тайну? Неужели вы в самом деле думаете, что долг человека замыкаться, а не открываться другим?

Он окаменел. Дыхание его стало шумным, лицо приняло жестокое выражение. Молча он смогрел на меня, ища способ уязвить побольнее, быть может — убить. Я пришел в ужас, я стал оправдываться.

— Не сердитесь на меня. Это не любопытство, не нескромность. Я просто хочу знать это на будущее, хотя бы для того, чтобы рассказать своим детям, кто был человек, имевший такое влияние на их отца.

Он вскочил с места и погрозил мне кулаком. Бешенство, наконец, прорвалось наружу:

— А кто тебе сказал, что оно будет, это будущее? И кто тебе позволил отторгнуть меня от него, говорить обо мне в прошедшем времени?

Он совершенно взбесился и, как одержимый, стал метаться от стены к стене, испуская пронзительные крики.

Он исчез дней на десять. Я уже боялся, что никогда больше его не увижу. Но он появился снова и,

как ни в чем не бывало, продолжал учить меня с того самого места, на котором мы остановились. С тех пор я уже не смел больше касаться запрещенных областей. Я думал: если он захочет открыться, он не станет ждать моих вопросов. Теперь мне иногда кажется, что я был неправ: надо было настаивать. Может быть, он только и ждал, что я опять начну его расспрашивать. Может быть, все его бешенство было напускным.

Он покинул меня в конце 1948 года, не простившись, не сказав "до свиданья". Последняя его лекция не отличалась от прежних. Ничто в его поведении не выдавало намеренья порвать со мной. Он был такой же, как всегда — ни печальнее, ни веселее, чем обычно. Как всегда, я проводил его до станции метро и, как всегда, он посоветовал мне возвратиться домой:

— Подумай еще раз о том, что ты от меня слышал, и постарайся все это уничтожить.

Он не оглянулся.

Прошла неделя; он не подавал признаков жизни. И еще неделя. Никто не стучался ко мне в дверь. Я стал искать его по всем синагогам: безрезультатно. Ни в одной больнице не было больного, похожего на него по описанию.

Я понял, что это безнадежно. Нельзя действовать против его воли, против его свободы. Наши отношения зависели только от него.

Оставшись без дела, без поддержки, без друзей, я решил покинуть Францию. В Израиле дрались, я сгорал от желания поехать туда, мне не сиделось на месте. И только позже, много позже, я узнал, что и он ответил на этот зов, почти в то же самое время, чуть раньше меня.

Я пробыл в Святой Земле недолго, как и он. Меня беспричинно влекли путешествия: я гнался за кем-то, хоть и не знал, за кем. Теперь я решил, что гонюсь за ним. Но наши пути больше не пере-

секлись. Между тем он тоже снова взял страннический посох.

Иногда я встречаюсь с кем-нибудь из друзей, и оказывается, что он знал моего учителя в тридцатые, сороковые, пятидесятые годы, в Париже или в Иерусалиме, в Нью-Йорке или в Алжире. Мы всю ночь говорим о нем. Бывает, что о нем мне рассказывает незнакомец — и тогда он становится моим другом.

Совсем недавно в самолете, которым я возвращался из Буэнос-Айреса в Нью-Йорк, один пассажир рассказал, что в начале шестидесятых годов в Монтевидео появился странный человек. Учитель вел там такой же образ жизни, как и во Франции. Внешность его осталась прежней, сила интеллектуального воздействия тоже. Все та же загадка, по-прежнему неразрешимая, окружала его. Полагали, что он — хранитель каких-то тайн. То он демонстрировал свое превосходство над раввинами и учеными, то становился служкой в синагоге и требовал, чтобы его подвергали унижениям и поручали самые черные работы. Там, как и везде, никто не знал, почему и зачем он расшатывает души, каким силам он бросает свой дерзкий вызов. Где бы он ни появлялся, люди замолкали, стихали, и только сердца их бешено колотились, словно сознавая, что здесь находится тот, кому известно, почему мы живем и умираем.

Часто мною овладевает желание сесть на первый же самолет, который отправляется в Уругвай, чтобы увидеть его в последний раз, чтобы сравнить его с тем образом, который сохранила моя память. Мне нужно, чтобы он опять встряхнул меня, подвесил между небом и землей, и тогда я увижу, что их сближает, и что — разделяет.

Но я боюсь. Будет ли он точно таким, как тот, кто перевернул мою жизнь в маленькой Парижской синагоге и в саду Таверни? Париж изменился, и Таверни изменился, и наши ученики изменились тоже: одни стали раввинами, другие пали в боях —

в Галилее, в Негеве, в Иерусалиме. Я тоже изменился. Но не он. Его не могла изменить даже Катастрофа.

Это-то меня и тревожит, это-то и пугает: если события, перевернувшие всю мою жизнь, не оставили на нем даже царапины, то, может быть, они незначительны и лишены смысла? Неужели же я прожил жизнь под знаком заблуждения?

Если для него прошлое ничто и будущее ничто, то, значит, и смерть ничто, и смерть миллиона еврейских детей тоже ничто? Бог, может быть, умер, но он этого не знает, а если и знает, то действует так, словно его это не касается...

И вот отчего я дрожу всякий раз, когда представляю его себе в Монтевидео, где он ждет меня, куда он меня зовет: я боюсь опять окунуться в его легенду, приговорившую меня к сомнению, а его к бессмертию.

ПОСЛЕДНЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Где-то в далекой Трансильвании, в тени Карпат, близ самой капризной границы Восточной Европы, был когда-то пыльный городишко Сигет. Имя свое он носит как бы тайком, словно опасаясь, что это имя у него отнимут.

Городок как городок, и все-таки не совсем такой, как другие. Тихий, мирный, будто окаменевший в забвении — и в позоре, который это забвение породило. Он отверг прошлое, но оно все еще властно над ним. Он приговорен жить вне времени и дышит только памятью тех, кто его покинул.

Когда-то это был мой городок, когда-то, не теперь. А между тем, он не изменился. Почти не изменился. Я увидел вновь его низенькие серые дома. Услышал глухой ропот его рек, звук шагов на тротуаре, ночью, перед рассветом. Церковь и бойня по-прежнему стоят друг против друга. На углу маленького базара пустынная синагога ждет, кажется, кого-то, кто должен прийти, но не придет больше.

И именно потому, что он остался таким же, как в моей памяти, мой городок кажется мне чужим. Тем, что он так похож на себя, он уже совершил предательство. Он больше не имеет права ни на свое имя, ни на свое лицо. Это город без судьбы. Сигет уже не Сигет.

Давно я сгорал от желания туда поехать. На неделю, на час, на мгновенье: только разок взглянуть. Увидеть его в последний раз, стать снова ребенком, а

потом уехать. Навсегда. Без сожалений, без угрызенной совести, без связей. В наши дни, несмотря на железный занавес, расстояний не существует. Кто угодно может отправиться откуда угодно и посетить мой городок через Бухарест — Клуй — Бая-Маре; может лететь самолетом, ехать поездом, машиной; даже трех суток на это не понадобится. Но мое путешествие оказалось длиннее и труднее. Это одно из тех путешествий, которые проделывают только раз в жизни. Это путешествие должно было привести меня не на край ночи, а напротив, к ее истокам. Туда, где все начинается, где мир утратил свою невинность, а Бог — свою маску.

Потому что я поехал в Сигет из Сигета.

Двадцать лет — это много. Это половина или треть жизни. Все это время я готовился к своему паломничеству, без радости, скорее со страхом. Я знал, что оно перережет мою жизнь пополам. Будет "раньше и позже". Нет, более того: "раньше" не будет.

Что ждет меня там: мертвое прошлое или воскресшее прошлое? Уныние развалин или богохульство отстроенного города? В любом случае это только оправдывает отчаянье, утвердит зло. Нельзя безнаказанно ворошить могилы. Тайна *маассе-брешиг*, Начала — Ангел смерти, стоящий на страже его. Приблизиться к нему можно, лишь принеся в жертву последние связи, последние иллюзии. И ты расстанешься с верой или с разумом — но понапрасну. Это нечестная игра, выиграть невозможно. Да и нечего.

После освобождения, в Бухенвальде, американцы хотели отправить меня на родину. Я не захотел. Не захотел жить один в покинутом жилище. Они настаивали:

— Как, ты отказываешься вернуться домой?

У меня больше не было дома.

— И тебе не хочется увидеть место, где ты родился, где прошло твое детство, где ты впервые познал то меланхолическое и глубокое чувство, кото-

рое вызывает у человека солнце, поднимаясь над вершинами?

Нет, мне не хотелось. Город, о котором они говорили, больше не существовал. Он последовал за евреями в изгнание.

Я предпочел добровольную ссылку во Францию. И начал скитаться. Израиль, Америка, Дальний Восток. Дальше, все дальше, как можно дальше. Я переезжал из страны в страну, из одной жизни в другую, сам не зная, для того ли, чтобы отдалиться от своего городка, или чтобы приблизиться к нему. Он преследовал меня, я видел его повсюду, и он был такой, как всегда. Он наполнял мои сны и затуманивал взгляд на мир, на людей, на себя. Я так хотел от него освободиться, что стал его пленником.

И годы проходили, а городок завораживал и пугал меня все больше. Я отдал бы все, чтобы увидеть его снова и хоть так спастись от него. Страх и надежд было множество, и все они противоречили друг другу. Иногда я говорил себе: война, раскаленные облака, крики в ночи, дети, за ручку идущие на бойню, — все это дурной сон; пробуждение наступит, когда я вернусь и увижу городок таким, каким его оставил, с его талмудистами, коммерсантами, бездельниками, ворами и поэтами, нищими и сумасшедшими. И я чувствовал себя виноватым, что увидел во сне их смерть.

А бывало, что я говорил себе: я буду единственным, вернувшимся с того света, я пройду по улицам, совершенно один, без всякой цели, не встречу ни одного знакомого лица, ни одного открытого взгляда. И сойду с ума от одиночества.

Много раз я уже готов был предпринять это путешествие. Знай, откуда ты пришел и куда идешь, учат наши мудрецы. Но в самую последнюю минуту я всегда изобретал предлог, чтобы отложить поездку на потом. У меня не хватало мужества. Я говорил себе: кто знает, может, я никогда и не покидал своего городка. Или: он никогда не сущест-

вовал нигде, кроме моего воображения. Или: может быть, вся вселенная — это огромная проекция моего городка?

Но однажды я решил, что двадцать лет — достаточный срок. И пустился в дорогу: будь что будет. Дорога одна, будь ты победитель или побежденный.

Не знаю, хорошо ли я поступил, и, конечно, не узнаю этого никогда. А те, кто мог бы дать мне совет, — я искал их там и не нашел. Они не вернулись.

Окруженный высокими горами, окаймленный двумя реками, Сигет пережил все политические расчленения и военные оккупации нашего века. Он был частью австрийской империи, потом его уступили Венгрии, которая отдала его Румынии с тем, чтобы забрать обратно в начале Второй мировой войны. Потом честь царствовать в Сигете перешла к Германии, что позволило СССР отнять его у нее прежде, чем передать Румынии.

Мне пришлось проехать через Бухарест, где я сел на самолет до Бая-Маре. Там я нанял такси. Сто пятьдесят километров, шесть часов, пятнадцать долларов. Хоть шофера и радовало, что он заработает такую кучу денег за такое короткое время — это недельный заработок квалифицированного рабочего, — он все-таки казался недовольным. Он не любил вести машину ночью по скверным, плохо освещенным дорогам.

- Вы знаете Сигет?
- Знаю.
- Как он вам нравится?
- Город как город.
- Расскажите, на что он похож?
- А что тут рассказывать?
- Там есть еще евреи?
- Евреи? Не знаю.

Не такое у него было настроение, чтобы болтать, он мог только ворчать недовольно. Не знаю, кого

он проклинал сквозь зубы — меня, город или евреев, о которых он ничего не знал.

А мне есть что рассказать. Пожалуй, с тех самых пор, что я его покинул, я только и делаю, что рассказываю об этом городке, который дал мне все и все отнял. Город первых вопросов, первых страхов, первых открытий. Там я научился идти к цели, и там же предпочел движение самой цели, там впервые преодолел силу молитвы, а потом силу молчанья.

Я вырос в окружении глубоко верующих людей и жаждал только пламенной веры, которая господствовала бы над каждым мгновением моей жизни. Я был преданным хасидом Вижницкого ребе, но посещал и других раввинов. Я слушал их рассказы, запоминал песни, стараясь не упускать ничего, чему можно было бы научиться. Потом я стал учеником каббалиста и жил под его сенью. Он вставал каждую полночь и прилеплял ко лбу горсть пепла; сидя на полу, тихим голосом он жаловался на разрушение Иерусалимского Храма и на страдания Шхины, которая, как и мы, вместе с нами, находится в изгнании. Я был слишком юн и не мог вообразить, что вскоре храм будет разрушен шесть миллионов раз, что страдания Господни никогда не достигнут и не искупят страданий еврейских детей, которых уже бросали в костер в то время, как мир молчал, как и Тот, Кого называют его создателем.

— Подъезжаем, — сказал шофер.

— Где мы?

После перевала езда неопасна. Долина приняла и обняла нас. Сигет: 40 км. Сигет: 30 км. Вдоль дороги, как изгородь, жмутся покосившиеся хижины. В свете фар возникают деревни. Ночь тотчас же проглатывает их снова. Вдали несколько мигающих огней. Сигет: 20 км. Машина, старая "Волга", набавляет скорость. Сигет: 15 км. И вдруг волнение хватает меня за горло: я чувствую, что реальность от меня ускользает. Шофер — уже не обыкновенный шофер обыкновенного такси. Кто послал

его? На какую таинственную встречу он меня везет? Со смертью? С собой? Сигет: 10 км. Сигет: 20 лет.

— Подъезжаем, — повторяет шофер.

Он произносит это слово глухо, словно угрозу.

Я вступаю в город, как в сон, бесшумно скользя, не встречая сопротивления, принимая заранее самое худшее и самое лучшее. Отныне все возможно, это область, где известное становится неизвестным, где неожиданности идут чередой и отменяют друг друга. Кажется, что вот сейчас ты споткнешься и проснешься, но реальной жизни не до нас.

Я взрываюсь, и время рассыпается тысячами лиц, тысячами осколков существования. С одной стороны мертвые, с другой стороны я. Весна 1944 года, осень 1964. Массовый отъезд, одинокое возвращение. Первая остановка, последняя остановка. Я уехал поездом, вернулся машиной. Только в тот день было тепло, а сейчас приближается зима, и уже ночь. Начало и конец соединяются, их огненное кольцо сжимается: я попался.

— Вот и приехали, — говорит шофер.

Он не имеет отношения ко всей этой декорации; я смотрю на него, не узнавая. Он протягивает руку, он требует то, что ему причитается: он спешит, он должен вернуться в Бая-Маре. Я спрашиваю:

— Вы уверены, что это Сигет? Бывший центр района Марамурес?

Он утверждает, что да, но я ему не доверяю. Просто этот городок похож на Сигет. Это ничего не доказывает. Вот главная улица, площадь, кино-театр, гостиница, женский лицей. Напротив так называемая Еврейская улица. Направо магазины, дальше, налево, суд. Ничего не изменилось? Ничего. Так откуда же у меня ощущение недоразумения, плохого фарса? Да нет же, меня обманули: шофер хотел посмеяться и привез меня в чужой город, который мне не принадлежит. А может быть, надо мной решил посмеяться кто-то другой?

— Вы действительно уверены?

Он ухмыляется и клянется, но я ему не верю, я самому себе не верю. Лжет его голос, лгут мои глаза. Лжет городок. Он называется Сигет — ну, и что? Ничего: фальшивое имя, фальшивое удостоверение. Сигет, настоящий Сигет, находится далеко за горизонтом, где-то в Верхней Силезии, близ маленькой железнодорожной станции, называемой Биркенау, близ огромного пламени, пожирающего небо, он стал кварталом превращенного в пепел громадного города.

Шофер нервничает, мои галлюцинации его не интересуют, и я его отпускаю. Он благодарит и желает приятно провести время. И вот я один в городе, один в ночи. Я чувствую их связь. И говорю себе громко: мой город, моя ночь.

Поздно, люди спят. Я не смею вздохнуть. Стою на тротуаре, спиной к гостинице, с чемоданом в руке. Я пытаюсь раствориться в молчании городка, которое отрицает мое собственное молчание; пытаюсь слиться с бесчисленными тенями, которые спускаются с гор, чтобы заполнить, растоптать все, что открыто, и все, что закрыто, город, ночь, меня, хотя ради встречи со мной они и идут сюда. И память, особенно память, которая недостаточно открыта и недостаточно закрыта.

Я подстегивал себя: вспоминай. Ты вернулся, чтобы вспомнить, так вот, смотри и слушай. Площадь, вот эта самая, она ничего тебе не напоминает?

По дороге на вокзал евреи ее обошли. Жандармы, составившие маршрут, выполняли директиву некоего Адольфа Эйхмана, лично явившегося, чтобы наблюдать за проведением операции: только не появляться в центре города, чтобы не шокировать население, не смущать христиан с их чувствительными сердцами. Излишняя предосторожность: наши милые соседи сразу же ринулись в опустевшие дома; там хватало добычи на всех, на все потребности, на все вкусы.

Мародерам было удобно — полиция была занята в другом месте. По молчаливому соглашению богатые грабили богатые дома, бедные брали только у бедных. Не надо ничего преувеличивать, все-таки. Порядок есть порядок.

И вот я один, в самом центре, на площади, один, как победитель. Они не подозревали, что я вернусь. Победа над палачом, над судьей. Но почему же во мне пустота, почему я не способен ощутить хоть какую-то гордость? Слишком поздно для победы. И для гордости тоже.

Даже печали я не ощущаю, даже разочарования. Не так я представлял себе возвращение. А как же? Не могу сказать. Не так. Слово я и не возвратился.

Я вглядываюсь в фасады, расплывающиеся в темноте, в слепые окна, в крыши с высокими трубами. Я ищу точку опоры, зацепку. И не нахожу... Городок прячется от взгляда, как от света, он уклоняется, ступшевывается; встреча не состоится, один из двух не явился на свиданье. Улица говорит только об отсутствии, площадь — о разлуке. Это не тот городок.

Я ни в чем не уверен, я снова задаю вопросы. Что общего у меня с тем наивным и робким, романтически-религиозным мальчиком, которого изгнали отсюда двадцать лет назад?

Молчание. Такое же молчание стояло в день отправки во дворе большой синагоги, где было назначено место сбора. Военные жандармы были разъярены, они бегали взад и вперед, они орали, они били мужчин, женщин и детей, даже не для того, чтобы причинить боль, но просто чтобы заставить их нарушить молчание. Но было тихо. Ни крика, ни стопа. Старик, которому жандарм разбил голову, поднялся с блуждающими глазами. Женщина с окровавленным лицом не замедлила шаг. Городок никогда не видел такого молчания. Ни вдоха, ни жалобы. Даже дети не плакали. Полное молчание последнего действия. Евреи уходят со сцены. Навсегда.

О чем я думал, когда шел, вместе с толпой, к вокзалу, к запечатанным вагонам? Что молчание победит, что оно будет сильнее нас, сильнее их, что оно встанет по ту сторону речи и лжи? Что сила его почерпнута в первобытной борьбе, противопоставляющей жизнь отрицанию жизни, грубость — молитве? Не знаю, о чем я думал. Не знаю даже, я ли тот мальчик, который оставлял за спиной свое детство, свой дом, свою простодушную веру. Где-то по дороге, между синагогой и вокзалом, между вокзалом и неведомым, он был убит. Может быть, даже я сам его убил.

Время шло, близилась полночь. Что-то надо срочно предпринять. Я волнуюсь, я должен спешить. Я слишком тянул, я ничего еще не сделал, нельзя терять ни минуты. Делай же скорее! А что, собственно, **делать?** Не знаю. Хоть что-нибудь. Что-нибудь такое, что я **должен** сделать, что по масштабу соответствовало бы хоть возвращению, если не уходу. Разбудить мертвых, может быть. Или — поджечь город, присоединить его к отсутствующим, и пусть это будет триумф армии теней. Или попросту петь и хохотать на улице, на холоде, до самого утра, до истощения?

Сперва надо снять номер в гостинице и оставить там чемодан. Жалкий, облупленный вестибюль, лестница без перил, плохое освещение. И это знаменитая гостиница "Корона"? Глаза мои, глаза еврейского ребенка, видели в ней — ну, разумеется, снаружи, издали — дворец для сказочных иностранных принцев, важных чиновников, совершающих инспекционные поездки, офицеров генштаба, облеченных секретными полномочиями, американских миллионеров, приехавших навестить свои семьи. Это здание символизировало недоступную роскошь, славу, беспечность, свободу, разврат, царство запрещенного плода.

Теперь гостиница носит пышное название, составленное из основных слов коммунистического жаргона: народ, родина, рабочий класс, мир, социализм.

Пышное название прикрывает безликое, унылое, противное место. Ни роскоши, ни комфорта. Меня обманули, когда я был ребенком.

Портье сидит в стеклянной клетке на первом этаже, закутавшись в толстое одеяло, и явно скушает. Лицо у него помятое, без возраста и без выражения. Прошу комнату, все равно, какую. "У вас есть броня?" – "Нет". – "Жаль: без брони комнат не даем". – "Что, гостиница переполнена?" – "Почему переполнена? Вовсе нет..." – "Не понимаю..."

Портье объясняет: "Таков порядок".

Даю ему на чай, и с вопросом порядка покончено. Теперь мне полагается заполнить милицескую анкету: таков закон. Сигет город пограничный (за рекой Советская Россия), даже несколько часов здесь нельзя пробыть, не поставив в известность милицию. Портье записывает в толстую тетрадь имя, фамилию, профессию, семейное положение, место жительства. Я говорю: "Нью-Йорк". Он роняет перо, оглядывает меня: "Вы приехали из Нью-Йорка? В Сигет?" Я отвечаю: "Да, из Нью-Йорка в Сигет".

Его изумление возрастает, когда я диктую ему свое "место рождения". Он ничего не понимает во всей моей истории, да, впрочем, и я тоже. Что меня принесло в Сигет так поздно ночью, так поздно в жизни? Наконец, покоровшись судьбе, он дает мне комнату: "Если эта вам не понравится, выберите другую". Я прошу полотенце, он широко открывает глаза, не понимая: с чего бы он должен был давать мне полотенце? Решительно, мое поведение кажется ему подозрительным. "Не беспокойтесь, – говорю я, – я обойдусь и без полотенца; да у меня и времени нет умываться, я уже ухожу".

Убежденный, что я издеваюсь, он открывает рот, чтобы о чем-то спросить, но зачем мне его слушать, я уже сбегая по лестнице, на воздух, на безлюдную неосвещенную площадь. Ветер бьет меня по лицу, которое я ему подставляю. Дышу, глубоко дышу. А что же теперь? Абсурдный вопрос. Проблеск, раз-

рыв: домой, конечно же домой, к себе. Наконец-то домой. Возвращение блудного сына. Готовьте пир, вино и хлебы; зажгите свечи, накройте стол, откройте двери беднякам и нищим, бродячим душам, которых предали и оставили просто так, для счета. Пусть царствует радость, пусть песня рвется из груди, пусть мир соединяет живых и переживших. Любите друг друга, радуйтесь, это конец путешествия, это праздник встреч. Отец, иди сюда, подними бокал: ты будешь работать потом; мать, бросай кухню, мы поедем потом; и ты, сестренка, позови сюда своих мертвых подружек: вы будете играть потом. Вы, все вы, которые слышите меня, подождите, постоит около магазина, остановитесь у ворот, я иду, вы слышите, я иду!

Найдешь дорогу? Еще бы, даже если мои глаза не видят в темноте, не видят ничего, кроме темноты, меня приведут ноги. Их память крепче, чем память глаз, правда, они меньше страдали, они не видели облаков дыма, которые побеждают солнце, облаков, в которых целый народ тесными рядами поднимался все выше и выше.

Медленно, осторожно я иду вперед. А казарма пожарников, где же казарма пожарников? Она должна быть на углу главной улицы, а ее нет. Словно сбрили ее с земли, или земля ее поглотила. А где тут будочка, на углу, в начале Еврейской улицы? Старый Семель зимой и летом продавал тут фрукты. Нет будочки, нет фруктов, нет продавца. Дальше церковь: когда я был маленький, я отводил глаза, проходя мимо. Слава Богу, она стоит на месте. А дом, мой дом? Спокойствие. Еще несколько минут, и ты будешь знать. Ты увидишь его — или не увидишь. Я боюсь. Мне хочется вернуться обратно, бежать в неуверенность. Но поздно. Надо идти. Не бежать ни вперед ни назад: это уже ничему не поможет. Но ноги не слушаются меня, в эту ночь земля им враждебна, их тянет к небу. Я уже не бегу, я лечу, я ангел над крышами. Я бегу от ночи и несу

ее на плечах, городок бежит от меня и в конце концов я и его взваливаю на плечи, и вот мы летим, трубы, деревья, дома, облака, тюрьма и казарма — мы все летим к улетевшему городу, к похищенному дому, к тому, что было и чего не будет больше. И непобедимое желание охватывает меня — закричать во все горло: — Пусть провалится все на свете, и разорвется ночь, и земля, наконец, затрясется раз и навсегда! Я кричу, но ни звука не вырывается из груди. Кричу — и не слышу себя. Кричу — и почтенные обитатели мирного городка спят, как ни в чем не бывало. Они не боятся ни молчания ночи, ни молчания зари.

Как сумасшедший к своему безумию, стиснув зубы, я бегу, с отчаянием в душе, нарушая закон тяготения, да и всякий закон. Я знаю, что опоздаю, опоздаю к смерти, — но не только не замедляю шаг, а бегу еще быстрее. И, кажется, так я буду бежать до конца времен, сознавая, что делаю глупость, что поздно, что никто и ничто не ждет меня там, в низеньком сером доме на пересечении двух улиц. Если еще стоит этот дом, то будь он проклят: в нем живут посторонние.

Вот и он.

Внезапная остановка, грубое пробуждение; одного только я хочу: лечь на тротуар, отдохнуть, перевести дух, не бежать больше, не думать, не смотреть, не изображать призрак среди людей, человека среди людей. Но отдыхать не время и не место. Я смотрю и слушаю, как никогда в жизни не смотрел и не слушал. Неуловимые звуки, тайные скрипы, тени, — я все ловлю, обдумываю, присваиваю, я стану им гробом или резонатором, какая разница, это выяснится завтра, если будет завтра.

В эту минуту существует только улица, только дом, они опять принадлежат мне. Больше, чем прежде, лучше, чем когда бы то ни было. Мои стены, мои деревья, мои соседи, мои свидетели, мои убий-

цы, мои товарищи по школе, по играм, по борьбе, по агонии. Здесь, на этом клочке земли, я открыл смысл авантюра, ожог желания, власть обладания, здесь я все это утратил.

Долго я брожу, как вор, вокруг дома с опущенными занавесками и спрашиваю себя, не постучать ли просто в окно и разбудить жильцов:

— Впустите меня, я уйду завтра, если будет завтра.

Я знаю, что этого не сделаю, и испытываю чувство унижения. Потом я останавливаюсь у ворот и ожидаю чуда, все равно какого, все равно, как оно произойдет. Пальцы мои трогают ограду сада, фасад магазина, — может быть, они вернут мне потерянные предметы, расплывшиеся образы. Я чувствую себя уязвимым и непобедимым: могу сделать все, но мои действия не будут записаны ни во времени, ни в чужом сознании; могу вызвать прошлое, но не могу его воскресить: прошлое мертво, и я одинок. Чего бы только я ни отдал, чтобы услышать плач ребенка, колыбельную песенку матери — все равно какую, только бы хоть о чем-нибудь рассказывала эта колыбельная. Но мне было нечего дать, и ночь продолжалась и душила все голоса.

А между тем и здесь тоже ничего не изменилось. Дом напротив стоит как стоял: там жил Боршер ребе. Только нет больше света в его окнах. И дом рядом с нашим стоит как стоял: там жил Слотвинер ребе. Только молитвы не доносятся больше оттуда. Уехали, и тот и другой. Но улица осталась прежней, мир остался прежним, и, конечно же, Бог тоже остался прежним — только без евреев.

Я говорю себе, что должен открыть ворота, пересечь двор, подняться на крыльцо и войти в кухню. А вдруг кто-нибудь ждет меня там, у плиты, и не задаст ни одного вопроса, просто предложит сесть, даст стакан молока и кусок хлеба и скажет: "Ты прошел длинный путь, у тебя нет больше сил, постель готова, отдохни".

И я отвечаю себе: "Нет, только не это, не буди

того, кто спит в твоей постели, он не простит тебе, что ты вернулся живой. Кто знает, может, он не спит, может, он ждет тебя, подкарауливает, знает, что ты здесь; он уже двадцать лет подкарауливает твое возвращение. Лучше уходи, покинь город, покинь эту страну, нечего тебе здесь делать, не на что смотреть, нечего искать”.

Ночь длится, а я жду знака. Надо принимать решение, еще один раз, последний. Это будет последний шаг, но я не осмеливаюсь его сделать. Я пришел издалека, чтобы увидеть дом, двор, сад, колодец около погребка — а теперь, когда до них рукой подать, я не могу войти в ворота. Никогда двор этот не казался мне таким недостижимым. И смутно я уже знаю, что мой следующий шаг, каким бы он ни был, станет моим приговором.

Осторожно, осторожно я ласкаю железную ручку ворот, потом медленно ее поворачиваю и толкаю плечом створку, которая издает тихий знакомый скрежет. Внимание. Ничего. Стою как вкопанный и слушаю: никаких подозрительных звуков. Вперед. Я проскальзываю во двор и всей тяжестью наваливаюсь на закрывшиеся ворота. Ноги подкашиваются, все тело болит, я брежу; сердце колотится отчаянно, лицо горит, я все вижу и не вижу ничего. Двор, наш двор. Семь слоев тьмы не мешают мне видеть. Вещи выстояли все грозы, все события. Все на своем месте. Пустая бочка у входа в погреб, пустое ведро над колодцем, дерево, протянувшее иссохшие ветви к саду за стеной. Стул на крыльце перед кухней. Перед курятником большая миска с водой. Мой взгляд рыщет повсюду, чтобы все унести: отражение ночи в окнах, ропот ветра на крыше сарая, дыханье неподвижного призрака, который наблюдает меня и судит, понимает все и не понимает ничего. Осталось войти в кухню, оттуда в гостиную, потом в спальню.

Я этого не сделал, я не довел исследование до конца. Меня спасла собака. Она залаяла. Я ожидал

чего угодно, только не этого. У нас никогда не было собаки. Мы, еврейские дети, привыкли бояться этих свирепых друзей врага; все они были адовы исчадия и антисемиты.

И я испугался, как когда-то. Я открыл ворота, я выскочил на тротуар, я снова был изгнан. Изгнан собакой, истинной победительницей в этой войне. Я убежал, как когда-то. Я добежал до главной улицы, до площади; и так как у меня не было другого убежища, я рухнул на скамью и схватился за голову. Боль, бешенство, стыд, особенно стыд слепили мне глаза. Понимать больше было нечего.

Вскоре ночь рассеялась. Город открылся навстречу первым лучам, которые посылало ему хрупкое голубое небо. Новый день рождался на вершине горы.

Я пережил свое возвращение задолго перед тем. Я попробовал описать его в "Городе Удачи". И теперь реальность подтверждала вымысел. Не превзойдя и не низведя его. Ретроспективно роман становился былью. Там есть все, кроме ночных событий. Утро напомнило мне книгу, и книга стала моим гидом. При дневном свете городок показался мне точно таким, каким я его видел в воображении: голым, бесцветным, лишенным тайны.

Как и в романе, это было осеннее утро. Стояла хорошая погода. Желтое солнце продвигалось по небу. Желтые здания; желтые фасады; желтые листья; желтые, печальные, унылые мужчины и женщины шли на работу, на рынок, в церковь; желтые дети шли в школу.

Я смотрел на встречающих: не узнаю ли кого-нибудь? Друга? Врага? Соседа? Нет, никого я не узнал. Не знал я их, они не знали меня. Некоторые смотрели на меня не видя, думая о другом, некоторые видели не глядя, украдкой. Никто не подошел, не обернулся вслед. Ни удивленного движения, ни тайного участия. Ничего. Никто не выразил ни удовольствия, ни разо-

чарования; мое возвращение никого не трогало. Я выжил, никому нет до этого дела, кроме меня. В их глазах я был не личностью, пусть невидимой, не тенью, пусть мимолетной, а вещью, без веса и без прошлого. Если бы я обратился к ним, они бы и не повернулись; начини я кричать про скандал, про подделку, они бы даже ухом не повели. Слово я не существовал. Слово я никогда не существовал. Казалось, они играют в какую-то игру, в заговор, правило которого — равнодушие. На их лицах не было ни ненависти, ни злости, ни даже любопытства. Иностранец, каким был я, не имел места ни в их прошлом, ни в их памяти. И подумать только, что было время, когда они составляли часть моего мира, как и я — часть их мира.

Товарищи по школе? Друзья друзей? Клиенты отца? Кому из них мы доверили наши субботние подсвечники, зимние вещи, ценности? Вот идет с базара пожилая хозяйка: не госпожа Штарк ли, которая так любезно согласилась взять к себе нашу швейную машину и приданое старшей сестры? Вот чиновник энергичной походкой вышел из здания суда: не тот ли он мужественный адвокат, которому мы "продали" нашу недвижимость? Перед старой кондитерской, принадлежавшей семье Штайн, толстяк с квадратным лицом разговаривал с сыном: не Пишта ли это, который считал своим священным долгом в рождественскую неделю, переодевшись чертом, избивать кнутом своих товарищей-евреев за то, что они убили *его* Бога? Я увидел мужчину, жившего в моем доме, молодого инженера венгерского происхождения, с живым взглядом; это был честолобец, работяга, прекрасный отец семейства, партиец-энтузиаст. Я не сказал ему, кто я. Он ответил бы: весьма сожалею. Да нет. Ничего бы он не ответил. Он не вспомнил бы моего имени. Как и прочие.

Но я не сердился на них. В сущности, не сердился. Если бы я вернулся сразу после войны, я вел бы

себя иначе. Я потребовал бы правосудия. Я все бы сделал, чтобы были наказаны наши соседи, виновные в том, что они выгнали и обворовали нас, а потом отреклись. Но теперь, во всяком случае, уже слишком поздно. За отсутствием судей и обвиняемых процесс не состоится. Времена переменялись, роли распределены по-другому, уже ничего не узнать. В Сигете более чем где-либо я понял, что евреи проиграли войну. А если я и сердился на других, то просто потому, что они нас забыли.

Так быстро и так прочно.

Когда-то, в этом типичном *штетеле*, Израиль был царь. Никто не оспаривал его прав на это. Нельзя было представить себе Сигет без десяти тысяч евреев: они были в меньшинстве, но в них было столько жизни, столько задиристости, что они задавали тон повсюду и везде. Остальная часть населения — около пятнадцати тысяч — закрывала на это глаза.

Как и во всей центральной Европе, богатые евреи были богаче прочих, бедные — беднее. Еврейский стукач — я его знал: рыжий молчаливик с пронзительным взглядом — был более ненавистен и мерзок, чем его христианские коллеги. В святости и скупости, в хитрости и наивности, в добре и зле евреи вечно жили на пределе.

В тридцатые годы мой отец отказался от американской визы, сказав: "Зачем мне искать Америку в Америке, раз она существует здесь, на этом самом месте?"

В начале сороковых годов до нас стали доходить слухи о том, что происходит в Польше; они не вызвали большого беспокойства. Раввины говорили: "Ничего с нами не случится, потому что мы нужны Богу". Коммерсанты говорили: "Мы нужны стране". Врачи говорили: "Мы нужны городу". Все считали себя необходимыми, незаменимыми.

В 1943 году еще можно было раздобыть "сертификаты" в Палестину — никто не захотел. Нет,

один все-таки захотел. Прочие улыбались: зачем уезжать и начинать с нуля? Тут нам хорошо, люди настроены дружелюбно, они не смогут без нас обойтись и прекрасно это знают.

В Польше, на Украине, в Германии земля и небо пылали день и ночь напролет, в оккупированной Европе уже почти не осталось евреев, но наш мир казался нам неизменным. Ощущение опасности не проникло в наше сознание и не тревожило наши сны. В иешивах молодежь изучала Талмуд; в хедерах дети изучали Библию; в магазинах покупали, продавали, ссорились из-за клиентуры, из-за товаров. На Еврейской улице в свободные часы собирались группки людей и рассуждали о делах, о политике, о финансах, о стратегии, о хасидизме; если бы кто-нибудь осмелился тогда намекнуть, что близок день, когда город отделается от своих евреев, словно от какой-то зачумленной своры, его бы просто осмеяли.

За два месяца до декрета о гетто евреи думали, что их отсюда не исторгнуть. Их вера в будущее была почти бессознательной. Война? Переживем. Смерть? Переживем. Враги? Переживем. Учитель объяснял ученику: "Знаешь, что такое Вечность Господня? Это мы. Люди, которые пляшут на горящих углях, презирают все страдания, все кары — эти люди создают вечность для своего Создателя, преподносят Ему ее и ее оправдывают".

Потом наступила немецкая оккупация. Это было в начале 1944 года, незадолго перед Пасхой. Глухая тревога поселилась в жилищах, во взглядах людей. Лица потемнели. Антисемиты сразу сбросили маски, и число их росло на глазах. Антиеврейские меры следовали одна за другой: конфискация имущества, желтые звезды, гетто. Но евреи не хотели отказываться от веры в будущее: "Пройдет, только перетерпеть и не отчаиваться".

Песах, праздник Освобождения, отметили в ожи-

дании события, которого никто не мог, да и не хотел предвидеть.

Вечность кончилась через месяц.

А жизнь продолжается. Как ни в чем не бывало. В городке опять двадцать пять тысяч жителей. Они живут нормально, более или менее спокойно, более или менее приятно. Без еврейских врачей, без еврейских коммерсантов, без еврейских сапожников. Без них обошлись, никакой нехватки не ощущается. Пустота заполнилась, по-видимому, без всякого труда. Во всех квартирах живут, школы полны, магазины присвоило государство. Еврейская община состоит из пятидесяти семейств, в большинстве своем — уроженцев окружающих деревень.

Говорят даже о прогрессе. Городок гордится несколькими новостройками: начальная школа, кооператив, текстильная фабрика. Еще одно доказательство того, что шагать в ногу с Историей можно без евреев.

Если бы я был туристом, мне пришлось бы восхищаться достижениями нового режима и статистическими данными, вывешенными на всех стенах. Но я не был туристом. Еще сильнее, чем ночью, я сознавал, что я — нежелательный иностранец, пробравшийся в их мрачный, подозрительный город, не имеющий ни собственного лица, ни собственной жизни. Как изгнанник, как человек со стороны, я искал свое прошлое и не находил его. Почему так тихо перед синагогой Талмуд-Тора? И перед синагогой Махзикей-Тора? И перед Вижницер штибел? Я ходил по заброшенным синагогам, где были свалены в кучу покрытые пылью священные книги. Самой старинной, самой большой синагоги не существовало больше: ее, отступая, разрушили немцы. На ее месте поставили мемориальный камень.

Я не верил себе, я искал в этих неизменившихся и обезличенных зданиях Калмана-каббалиста, Мошесумасшедшего, Шмуклера-царевича, Лейзера-толстя-

ка; искал своих союзников, своих идолов, тех, кто был для меня живой загадкой. Никого, исчезли бесследно. Я бродил по сумрачным переулкам и по полям над рекой; но взгляд мой не встретил и не принес мне ничего. Заколдованный, иссохший, иссякший город. "Луч смерти" прошелся здесь и пощадил только камни.

Я останавливался перед домом своей бабушки, ожидая, что она позовет меня, улыбнется, подарит что-нибудь. И перед лавкой моего дяди, ученого талмудиста и неудачливого коммерсанта, ожидая, что сейчас он выйдет и задаст мне какой-нибудь вопрос по Библии. И перед жилищем моего учителя, ожидая, что он подзовет меня знаком и расскажет, как Бог, в неизреченном Своем милосердии, дарует немногим избранным право умереть во славу Его имени. Мне хотелось сделать или сказать что-нибудь, но нечего было делать, и нечего сказать. Тысяча жизней, один конец.

Пустынна теперь Еврейская улица, когда-то такая оживленная, такая шумная. Она переменила имя. Теперь она называется "улица Депортированных". Кто кого депортировал? Куда, почему? Никто об этом не спрашивает. Прошлое похоронено. Надо жить. А главное — забыть. Я встретил своего учителя по начальной школе: мое имя ничего ему не сказало. Я разговаривал с соседкой, которая заходила к нам каждый день: она меня не вспомнила. Когда-нибудь добрейший обыватель посмотрит с удивлением на название этой торговой улицы и скажет, совершенно невинно: "Улица Депортированных? По-моему, это были евреи". Он скажет это неуверенно. Он уже и сейчас в этом не уверен. Он одержим забвением. Евреи, депортированные из Сигета, были не из Сигета. Может, из другого городка, с другой планеты. Если бы они вернулись, их бы изгнали снова.

Разве не всегда так было? Без сомнения, всегда, но я был слишком мал, чтобы это понимать. Коренное население изначально считало, что евреи рож-

даются иностранцами, а не становятся ими. Понадобилась война, чтобы это подтвердить.

Теперь эти мирные жители пошли еще дальше. Для них я даже не иностранец, которого лишили детства, даже не призрак. Для них я просто не существую. Они все забыли? Нет. Они производят впечатление людей, которым нечего было забывать. Никогда не было евреев в Сигете, бывшем главном городе прославленного района Марамурес.

Евреи были изгнаны не только из города, но и из времени.

В одном только месте я почувствовал себя дома: на кладбище. Я никогда раньше там не бывал. Детям не разрешалось туда ходить. Почему? Просто так. Вырастешь — поймешь. Горе ухода, тайна того света. Ограда всегда приковывала мое воображение. Я воображал себе мертвых, которые беседуют с Богом, или между собой, я прижимался к стене, прислушивался; но всегда кто-нибудь отсылал меня домой или в школу. Теперь путь свободен. Нет никого, кто сказал бы мне, что можно и чего нельзя. Ворота открыты, барьера нет, охраны нет. Я вырос.

Это единственное место в Сигете, которое напоминает мне Сигет, которое осталось от Сигета. За его стенами я был на враждебной земле. Если бы я упал на глазах у толпы, никто не оказал бы мне помощи. Здесь же я чувствовал себя в безопасности, в лоне большой семьи, готовой принять и защитить меня.

Может быть потому, что мертвым повезло. Они остались на месте и не претерпели никаких унижений. Их оставили в покое. С миром. У себя. И я пришел к ним не для того, чтобы попрощаться, но чтобы поручить им городок, его еврейское прошлое.

Я бродил среди могил. Я купил свечи и ставил их везде, где встречал имя, отдававшееся в моей душе. Ветер гасил их, как только я отворачивался.

Когда-то сюда приходили отовсюду, особенно в дни между Рош-ха-Шана и Иом-Киппур. Люди ложились на могилы цаддигов и просили их умолить Бога, чтобы Он перестал разить свой народ, слишком много раз избранный для слишком больших страданий. Тщетные мольбы и тщетные слезы. Ни заступничества, ни моления не дали ничего. Бог заткнул уши.

Под конец я остановился перед памятником, воздвигнутым в память поколения людей, умерших без погребения. Это каменная наклонная плита, на которой начертано несколько слов. Могила без погребенных. Надгробный камень вместо множества могил, множества погребенных. Я зажег последнюю свечу. К моему удивлению, она вспыхнула сразу. Ее пламя рванулось ввысь, ввысь, словно должно было подняться к седьмому небу, и дальше, к десятой сфере, и дальше, к самому небесному трону, все дальше, все выше.

Старый еврей появился откуда-то и стал со мной рядом. Не поздоровавшись, не обратившись ко мне, он вынул из кармана *сидур* и затянул погребальную песню: *Эль мале рахамим шохен ба-мромим*. Кто он? Кто послал его? Как он узнал, что я тут? Мы были одни, и я даже не знаю, заметил ли он мое присутствие. В какую-то минуту голос его сорвался. Я закрыл глаза. Мне стыдно было смотреть на него, стыдно было плакать или не плакать.

Последняя свеча горела долго. Иногда я говорю себе, что она все еще горит.

Другого еврея я встретил около сефардской синагоги, куда несколько десятков верующих еще приходят по субботам и на праздники.

Одного вида этого бородатого человека в хасидской одежде было достаточно, чтобы меня растрогать. Он принадлежал к другому миру, к давно миновавшей эпохе. Морщинистое, сияющее добротой лицо, взгляд, излучающий тепло и печаль, чуть ше-

велящиеся, искусанные губы. Словом, еврей прежнего времени, еврей, которого не изменили никакие потрясения. Я обратился к нему на идише, он изумился, пожал мне руку и долго удерживал ее в своей. Невыразимая, невыраженная радость. *Шолом алейхем, алейхем шолом*: мир с вами, товарищ. Мы одного поля ягоды. Простые вопросы, простые ответы. Нет, он родом не из Сигета. Нет, он не знал моего отца. Что он делает в этом городе? Обслуживает живых. Раввин? Нет. Служка? Нет. Преподает детям священный язык? Тоже нет. Да тут и нет детей, которые этим бы интересовались. "Я — *шойхет*", — сказал он, ритуальный резник. Невероятно, но факт: в Сигете и в окружающих деревнях некоторые евреи едят только кашерную пищу. Их немного. Десяток тут, десяток там. Пять в Борше, в горах; три в Стремтере, в Драгмересте тоже три. Из-за них он и решил остаться. Жену и детей он отправил за границу, а сам уедет к ним только тогда, когда здесь уже никому не будут нужны его услуги. Он не считает себя вправе уехать до тех пор, пока может помогать евреям оставаться евреями.

— Не решился уехать, — сказал он, улыбаясь. — Не мог же я вдруг оставить еврейскую общину без *шойхета*.

Он не знал, какую боль причиняют мне его слова. Пятьдесят семей — община! Подумать только, что когда-то эта община была неисчерпаемым родником жизни, богатства и мудрости...

Не знаю, правдива ли легенда о тридцати шести праведниках, не знаю, насчитывает ли наш век тридцать шесть *ламед-вавников*. Знаю только, что этот резник — один из них.

Через двадцать четыре часа после моего приезда в городок мне уже не терпелось его покинуть. Рассвет и сумерки: этого достаточно. Я уже раскаивался. Не следовало мне возвращаться, не следовало искать

развязки для истории, которая никакой развязки не имеет. Из четырех мудрецов, проникших в виноградник, о которых рассказывает Талмуд, только одному удалось уйти невредимым; но и он больше не осмелился туда вернуться.

Машина меня ожидала, шофер был в нетерпении.

— Поехали отсюда?

Да, поехали. Я сделал знак, что готов. От усталости, что ли, мне было трудно поднять чемодан, положить его на переднее сиденье, пролезть на свое место позади. Каждое движение требовало мучительного усилия. Какая-то часть меня хотела остаться.

— Поехали?

Да, мы уезжаем. Он включил зажигание, машина тронулась.

— Не так быстро, — сказал я тихонько.

Я хотел увидеть побольше. Вот девочка цепляется за руку матери. Парочка о чем-то спорит перед витриной. Полицейский стоит на посту перед зданием суда. Прохожие, которые не видели, что я приехал, и не видят, что я уезжаю.

Да, я уезжаю. И на этот раз навсегда. Возвращение невозможно. Вот главная улица, кино, кондитерская, гостиница, женский лицей. И последний упрек себе: я приехал сделать что-то, но и сейчас не знаю, что. Последний взгляд в сторону моей улицы: колокольня, новое здание школы и дальше, на пересечении двух улиц — дом, мой дом. Слезы льются сами собой. Страшная уверенность: я больше его не увижу.

Давно уже Сигет потонул за горизонтом, а голова моя все еще была повернута к нему. Потом я понял, что больше ничего ему не должен. Разрыв. Это окончательный разрыв.

Потому что городок, когда-то бывший моим, не существовал никогда.

НАША ОБЩАЯ ВИНА

Процесс Эйхмана в Иерусалиме был "историческим", поскольку там судили не только человека за его преступления и падение, и даже не систему, а попытались осветить и понять целую эпоху, где царили слепые воли и их осуществления и которая поэтому ускользает от человеческого понимания.

Как все-таки оказался "возможен" феномен Эйхмана?

Через двадцать лет после войны мы все еще блуждаем в потемках. Как признать столь тотальную победу зверя над человеком, притом на уровне целой нации? Как понять двойную метаморфозу двух народов, превращение одного в убийцу, а другого — в покорную и безмолвную жертву? На каком-то уровне вопросы "почему" и "как" смыкаются, сливаются.

Надеялись, что процесс даст ответ на эти вопросы. И ошиблись. Однажды я спросил американского писателя Альфреда Казина, имела ли, по его мнению, какой-то смысл смерть шести миллионов евреев. Он ответил: "Я надеюсь, что нет". Возможно ли вообще найти четкий правдивый ответ? Но процесс должен был бы, по крайней мере, сформулировать вопрос, найти вневременное выражение вопля, который в нем содержится.

Потому что осудить Эйхмана было недостаточно, да и невозможно. Размеры, абсурдность его деяний переводили его в другое измерение, выбрасывали

из времени, уводили за пределы человеческих законов: только один диалог был бы возможен — между ним и мертвыми. Если порой весь этот процесс казался нереальным, то лишь потому, что главные действующие лица, и прежде всего обвиняемый, чувствовали себя в своих ролях непринужденно, слишком непринужденно: словно это был обычный процесс, где человеческое существо стоит перед судом ему подобных. Эйхман говорил очень много, не стесняясь, не сдерживаясь; он приводил цифры, цитировал документы, он защищался с остервенением; благодаря ему судебные словопрения зачастую звучали фальшиво; да полно, в этом ли дело, не его ведь — или не только его — здесь судят, это судят Историю. Эйхман, индивидуум и символ одновременно, подлежал юридическим законам в той же мере, в какой и законам психиатрии и метафизики.

Те, кто недоволен процессом, упрекают его именно в недостаточной масштабности. Сноп света не проник далеко, не раскрыл широких горизонтов. Слишком усердно старались судьи оставаться в рамках законности. И вместо того, чтобы стать отправной точкой, обвиняемый превратился в единственный центр. В этом плане уравнение было составлено неправильно. Юридически получается, что если Эйхманы виновны, значит, прочие невинны. А вывод должен был бы быть другой: если виновны Эйхманы, значит виновны и другие.

Мы все, в разной степени, должны принять ответственность за то, что произошло в Европе. Так говорят Курцио Малапарте и даже Карл Ясперс. Мы принадлежим к погибшему и виновному поколению. Каждая совесть отягощена унижением. Приписать вину, всю вину, одному Эйхману слишком легко. Это значит уйти от проблемы. В том, что он виновен, не сомневался никто, все были в этом убеждены с самого начала. Чтобы доказать это не нужно было организовывать процесс. Если важно было провести этот процесс — а я утверждаю, что это было важно, —

то потому, что, воскрешая прошлое, он доказывал: преступление может вырваться из своих рамок и сделать так, что виновность залетит и тех, кто стоит в стороне. Без этого урока процесс, каким бы показательным он ни был, окажется если не бесполезным, то во всяком случае неполным.

Конечно же, будущие историки обнаружат в процессе Эйхмана большие лакуны и продолжат исследование дальше. Против наших ожиданий, обвинение отказалось выйти за узкие границы "дела Эйхмана". Участие человечества — нацифицированного или нет — в программе уничтожения было упомянуто только попутно.

Между тем, без помощи или молчаливого одобрения украинцев, словаков, поляков, венгров немцы никогда не смогли бы разрешить "еврейский вопрос" так окончательно и так быстро. Словаки платили деньги за каждого еврея, которого немцы депортировали из страны; венгры нажимали на Эйхмана — которому не откажешь в рвении — чтобы была ускорена депортация; украинцы и литовцы в жестокости превзошли немцев. Что касается поляков... Не случайно самые страшные лагеря смерти были созданы у них, в Польше, а не где-нибудь в другом месте.

Всюду, где местное население противилось депортации своих еврейских сограждан — это установленный, неоспоримый факт — "продуктивность" была низкая, не удовлетворявшая нацистов. Это признал и подчеркнул сам Эйхман в своей исповеди, которую он продиктовал в Буэнос-Айресе голландскому журналисту Вильгельму Сассену. В Дании почти все евреи были спасены. Во Франции, в Бельгии, в Голландии, где на антиеврейские мероприятия реагировали плохо, представители Эйхмана не преуспели в выполнении своей задачи, вызвав этим горькое разочарование в Берлине. Но там, где само население стремилось стать *юденрайн* — чистым от евреев — там телячьи вагоны со своим человеческим

грузом беспрепятственно катились в ночь. И эти истины не нашли в Иерусалиме заслуженного резонанса.

Точно так же обвинение недостаточно осветило поведение свободного мира, который, пораженный странной пассивностью, смотрел на происходящее и не вмешивался. Если бы такие люди, как Рузвельт, Черчилль или папа римский подняли бы голос, разве число жертв достигло бы шести миллионов?

Тот факт, что немцы принимали столько предосторожностей, чтобы скрыть свои преступления, доказывает, что они считались с мировым общественным мнением. В уже упоминавшейся исповеди Эйхман не без иронии отмечает, что даже если бы ему удалось, через Иоэля Бранда, продать миллион евреев, ни одна страна их бы не купила. Равнодушие так называемого цивилизованного мира развязало немцам руки. Все целомудренно закрывали глаза.

С 1942 года и Вашингтон, и Лондон — и даже Иерусалим — были в курсе дела. Гитлер и Геббельс это знали. Они ожидали лавины протестов и угроз. В конце концов они поняли: Запад предоставляет им свободу действий.

Переписка между проф. Хаимом Вейцманом и Министерством Иностранных дел Великобритании, представленная в Иерусалимский Трибунал, трогательна в своей простоте: сионистский лидер умоляет правительство Его величества дать Королевскому Воздушному флоту приказ бомбить железнодорожные пути, ведущие в Освенцим. Ответ был получен отрицательный. Известно, что такую же просьбу Рузвельту направил лидер американского еврейства, имевший доступ в Белый дом. Но и великий Ф.Д.Р. не дал ей никакого хода.

Не странно ли — ограничимся здесь этим словом, — что возмущение охватило свободный мир только потом, когда было уже слишком поздно, когда уже не оставалось евреев, которых нужно было спасать?

И наконец, чтобы ничего не отнимать у историче-

ской правды, прокурор должен был бы продлить свою обвинительную речь и вскрыть горький и печальный, но тем не менее неопровержимый факт: сами евреи не сделали того, что могли бы сделать; они должны были и могли сделать больше. Американское еврейство почти не реагировало, оно не использовало своего политического и финансового влияния, не перевернуло небо и землю, как следовало бы. Да, я знаю: у него были свои причины, свои оправдания; ничего они не стоят. Нет оправдания и объяснения пассивности, когда надо остановить ежедневное убийство пяти, десяти тысяч человек. Сколько было демонстраций в Мэдисон Сквер Гарден? Сколько — перед Белым домом? Об этом говорит — и с какой горечью! — Бен Гехт в своей книге "Дитя века". Кровь леденеет при чтении.

В Палестине, где всегда находилось сердце, совесть еврейского народа, положение было такое же. До самого конца 1944 года там так и не нашли способа дать знать обо всем — и помочь, если нужно, — большим еврейским общинам, которые уже подстерегала смерть. Когда в Будапешт прибыло несколько парашютистов (а результат этого нам известен по процессу Каствнера), им нечего было делать: половина Европы уже была очищена от евреев. Почему людей, в форме или без формы, не послали раньше? Нам скажут, что была война. Ну и что? Молодые пальмаховцы все пошли бы добровольцами. Из сотни избранных десять добрались бы до места назначения; ну, не десять, ну, пять; они могли бы организовать сопротивление, бегство, спасение.

История венгерских евреев, в частности трансильванских, — это один из самых волнующих эпизодов войны. Их массовая депортация произошла в мае-июне 1944 года, за несколько дней до высадки в Нормандии. На Освенцимском вокзале они еще не знали, какая судьба их ожидает. Даже страшное название "Освенцим" ничего им не говорило. Они не

знали, что это такое. А если бы знали? Скольких можно было бы спасти? Не всех, конечно, но большинство. Красная Армия была за тридцать — пятьдесят километров; ночью хорошо была слышна артиллерия. Вокруг были горы; там можно было спрятаться, переждать — ведь до прихода освободителей оставались часы! Но им, этим набожным трансильванским евреям, говорили, что им нечего бояться, что их перевезут в глубь страны. И они поверили. Повторяю: это было в лето Господне 1944, когда каждый ребенок в Бруклине, Уайт-Чеппеле и Тель-Авиве знал, что Треблинка и Биркенау — не просто маленькие провинциальные вокзалы.

Но когда Иоэль Бранд домогается срочной встречи, чтобы сообщить о своей вдвойне трагической миссии, Хаим Вейцман просит передать ему, что он слишком занят и откладывает встречу на несколько недель. А ведь в своем письме Бранд ясно написал, что важен каждый час, что каждый день уносит десять тысяч еврейских жизней. Как мог Бранд не сойти с ума — навсегда останется для меня загадкой; непонятно, каким образом человеческая воля, приговоренная на вечную муку, может пережить это.

Поведение Вейцмана только иллюстрирует настроенные всей страны, и потому это так важно. Люди вели себя с каким-то ошеломляющим, непостижимым равнодушием, так, словно то, что происходит "там", их не касалось. Подсознательно они твердили себе: а кто виноват? Могли бы приехать сюда; надо было брать с нас пример; не хватило смелости, идеализма — тем хуже для них.

Ицхак Грюнбаум, возглавлявший комиссию, которой было поручено спасение, рассказывает в своих мемуарах: он и его коллеги спрашивали себя, имеют ли они право использовать для спасения европейских евреев деньги, предназначенные для строительства Палестины. И позиция его была четко отрицательной. Сперва Эрец-Исраэль и только потом галут. Построить дом, завод, школу было важнее всего.

Молодой израильский поэт Хаим Гури в один прекрасный день вздумал порыться в старых тель-авивских газетах 1943—1944 годов. Он был потрясен. "Ничего не понимаю! — сказал он мне. — Знал бы ты, какие проблемы нас интересовали тогда! Муниципальные выборы в Хадере — первая страница. И где-то в уголке внутренней страницы несколько строчек: немцы начали уничтожение евреев в Люблинском — или Лодзинском — гетто".

Виноват в этом не народ, а его руководители. Они не оказались на высоте. Странно, но они проявили полное отсутствие инициативы, политической зрелости и отваги. Совсем недавно Нахум Гольдман признался в этом на заседании Исполнительного комитета Всемирного еврейского конгресса в Женеве. Крупные еврейские организации не нашли в себе сил прекратить внутренние междоусобицы ради того, чтобы достичь единства действий. Руководители американского еврейства бойкотировали "Чрезвычайный Комитет спасения еврейского народа" во все время его существования. На то, конечно, тоже были свои причины: никакого союза с неортодоксальными евреями как Бен Гехт или Питер Бергсон! Никакого сотрудничества с таким-то или с таким-то! А ведь они могли бы создать собственный Комитет спасения, в котором были бы представлены все партии, все организации. Но не создали.

И по всем этим причинам мы должны сказать следующее: для того, чтобы поднять процесс на настоящий моральный уровень — то есть на уровень абсолютной правды — господин Гидеон Хаузнер (или сам Давид Бен-Гурион, в качестве свидетеля) должен был бы склонить голову и вскричать так, чтобы его услышали три поколения: "Прежде чем судить других, мы должны признать собственные ошибки и собственные слабости. Мы не испробовали невозможное, и даже возможное мы не исчерпали до конца".

Когда нацистский режим водворился в Германии,

человечество увидело то, что Мартин Бубер называет Божьим затмением. Словно на них пало проклятье, люди, сильные и слабые, разумные и трусливые, обнаружили, что они виновны, что они связаны со Злом, хотя бы потому, что живут в это историческое время. Все их поступки были загрязнены. Великие умы дремали, тончайшие чувства притупились, могучие голоса замолчали. Общая апатия создала подходящий климат для преступников, которые получили возможность действовать спокойно и деловито, не смущаясь и не стыдясь.

Когда Германия капитулировала, свободный мир испустил крик ужаса, и этот крик заглушил все разговоры о совести. "Это не я!" – вот ключевая фраза того времени, особенно на территории бывшего третьего рейха. В других местах достаточно было пролить слезинку и заявить, что "мы были не причем".

Карл Ясперс, задавший себе вопрос о "виновности немцев", заранее сделал вывод, что виновны все. В результате он успокоил немало страхов и ободрил немало людей в оккупированной Германии. Этому философу явно не хватает скромности. Заставить весь ненацистский мир разделить вину с нацистами – это было задачей нью-йоркских или стокгольмских мыслителей, это было даже их долгом. И верно, немало уроков следовало преподать миру. Но не немецкому профессору братья за преподавание.

В Западной Европе реакция ощущалась главным образом в области литературы. Сартр, Камю и Габриэль Марсель подхватили у Мальро тему действия и свершения. Основная мысль: все происходящее вокруг касается нас непосредственно. Но вопрос был поставлен недостаточно глубоко. Герой современного романа, занятый тем, чтобы сформулировать свой протест, не слишком заботится о нюансах. Он хорош или плох, "*резистант*" или "*коллабо*", или, наконец, равнодушный. Линии предна-

чертаны, противные лагеря определены. Тот, кто взрывал поезда, мог спать сном праведника, все прочие входили в категорию подлецов. Элемент виновности не играл важной роли в том завтра, которое европейская молодежь клялась выстроить на развалинах. Кроме как в живописи, искусство почти не имело внутренних связей с событиями, которыми оно должно бы было вдохновляться. Новая философия не была создана, новая религия не была провозглашена; земля дрожала, но человек остался таким же, как был.

Говорят, что однажды Андре Жид рассказал анти-семитскую историю. Один из учеников спросил его, краснея: "Значит, и вы тоже, мэтр?" Жид расплакался: "Я не знал, что я тоже!" Это было перед войной. Потом Жид не плакал. Он уже не считал себя виновным, потому что больше не упражнял на евреях свое остроумие.

По странной иронии судьбы, только уцелевшие, только возвратившиеся с того света, сознавали — сознают — свою ответственность. Тут нет никакого янсенизма, первородный грех их не тревожил. Их ответственность конкретнее и страшнее. Она стала частью их существа.

Почему вы не восстали? Почему вы не сопротивлялись? Вас было десять тысяч против десяти, против одного; почему вы позволили вести себя на убой, как скот?

В первые дни процесса Эйхмана генеральный прокурор Гидеон Хаузнер, желавший, для пользы молодых израильтян, осветить темные области разыгравшейся трагедии, терзал свидетелей вопросами такого рода. Они неизменно отвечали:

— Вы не можете понять; тот, кто там не был, не способен понять.

Бруно Беттельгейм и Виктор Френкель, известные психиатры, там были. В своих книгах, посвященных психологии концлагерей, они попытались дать объяснение. Согласие жертв казалось им не менее загадоч-

ным, чем жестокость палача. Они приписывают это распаду личности или пробуждению в "я" тенденции к смерти; но это только частичное объяснение. Здесь не хватает "почему", не хватает метафизического аспекта. Не хватает элемента виновности, той виновности, которая пропитала сознание узников.

Это чувство имеет прежде всего религиозное происхождение. Раз я здесь, значит, меня наказал Бог: я грешил, я расплачиваюсь; если я подвергнут такой каре, значит, я ее заслужил. Бунт против Бога приходит позже. Сначала узник приносит свою свободу в жертву свободе Господа. Он скорее признаёт себя виновным, чем сделает вывод, что его Бог — это Бог Иова, для Которого человек — только пример, только средство иллюстрировать свой тезис в словесной дуэли с Сатаной.

Каждый день, удалявший его от свободы, делал чувство виновности все более острым, все более осознанным. К тому же он тем самым следовал линии поведения, начертанной для него тюремщиками в лагерях и в гетто, умело, на научной основе доведившими до последнего предела чувство стыда и унижения, которое человеческое существо естественно испытывает перед мертвыми.

Я живу, значит, я виновен; если я еще здесь, то только потому, что друг, товарищ, незнакомец умер вместо меня. В закрытом сосуде эта уверенность приобретает разрушительную силу, действие которой можно предвидеть. Если жить означает принять или породить несправедливость, то смерть очень скоро становится обетованием и освобождением.

Система *лебеншайн* в гетто и *селекцион* в лагерях имела целью не только периодически уничтожить десятую часть населения, но еще и внушить каждому: это мог бы быть я, я — причина, а может быть, — и условие смерти другого.

И потому *лебеншайны* представляли собой моральную пытку, тюрьму без исхода. Самое волнующее свидетельство, которое я слышал на про-

цессе Эйхмана, исходило от бывшего врача из Вильно. Он тогда только что женился и раздобыл себе "сертификат на жизнь"; он работал на немецком заводе и мог спасти кого-нибудь из членов своей семьи. Он пришел к своей матери и спросил ее: "Что делать, кого спасать? Тебя или жену?". Когда человека вынуждают сделать подобный выбор, когда он становится живым орудием судьбы, то отныне он уже обречен жить в удушливом адском кругу; врач уже никогда не мог подумать о себе без гнева и отвращения. Если Эрнст Леви, незабываемый герой Шварц-Барта, в конце концов решает сесть в поезд на Освенцим, то делает он это не из любви и не из жалости, а из убеждения, что человечество взойшло на такую ступень зла, что никто больше не может продолжать жить и оставаться праведным.

Низведенный до обыкновенного номера, человек в концлагере утрачивал свою личность, свою индивидуальную судьбу. Он попал в лагерь единственно потому, что принадлежал к забытому и обреченному коллективу. Не то записано, что "я" буду жить или погибну, а то, что кто-то — сегодня — погибнет или будет продолжать мучиться. С точки зрения общего, нет никакой разницы, я ли это буду, или другой. Важно количество, квота. И потому заключенный, которого обошла смерть, особенно в период селекций, не мог удержаться от первого рефлекса: радости. Через мгновение, через неделю, через вечность эта радость, полная скрытых опасений, превращается в виновность. Чувство спасения равно признанию — я радуюсь тому, что вместо меня ушел другой. И для того-то, чтобы не думать об этом, заключенным удавалось, с помощью механизма самозащиты, забывать так скоро своих товарищей — своих родных — попавших в селекцию. Чтобы не видеть полных упрека взглядов, которые в последний раз бросали им уходившие.

Почему евреи в лагерях не избрали почетную смерть, с ножом в руках, со словами ненависти на

устах? Доктор Бруно Беттельхейм законно задает себе этот вопрос. Не говоря о технических и психологических причинах, делавших невозможной всякую попытку восстания (люди знали, что принесены в жертву, вычеркнуты из человечества, забыты), для того, чтобы ответить, надо понять моральный аспект вопроса. Осознав висевшее над ними проклятье, евреи пришли к мысли, что они уже недостойны почетных дел и не способны на них. Умереть в борьбе означало для них предать тех, кто пошел на смерть покорно и в молчании. Единственным способом примириться с ними было пойти их путем и умереть их смертью.

Вспомним еще один случай, о котором тоже говорилось на суде в Иерусалиме. Голой, раненой женщине удалось выбраться из ямы, в которой лежали расстрелянные из пулемета евреи ее городка; вскоре она вернулась обратно, чтобы присоединиться к фантазмагорическому коллективу трупов. Чудесно спасенная, она отказывалась жить, ибо жизнь в ее глазах стала нечиста.

Психиатры подолгу обследовали Эйхмана и до и после процесса. Еще не известно, что именно они открыли. Следовало бы освидетельствовать и его жертвы, которые остались в живых. Но выжившие только молчат в ответ, и свое подавляющее молчанье они вынесли "оттуда". Они не желают открываться. Другие люди не знают, что лагерники боятся собственного голоса. Их трагедия — это трагедия Иова до того, как он покорился: они думают, что виноваты, хоть это на самом деле и не так. Только судья мог бы снять с них бремя, но, по их мнению, ни у кого нет ни власти, ни сил это сделать: ни у людей, ни у богов. И потому, в этом приговоренном к смерти мире, они предпочли, вместо того, чтобы бросить вызов людям и гневно призвать Историю к ответу, просто молчать, продолжать монолог, который только мертвые достойны услышать. Чувство виновности не выдумали в Освенциме, его там только исказили.

XIII

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ МЕРТВЫХ

Мне было только пятнадцать лет, когда впервые я, пораженный, присутствовал при странном споре о благородстве и смерти и о возможной связи между ними.

Люди, умершие, но еще не знавшие этого, спорили скорее о необходимости, чем о возможности, встретить смерть достойно.

Реальность некоторых слов ускользала от меня, весомость этой реальности тоже. Люди вокруг меня разговаривали, а я ничего не понимал.

Теперь мне на двадцать лет больше, и мне знакомы все тропинки, ведущие на кладбище. Спор продолжается. Только участники теперь другие. Спорившие двадцать лет назад умерли, и теперь они знают. А я понимаю еще меньше.

Я высадился на нереальной земле. Было около полуночи. Впоследствии я узнал, что палач — это романтик, который любит эффектные мизансцены; тьма для него — подходящая декорация, ночь — союзник.

Где-то завывала собака, ей ответила другая, потом третья. Значит, мы в царстве собак. Какая-то женщина тут же сошла с ума; она стала издавать крики, в которых не было ничего человеческого, они скорее напоминали лай; вероятно, она сама хотела стать собакой. Выстрел положил конец ее галлюцинациям; на нас опять навалилась тишина. Вдали снопы красного и желтого огня из огромных заводских труб

рвались к безлунному небу, словно хотели это небо поджечь. За четверть часа перед тем — может быть, и меньше — наш поезд остановился на маленькой пригородной станции. Прилипшие к окошкам люди читали вслух: Аушвиц*. Кто-то спросил:

— Мы приехали?

Другой ответил:

— Кажется, да.

— Аушвиц. Вы знаете такое место?

— Понятия не имею.

Это название не вызывало никаких воспоминаний, не было связано ни с каким страхом. Мы, невежественные в вопросах географии, полагали, что это какой-то мирный городок в Силезии. Мы еще не знали, что он уже вошел в историю многомиллионного мертвого еврейского населения. Мы узнали это через минуту, когда с грохотом отворились двери вагонов и целая армия старых заключенных стала кричать:

— Конечная остановка! Всем выходить!

Как добросовестные гиды, они расписали нам сюрпризы, ожидающие нас:

— Аушвиц знаете? Нет? Тем хуже. Ничего, узнаете, скоро все узнаете.

Они усмехались:

— Аушвиц. Вы не знаете? В самом деле? Тем хуже. Здесь вас кое-кто ожидает. Кто? Смерть. Она вас ждет. Только вас и ждет. Вон она, смотрите.

Они показывали на огни вдали.

Впоследствии, много лет спустя, я спросил своего друга:

— Какое первое впечатление было у тебя от Освенцима?

Он мрачно ответил:

— Зрелище пугающей красоты.

Я же не увидел ничего пугающего и никакой красоты. Мне было пятнадцать лет, и я просто от-

* Аушвиц — немецкое название Освенцима.

казывался верить своим глазам и ушам. Я говорил себе: эти наши гиды просто смеются над нами, чтобы напугать, они забавляются; ведь мы живем в двадцатом веке, евреев уже не сжигают, сейчас не средние века, цивилизованный мир этого бы не позволил. Отец шел слева от меня, опустив голову. Я спросил его:

— Средние века миновали, не правда ли, отец, средние века давно миновали?

Он ничего не ответил. Я спросил:

— Я сплю, отец, правда же, я сплю?

Он ничего не ответил.

А мы продолжали идти к неизвестности. Тут-то и начался тихий, еле слышный лихорадочный спор. Несколько молодых ребят, выйдя из оцепенения, хватаясь за свой гнев, как за последнюю соломинку, стали призывать к восстанию. Без оружия? Да, без оружия. Ногти, кулаки, несколько перочинных ножичков, припрятанных в одежде, — этого будет достаточно. Но ведь это верная смерть? Да, ну и что? Терять нечего, а выиграть можно все, главное — честь, вот что осталось, честь. Умереть свободными, вот чего они хотели, молодые ребята, покорность — это признание поражения.

Но их отцы возражали. Они продолжали грезить наяву. И ждать. Они вспоминали Талмуд: "Бог может вмешаться даже в самую последнюю минуту, когда кажется, что все пропало. Нельзя терять ни веры, ни надежды".

Спор охватил все ряды. Я спросил отца:

— Что ты думаешь?

И на этот раз он мне ответил:

— Думать сейчас бесполезно.

Человеческое стадо шагало вперед, мы не знали, куда нас ведут. Нет, простите: уже знали, наши гиды нам это сказали. Но мы делали вид, что не знаем. А спор продолжался. Молодые были за, старшие — против. И молодые в конце концов уступили, надо

было повиноваться родителям, в Библии так написано, надо было уважать их волю.

И восстания не произошло.

Теперь повсюду стараются ответить на вопрос, поставленный непонятным, даже загадочным поведением евреев в Европе концлагерей. Почему они шли в ночь, как скот на бойню? Этот вопрос, важный, если не главный, ибо он относится к вне-временной человеческой правде, стал мучить добро-совестных людей, которые вдруг ощутили потребность чтобы их поскорее успокоили, чтобы им назвали виновных и четко определили их преступления, чтобы для них извлекли смысл из истории, которую они пережили через посредство других. И вот всех этих евреев, все миллионы, которые так называемое цивилизованное общество бросило в отчаянии и агонии и погрузило сперва в молчанье, а потом в забвенье, — всех их теперь вытаскивают на поверхность, чтобы утопить в словесном потоке. И так как в наше время болтовня царствует самодержавно, мертвые не возражают. Им навязывают роль привидений и их бомбят вопросами: "Так как же это было? Что вы чувствовали, когда в Минске, в Киеве, в Коломые земля раскрывалась на ваших глазах и поглощала ваших сыновей и ваши молитвы? Что вы подумали, когда увидели, как кровь — ваша кровь — брызнула из глубин земли до самого солнца? Рассказывайте, говорите, мы хотим знать, мы хотим страдать вместе с вами, у нас есть еще несколько слезинок в запасе, они причиняют боль, нам хотелось бы от них освободиться".

Доходишь до того, что жалеешь о добром старом времени, когда эта тема принадлежала еще к области священных воспоминаний и считалась табу, достоинством посвященных, которые касались ее только с целомудренным страхом, опустив глаза, дрожа от уничтожения, сознавая свою незначительность, признавая границы между сказанными и несказанными словами.

Теперь же, во имя объективной мысли и исторического исследования, этой темой, без всякого стеснения, занимается кто угодно. Теперь эта тема, доступная всем уровням развития, всем умам, ищущим стимула, стала модной. А почему бы нет? Она пришла на смену Брехту, Кафке и коммунизму, обсопанным до того, что уже ничего не осталось. Среди интеллектуалов и тех, кто себя таковыми считает, в Нью-Йорке, да, наверное, и в других городах, ни один светский вечер не считается удавшимся, если там не обсуждался Освенцим: ищут правдоподобия, а не правды, которая кроется не в словах, а за их пределами. Это великолепное средство разогнать скуку и разжечь страсти. Назовите несколько опубликованных недавно работ, посвященных этой проблеме, — и вот уже все умы пробудились, и какие блестящие, какие дерзкие умы! Психиатры, драматурги, романисты — у каждого есть по этому поводу свои мысли, все видят все совершенно ясно, каждый готов ответить вам на все вопросы, объяснить все тайны: и холодную жестокость палачей, и крик, душивший его жертву, и даже судьбу, которая их соединила, чтобы разыграть свои роли на одной сцене, на одном кладбище. Просто, как дважды два. Как голод, жажда и ненависть. Достаточно разбираться в истории, социологии, политике, психологии, экономике (выбирайте сами, дамы и господа!), достаточно уметь считать. И признать простейшую истину, что везде и всюду $A + B = C$. Если мертвые умерли, если столько их умерло, значит, они желали собственной смерти, значит, их туда притягивал и толкал их собственный инстинкт. Независимо от различия всех излагаемых теорий, причем изложение ведется совершенно безапелляционно, что само по себе может вызвать только гнев, — все приходят к единогласному заключению, что жертвы, принявшие условия игры палачей, разделяют, на разных уровнях, ответственность с ними.

Это даже может поразить новизной. До сих пор

евреи отвечали за все, происходившее под солнцем: за смерть Иисуса, за братоубийственные войны, за голод, безработицу, революции; они воплощали зло; теперь они уже отвечают за свою собственную смерть, воплощают эту смерть. Как видите, еврейский вопрос продолжает оставаться "ничьей землей", где кто угодно может свободно говорить что угодно и как угодно, причем в этой игре все ставки выигрывают. Проигрывают только мертвые, но это одно из правил игры.

И в этой игре — потому что это именно игра — очень легко винить мертвых, обвинять их в слабости или в сообщничестве — в конкретном или метафизическом смысле слова. Так вот, я утверждаю, что в этой игре есть унижительная сторона. Говорить от имени исчезнувших и сказать: вот по каким мотивам они так действовали, вот какие причины расслабили их волю — говорить так от их имени и значит их унижать. Утверждаю, что мертвые заслуживают иного, чем это посмертное унижение. Я никогда прежде не понимал до конца, почему, по еврейской религии, прикасаться к трупам нечисто, теперь я начинаю это понимать.

Так оставьте же их в покое. Не выкапывайте их, умерших без погребения. Оставьте их там, где им следовало бы остаться навсегда, и такими, какими им следовало бы оставаться: незаживающей раной, неизлечимой болью в самых глубинах вашего существа. Радуйтесь, что они не проснутся, не сойдут на землю, чтобы судить живых. В тот день, когда они начнут рассказывать о том, что они видели и слышали и что для них важно, вы не будете знать, куда деться, вы заткнете уши, так велик будет ваш страх и так пронзителен стыд.

Понимаю, что люди хотят вскрыть историю, понимаю острое желание осадить со всех сторон прошлое и силы, которые в нем господствовали, нет ничего естественнее. Для человека нашего поколения нет проблем важнее, чем Освенцим и Хиросима —

я говорю о Хиросиме завтрашнего дня. Будущее нас страшит, прошлое наполняет стыдом, и оба эти чувства, как и оба факта, связаны между собой как причина и следствие. Освенцим породил Хиросиму, и если человечество погибнет от атомной бомбы, это будет кара за Освенцим, где под пеплом погасло все, что обещало человечество.

Она была права, беспокойная жена Лота, когда хотела оглянуться назад, не боясь, что унесет в своем взгляде ожог сгоревших упований. "Знай, откуда ты пришел", говорили мудрецы Израиля. Но все зависит от внутренней позиции того, кто оборачивается к прошлому: если это просто интеллектуальное любопытство, то вид, открывшийся ему, превратит его в салонную статую. К несчастью, статуй в наше время хватает, хуже того, — они говорят так, словно стоят на горних высотах.

И вот, я читаю и слушаю всех этих важных ученых и профессоров, прочитавших все книги и знакомых со всеми теориями; они хвалятся эрудицией и способностью вникнуть во все и объяснить все путем простой классификации.

Иногда, особенно на рассвете, когда я пробуждаюсь от крика, который услышал в первую ночь за проволокой, мне хочется сказать всем этим знаменитым писателям, которые воображают, что дошли до конца:

— Восхищаюсь вами, потому что на этом пути я все время спотыкаюсь; восхищаюсь вами, потому что вы утверждаете, что знаете все, тогда как я не знаю ничего. Что поделаешь, я неспособен расшифровать — ибо это было бы богохульством — испуганную улыбку того ребенка, которого вырвали у матери, чтобы превратить его в живой факел; я не могу — и никогда не смогу — уловить тень, которая легла в эту минуту на глаза матери. Вам, наверное, это удалось. Вам повезло, я должен был бы вам позавидовать, но не завидую. Лучше я стану на

сторону ребенка и матери, которые умерли, так и не узнав формул и фразеологии, лежащих в основе вашей науки.

И я предпочитаю оставаться на стороне Иова, избравшего вопросы, а не ответы, молчание, а не речь. Иов так никогда и не понял своей трагедии, которая, в конце концов, была трагедией индивидуума, преданного Богом. Когда тебя предают тебе подобные, это еще страшнее. Однако молчание этого одинокого и побежденного человека длилось три дня и три ночи, и только потом, когда он отождествил себя со своим страданием, он подумал, что получил право вопрошать Бога. Перед лицом Иова наше молчание должно было бы длиться все предстоящие века. И вы осмеливаетесь говорить от имени вашего знания? Осмеливаетесь сказать: я знаю? Вот как и вот почему жертвы были жертвами и палачи палачами? Осмеливаетесь объяснять агонию и страх, самоотречение ради веры и самую веру шести миллионов, каждого из которых зовут Иов? Кто же вы, чтобы их судить?

Мой друг, мужчина во цвете лет, просидел ночь над записями рассказов о Катастрофе только одного Варшавского гетто; наутро он посмотрел в зеркало и увидел там незнакомца: его волосы поседели. Другой потерял не молодость — он потерял рассудок. Он погрузился в прошлое и остался там по сей день. Иногда я навещаю его в больнице, мы смотрим друг на друга и молчим. Однажды он очнулся и сказал:

— Может быть, надо было бы научиться плакать.

Я должен был бы завидовать ученым и мыслителям, похваляющимся тем, что они поняли трагедию всего народа; я же не могу объяснить себе даже трагедию одного из сынов этого народа, любого, какого ни возьмешь.

Я ничего не имею против вопросов, которые они ставят: это ценные вопросы. Более того, только они и ценны. Отвернуться от них — значит изменить

своему долгу, потерять единственный шанс на то, что когда-нибудь мы сможем жить настоящей жизнью. Я восстаю против их ответов, все равно, на чем бы они ни основывались. Я утверждаю, что никаких ответов нет. Может быть, в каждой из их диссертаций содержится частица правды, но все они вместе остаются ниже и вне того, что было правдой в эпоху ночи. События того времени не подчинялись никаким законам и никакие законы оттуда не проистекают. Материя, которую теперь изучают, состоит из смерти и тайны, она ускользает из рук, она несется быстрее, чем наше понимание, она везде и нигде. Ответы только усложняют вопрос: мысли и слова в конце концов должны натолкнуться на стену, которая выше неба, на нескончаемую стену человеческих тел.

Двадцать лет я бьюсь над этими же вопросами. Ничего нет легче, чем найти то или другое решение: человеческий язык может поправить все, что угодно. Общее между всеми этими решениями то, что они не имеют никакого отношения к вопросам. Не могу я поверить, что целое поколение отцов и сыновей сгнуло в пропасти, не создав этим тайны, которая превосходит и поработает нас. Я все еще не могу понять, что произошло, и почему, и как. Все слова философов и психологов не стоят молчаливых слез ребенка и матери, которые пережили смерть дважды. Что делать? В моих подсчетах всякое сложение кончается одной цифрой: шесть миллионов.

Несколько месяцев назад, в Иерусалиме, я случайно встретился с одним из трех судей, судивших Эйхмана. Употребляя выражение, которое так любит Камю, этот мудрый, прозорливый и непримиримый человек не только личность, но и действующее лицо. К тому же — это совесть.

Он отказывался обсуждать технический или легальный аспект процесса. Когда он сказал, что эта

сторона дела его не интересует, я поставил перед ним такой вопрос:

— Поскольку вы выполняли на этом процессе такие функции, вы должны знать о размерах еврейской Катастрофы больше, чем кто бы то ни было из живых, больше даже, чем те, кто ее помнит, потому что пережил во плоти. Вы изучили все документы, прочли все секретные донесения, допросили всех свидетелей. Ответьте мне: понимаете ли вы этот маленький кусочек прошлого, эти несколько страниц Истории?

Он чуть заметно вздрогнул и тихим, бесконечно смиренным голосом признался:

— Нет, совершенно не понимаю. Я знаю факты и события, которые были их рамкой, знаю, как развивалась трагедия, минута за минутой, но это знание какое-то внешнее, оно не имеет ничего общего с пониманием. Есть во всем этом что-то, что навсегда останется тайной, какая-то запретная область, непостижимая для разума. К счастью. Иначе...

Он запнулся. Робкая, немного грустная улыбка появилась на его лице. Он прибавил:

— Кто знает, может быть, это дар, которым Бог, в минуту милосердия, наградил человека, не позволив ему все понимать. Таким образом Он спасает его от безумия или самоубийства.

Редко бывает, чтобы люди, не пережившие огненных ночей "там", находили верный тон, когда о них говорят, этот судья — исключение.

В действительности Освенцим означает не только провал двухтысячелетней христианской цивилизации, но и поражение человеческого ума, который стремится найти в истории Смысл (с большой буквы!). Так вот, в той истории, которая нашла воплощение в Освенциме, никакого Смысла нет. Палач убивал ни за что, жертва умирала ни за что. Никакой Бог не приказывал одному разжечь костры, а другому на них взойти. В средние века евреи, избравшие смерть, были убеждены, что своей жертвой они

прославляют и освящают Его Имя. В Освенциме жертвы не имели ни цели, ни веры, ни Божественного духа. Если имеет смысл страдание одного человека, страдание шести миллионов его не имеет. У чисел свое значение, свое величие: по словам Петра Равича, они доказывают, что Бог сошел с ума.

Я присутствовал на процессе Эйхмана, я слышал, как генеральный прокурор старался заставить свидетелей заговорить, вынуждал их открыться, заглянуть в самые тайные уголки своего существа: почему вы не сопротивлялись? Почему не набросились на ваших убийц, которых ведь было меньше, чем вас?

Бледные, стесняющиеся, неловко себя чувствующие лагерники отвечали одинаково:

— Вы не можете понять. Кто не был "там", не может себе представить.

Так вот, я там был. И по-прежнему не понимаю. Не понимаю того ребенка в Варшавском гетто, который писал в дневнике: "Я голоден, я мерзну; когда я вырасту большой, я хочу стать немцем, и тогда я не буду голоден и не буду мерзнуть".

По-прежнему не понимаю, почему я не кинулся на капо, который избивал моего отца у меня на глазах. В Галиции евреи сами копали себе могилы, сами и без всякой паники становились рядами на край ямы, ожидая, когда затрещат пулеметы. И ту женщину я не понимаю, ту мать, где-то в польском бункере: товарищи задушили ее младенца, чтобы он не выдал их своим плачем; эта женщина, эта мать, пережив такие страшные, библейской силы, минуты, не сошла с ума. Я ее не понимаю: почему, по какому праву, во имя чего она не сошла с ума?

Не знаю почему, но я запрещаю вам спрашивать. Мир молчал, когда евреев убивали массами, когда их превращали в топливо; пусть он, хоть из приличия, помолчит и теперь. Его вопросы немного запоздали, их следовало бы обратить к палачу. Теперь они вас мучают? Не дают спать спокойно? Тем лучше. Вы хотите все узнать и понять для того, чтобы перевернуть

страницу, не так ли? Чтобы иметь возможность сказать себе: с этим делом покончено, все пришло в порядок. Не ждите, что мертвые придут вам на помощь. Их молчание переживет их.

У вас есть вопросы? Вот и хорошо. Вы не хотите задавать их палачу — который живет в счастье и довольстве, если и не в славе, у себя в Германии — ладно, задавайте их другим, тем, кто утверждает, что не участвовал в игре, тем, которые благодаря своей пассивности стали сообщниками. Их "незнание" их не извиняет, это было добровольное незнание.

В Лондоне и Вашингтоне, в Базеле и Стокгольме высшие чиновники знали про каждый эшелон, увозивший человеческий груз в мир пепла и тумана; в 1942—1943 годах у них уже были все фотографии, — но они были "засекречены", и их публикация была запрещена.

Ни один голос не поднялся, чтобы сказать палачу, что близок день, когда его за это покарают, ни один не поднялся, чтобы утешить его жертвы. Никто не сказал им, что кара неизбежна и что царство ночи — только временное.

В конце концов Эйхман, скорее всего, был просто маленький человек; их было полно в гитлеровской Германии, и все они старались, чтобы машина уничтожения работала хорошо и эффективно. Большие люди, маленькие люди — все они знали, что по одному пункту — политике нацистов в отношении евреев — им после поражения не придется отвечать: судьба евреев никого не интересовала. Да, когда-нибудь придется вернуть оккупированные территории, заплатить победителям контрибуцию, это все нормально. Но еврейский вопрос не будет играть роли. Союзники плевать хотели на то, что эсэсовцы проделывают со своими евреями. Стало быть, эйхманы могли действовать безнаказанно. Только так можно понять, почему Генрих Гиммлер, главный хозяин

лагерей смерти, мог вообразить в конце войны, что он может договориться с западными союзниками о сепаратном мире. Мысль о том, что он, руководивший успешным истреблением еврейского населения, не вполне подходит для роли мирного посредника, ему и в голову не приходила. И когда Эйхман с деланной иронией заявил, что ни одна страна не была заинтересована в спасении евреев, он говорил правду. Эйхман лгал, когда говорил о собственной роли, но не тогда, когда говорил о роли противников или нейтральных государств.

В самом деле, немцы, известные отнюдь не импульсивностью, а скорее маниакальной осторожностью, развивали антиеврейскую политику постепенно, шаг за шагом, делая передышку после каждого мероприятия, после каждого нанесенного удара, чтобы увидеть, какова будет реакция. Между этапами всегда бывала передышка: между Нюрнбергскими законами и Хрустальной ночью, между экспроприациями и депортацией, между угонами в гетто и массовой ликвидацией. После каждой очередной подлости немцы ожидали взрыва страстей в свободном мире; очень скоро они увидели, что ошиблись: им никто не мешал. Разумеется, там и сям раздавались возмущенные речи, печатались негодующие статьи, но на этом все и кончалось. Из этого Берлин делал свои выводы. Там говорили себе: раз нам дают зеленый свет, будем спокойно продолжать. К тому же они совершенно искренно были убеждены, что когда-нибудь другие народы будут им благодарны за то, что они проделали вместо них эту работу. Почти все крупные нацисты в своих писаниях выражали эту мысль, и во всех их речах она встречается тоже. Они убивали евреев ради блага всего мира, не только одной Германии. Право же, не следует обвинять Германию в том, что она будто бы думала только о себе.

Я утверждаю, что если бы свободный мир предпринял энергичные действия и занял бы недвусмыслен-

ную позицию без всяких уверток, он заставил бы немцев отступить или, по крайней мере, сократить свои масштабные замыслы. Вполне можно представить себе, что для Берлина отсутствие таких действий означало молчаливое невысказанное согласие союзных держав. Достаточно просмотреть газеты того времени, чтобы почувствовать отвращение ко всей истории человечества на земле: концентрационные лагеря, несмотря на все их ужасы и на их огромную разветвленность, занимали в этих газетах меньше места, чем дорожные происшествия.

Ошибочно было бы думать, что заключенные не знали о таком положении дел. И так как они знали, что покинуты, исторгнуты, отринуты остальным человечеством, то их высокомерное, хоть и смиренное шествие к смерти — это трезвый акт протеста, а не приятие и слабость.

Я уже рассказывал, почему люди из нашего эшелона не подняли восстания в ночь своего прибытия. Я могу добавить к этому, что молодые ребята говорили и о том, что необходимо взбудоражить внешний мир. Наивные люди, они все еще думали, что немцы делают свою работу исподтишка, как воры, что союзники ничего не знают, потому что если бы они знали, то избиение тотчас же бы прекратилось. "Мы будем бороться, — говорили они. — Мы нарушим тишину, и мир узнает, что Аушвиц — это реальность". Никогда не забуду старика, который спокойным, страшно спокойным голосом ответил им: "Вы молоды и смелы, дети, вы еще учитесь. Мир все знает, его не нужно информировать. Он все знал раньше чем вы, но ему на это плевать, он ни минуты не потеряет на то, чтобы подумать о нашей судьбе. Ваше восстание не пробудит никакого отклика и не будет иметь никакого резонанса". Старик говорил без горечи, он просто констатировал факт. Это был польский еврей; два года назад он видел, как истребили его семью. Не знаю, каким образом ему удалось спастись, перейти нелегально две границы и

добраться в качестве беженца до нашего городка. "Сохраняйте силы, — говорил он нашим ребятам. — Не тратьте их понапрасну". Но они не хотели уступить, они отвечали ему: "Даже если вы правы, даже если то, что вы говорите, — правда, это ничего не меняет. Мы проявим достоинство и мужество, мы докажем убийцам и всему миру тоже, что евреи умеют умирать как свободные люди, а не согнувшись, как больные". — "Это недурной урок, — доносился до меня голос старика, — только они его не заслуживают".

И тут все подняли головы и, шепча Каддиш, пошли вперед, чуть ли не как завоеватели, к воротам смерти, где эlegantный врач, доктор Йозеф Менгеле — белые перчатки, монокль и прочее — вершил священный ритуал селекции.

Я не стыжусь сказать, что старик был прав. Если бы евреи могли думать, что во внешнем мире у них есть союзники, люди, которые не отвернулись, они, может быть, действовали бы по-другому. Но евреями интересовались только и единственно немцы. Другие предпочитали не смотреть, не слышать, не знать. Одиночество евреев в когтях зверя не имеет прецедента в Истории. Оно было тотальным. Смерть сторожила все выходы.

Это было хуже, чем в средние века. Когда евреев изгнали из Испании, их приняла Голландия. Когда в одной стране их преследовали, другая их приглашала, и они опять набирались мужества. Но в гитлеровскую эру заговор против них казался всемирным. Англичане закрыли перед ними ворота Палестины, Швейцария принимала только богачей — а позже детей, — у бедных же и у взрослых было отнято право на жизнь и их оттеснили во мрак. "Даже если бы я мог продать миллион евреев, кто бы их купил?" — не без сарказма спрашивал Эйхман, вспоминая венгерскую историю. "Что нам делать с миллионом евреев?" — спрашивал почтенный лорд Мойн, британский посол в Каире. Слово все

страны — не одна только Германия — сговорились видеть в еврее недочеловека, какое-то чуждое, лишнее существо: его исчезновение не идет в счет и не будет отягощать совесть. К этому существу неприложимы понятия о братстве людей, его смерть нас не уменьшит, мы себя с ним не отождествляем. Стало быть, можно, не нарушая законов духа, проделать с ним что угодно, можно отнять у него свободу и радость, не предавая человеческих идеалов. Я нередко спрашивал себя, как бы реагировал мир, если бы нацистская машина перемалывала в день не двадцать тысяч евреев, а двадцать тысяч христиан. Но я признаю, что об этом лучше не думать.

Если я так долго останавливаюсь на виновности мира, то это вовсе не для того, чтобы уменьшить виновность немцев или "объяснить" поведение их жертв. Я останавливаюсь на этой виновности потому, что существует тенденция о ней забыть.

Тот факт, например, что весной лета Господня 1944 мы в Трансильвании ничего не знали о том, что происходит в Германии, доказывает именно виновность мира. Мы слушали иностранное радио, слушали передачи из Лондона и передачи из Москвы; никто не предостерег нас, чтобы мы не грузились в эшелоны, никто не открыл существования, не произнес названия "Освенцим". Помнится, в 1943 году моя мать, прочтя в венгерской газете три строчки о восстании в Варшавском гетто, заметила: "Но зачем они это сделали? Почему они не ждали спокойно конца войны?" Если бы мы знали, что происходит, мы могли бы бежать, спрятаться; русский фронт проходил в тридцати километрах. Но нас держали в неведении.

Хоть это и может не понравиться, я все-таки должен подчеркнуть, что жертвы больше и глубже страдали от равнодушия свидетелей, чем от жестокости палачей. Жестокость врага не могла бы сломить узников, их поражала в самое сердце более

подлая, более утонченная жестокость — молчанье тех, кого они считали своими друзьями.

Рассчитывать больше не на кого: даже в лагерях уничтожения это стало очевидным. Отныне мы будем жить в пустыне, в пустоте; мы вычеркнуты из Истории. И это убеждение отравляло желание жить. Если таков мир, в котором мы родились, то к чему за него цепляться? Если таково человеческое общество, откуда мы вышли — выданные им, — то к чему желать в него вернуться?

В Освенциме умер не только человек, в Освенциме умерла самая идея человека. Жить в мире, где ничего не осталось, где палач действует как бог, как судья — многие больше этого не хотели. Потому что в Освенциме Мир сжег собственное сердце.

Пусть не поймут мои слова неправильно. Я говорю без ненависти, пожалуй, даже без горечи. Если порой мне не удастся сдержать гнева, то дело лишь в том, что, по-моему, все это вообще непристойно, даже оскорбительно: до чего же мы дошли, если приходится держать речь в защиту мертвых, чтобы их оставили в покое. Ведь именно в этом дело: их не оставляют в покое, их выкапывают, чтобы пригвоздить к позорному столбу. Вопросы, которые им задают, — упреки. На них сердятся, на этих мертвецов: зачем они себя так вели? Им следовало играть по-другому, хотя бы ради того, чтобы успокоить живых: пусть бы те могли по-прежнему верить в величие человека. Я преувеличиваю? Возможно, но не слишком. Вы не любите этих мужчин и женщин, для которых небо стало братской могилой. Вы говорите о них без жалости, без сострадания, без любви. Вы жонглируете этими тысячами умираний, вы занимаетесь интеллектуальной акробатикой, но сердце ваше в этом не участвует. Более того: вы их презираете. Для удобства, а также для удовлетворения вашей мании все определить и расклассифицировать, вы отмечаете некоторые различия: между

немцами и "юденратами", между капо и полицейскими в гетто, между безымянными жертвами и теми, кто получал отсрочку на неделю или на месяц. Вы судите их, вы выдаете им справки о хорошем или дурном поведении. Какие-то из них вам более противны, какие-то — менее; вы ставите себя по ту сторону барьера и вам сразу же становится ясна мера виновности каждого. И все вместе они вызывают у вас скорее отвращение, чем гнев.

И в этом-то я вас и упрекаю: в вашей непомерной гордыне, из-за которой вы хотите все знать. Вы хотите иметь право выносить суждение о событиях, которые, напротив, должны были бы доказать вам, что мы, люди, бедны и мечтания наши сухи и бесплодны, если не залиты кровью.

Я защищаю мертвых и не говорю, что они были невинны, не в этом мое намерение и цель. Я просто говорю, что не признаю за собой права их судить, а объявить их невинными значит произнести суждение. Я видел, как они умирали, и если испытываю потребность говорить о вине, то всегда говорю о своей. Я видел, как они уходили, а я оставался, и очень часто я не могу себе этого простить.

Разумеется, я видел в лагерях людей сломленных, слабых, жестоких. Не боюсь признаться, что я их ненавидел, они внушали мне страх, казались — и были для меня — опаснее, чем немцы. Да, я знал капо, которые были садистами; да, я видел евреев, которые били своих братьев, и дикий огонь сверкал в их глазах. Но, хоть они и играли на руку палачам, погибли они как жертвы. Когда я об этом думаю, я еще удивляюсь, что нашлось так мало погибших душ, так мало отравленных сердец в этом царстве ночи, где все дышало ненавистью, презрением и отвращением к себе. Что случилось бы со мной, если бы я провел в лагерях пять лет, или семь, или двенадцать? Мне стыдно, но я не знаю. Вот уже почти двадцать лет, как я пытаюсь ответить на это, и порой, после бессонной ночи, я страшусь ответа. Вы же

не страшитесь. Вопросы, которые вы обсуждаете, словно это математическая задача или научная проблема, не внушают вам страха. И в этом я вас упрекаю тоже.

После того, как кошмар закончился, я стал рыться в прошлом, пленником которого, без сомнения, останусь навсегда. Мне страшно, но я продолжаю. Чем дальше я продвигаюсь, тем меньше понимаю. Может быть, и понимать нечего.

Но чем дальше я продвигаюсь, тем больше узнаю о размахе того предательства, в котором мир живых был виновен перед умирающими. Иногда я хватаюсь за голову и говорю себе: да это просто безумие, вот оно, единственно возможное объяснение. Когда такое количество людей доводит равнодушие до такой крайности, оно становится болезненным, оно похоже на сумасшествие.

Как же иначе объяснить Рузвельтов, Черчиллей, Эйзенхауэров, которые никогда не выразили негодования? Как объяснить молчание папы? Как объяснить провал попыток, которые делались в Лондоне и Вашингтоне, попыток добиться от союзников, чтобы они бомбили с воздуха фабрики смерти, или, по крайней мере, железнодорожные пути, ведущие к ним?

Героем одного из самых печальных эпизодов этой войны, в которой таких эпизодов было немало, был представитель польских евреев в Лондоне: в знак протеста против бездействия союзников и ради того, чтобы всполошить общественное мнение, Артур Цигельбаум, член "Национального комитета свободной Польши" среди бела дня выстрелил себе в голову перед входом в Палату общин. В своем завещании он выразил надежду, что его протест будет услышан.

Его скоро забыли, его смерть оказалась бесполезной. Если он рассчитывал растрогать добровольно ослепших своим отказом жить среди них, то он ошибся. Мертвый Цигельбаум, живой Цигель-

баум — для каменных сердец это было все равно. Для них это был просто польский еврей, говоривший о евреях, переживавший их агонию; мог бы погибнуть и там, вместе с другими. Он умер ни за что, этот Артур Цигельбаум. Жизнь продолжалась, война тоже: война против стран Оси, которые тем временем продолжали свою войну против евреев. Мир заткнул себе уши и потупил глаза. Иногда газеты печатали несколько строчек: ликвидировано Лодзинское гетто; количество убитых в Европе евреев превосходит два миллиона, три миллиона. Эти сообщения печатались так, словно дело шло о нормальных происшествиях, без комментариев, без сердечного содрогания: по-видимому, казалось вполне нормальным, что евреи дают нацистам себя убивать. Никогда еще еврейский народ не был более одинок.

И чем больше я раскапываю, тем больше теряю надежду. Я уже боюсь открывать этот ящик Пандоры, каждый раз оттуда поднимается еще один виновный. Так что же, он не имеет дна, этот проклятый ящик? Да, он не имеет дна.

Повторяю, мои слова лишены ненависти. Ненависть — не решение. Слишком много стрел пришлось бы выпустить. Венгры преследовали евреев более страстно, чем немцы, румыны — более дико, словаки, поляки, украинцы — те охотились за евреями исподтишка, словно с какой-то любовью. Может быть, мне следовало бы их ненавидеть, это бы меня вылечило. Но что делать, я на это не способен. Если ненависть — решение, то спасшиеся должны были бы поджечь весь мир в тот день, когда вышли из лагерей.

Мне теперь говорят: не надо на нас сердиться, мы не знали, мы не верили, мы ничего не могли сделать. Если этих оправданий достаточно, чтобы успокоить их совесть, тем хуже для них. Я могу ответить, что они не желали знать, отказывались верить, могли бы повлиять на свои правительства,

чтобы нарушить заговор молчания. Но это положило бы начало спору. Для этого, во всяком случае, слишком поздно: время споров прошло.

Я скажу так: вас удивляет, что евреи не предпочли сопротивление? Не предпочли умереть как солдаты, отчаянно борясь за победу своего дела? Но какую победу, и какого дела?

Открою вам тайну, одну из тысячи, почему евреи не сопротивлялись: да для того, чтобы покарать вас, чтобы подготовить для вас месть замедленного действия. Не заслуживаете вы их жертвы. Если в каждом городе, в каждой деревне Украины и Галиции, Венгрии и Чехословакии бесконечные ночные процессии евреев уходили в вечность, словно неся в себе чистую радость, предшествование экстаза, то это для того, чтобы вы поняли последнюю правду тех, кого приносят в жертву за пределами Истории. Вот она, эта правда: вы, которые остались в живых такой ценой, не заслуживаете ни спасения, ни искупления; вы не заслуживаете даже того урока спокойного достоинства и высокомерного мужества, который мы все-таки даем вам по-своему, уходя на смерть и глядя ей прямо в лицо, высоко подняв голову, радуясь, что есть в нас эта сила, эта гордость.

В заключение я хотел бы попросить вас не о том, чтобы вы сделали усилие и постарались понять; нет, лучше опустите глаза и не старайтесь понять. Всякое рациональное объяснение будет еще более эзотеричным, чем мистическое. Не понимать мертвых — значит заплатить им старинный долг; это единственный способ попросить у них прощенья.

На столе, перед моими глазами, стоит фотография, сделанная немецким офицером, любителем сувениров. На ней снят отец, который за минуту до расстрела спокойно беседует с сыном, указывая ему на небо. Порой мне кажется, что я слышу его задумчивый голос: "Видишь, сын мой, мы сейчас

умрем, а небо прекрасно: не забудь, что между тем и другим есть связь". Или же: "Мы сейчас умрем, сын мой, а между тем это безоблачное небо не обрушивается на мир: ты слышишь тишину? Слушай ее, ее нельзя забывать". Мне иногда приходит на ум, что если бы я задал ему вопрос, все равно какой, этот отец мне бы ответил. Но я вглядываюсь в то, что от него осталось, и молчу.

Молчу и тогда, когда перед моими глазами возникает образ варшавского раввина: прямой, негибачаемый, непобедимый, он стоял перед компанией эссовцев; те забавлялись, унижая и мучая его; он мучился, но не давал себя унижить. Один из них, смеясь, отрезал ему бороду; раввин же смотрел ему прямо в глаза, не мигая, не хмурясь, была в этом взгляде боль, но был и вызов. Это был взгляд человека, который сильнее зла, даже когда зло побеждает, сильнее смерти, даже когда смерть принимает шутовское обличие скомороха, взгляд человека, который не должен давать отчета никому, даже Богу. Этот взгляд осветил незабываемый документальный фильм Фредерика Россифа — "Время гетто!" С тех пор, что я его увидел, я ношу его в себе, не могу от него отделаться, не хочу с ним расстаться, чтобы не забывать, что есть еще и всегда будут существовать на свете взгляды, выражения которых я никогда не постигну. И когда этот взгляд обращается ко мне — за столом, в концерте, близ счастливой женщины — я открываюсь ему навстречу в молчании.

Ибо чем больше я живу, тем больше знаю, что немного мы можем сделать для мертвых; и то немного, что мы все-таки можем сделать ради них, если не ради самих себя, — оставить их в покое, не переносить на них свою собственную виновность. Нам нравится думать, что мертвые обрели вечный покой, не будем же его нарушать. Будить их опасно. У них тоже есть свои вопросы; они стоят наших.

Моя речь подходит к концу, но она будет неполна,

если я ничего не скажу о вооруженных боях, которые, что бы о том ни думало Обвинение, евреи дали немцам. И если мне трудно понять, как эти множества людей шли на смерть, не защищаясь, то понять их товарищей, которые предпочли дать бой, уже совершенно невозможно.

Вечной тайной останется для меня, каким образом, в гетто и в лагерях, они сумели раздобыть средства борьбы, когда весь мир был против них.

Ибо те, кто заявляет, что все евреи из трусости или смирения сообщая покорились убийцам, року, — не знают, о чем говорят. А может быть — и это хуже — умело подделывают факты с единственной целью проиллюстрировать какую-нибудь шаткую социологическую теорию или оправдать болезненную ненависть, которая является ненавистью к себе.

В действительности среди жертв существовала действующая боевая элита, состоявшая из мужчин, женщин и детей, которые со своими жалкими средствами борьбы сумели противостоять немцам. Это было меньшинство, согласен. Но покажите мне общество, где действующая элита не меньшинство. Так вот, эта элита существовала в Варшаве, в Белостоке, в Гродно, даже — один Бог знает, каким образом! — в Трешлинке, Собиборе и Освенциме. Существуют документы и свидетельства, рассказы о боевых делах этих бедных "десперадос"; читаешь и не знаешь, ликовать ли от восхищения или плакать от ярости. Спрашиваешь себя: но как же они сумели, эти голодные мальчишки, эти загнанные мужчины, эти избитые женщины, как же они сумели выйти с оружием в руках против армии нацистов, которая в то время казалась непобедимой и шла от победы к победе? Откуда черпали они физическую выносливость, моральную силу? В чем их секрет, и каким словом его назвать?

Говорят: с оружием в руках. С каким оружием? У них его не было. Они покупали револьвер и платили за него золотом. Возглавивший сопротивле-

ние Белостокского гетто легендарный Мордехай Тененбаум-Тамаров описывает в своем, чудом сохранившемся, дневнике то мгновение, когда он получил первую винтовку и боезапас к ней: двадцать пять пуль. "Слезы навернулись мне на глаза. Сердце мое разрывалось от радости". Вот этой винтовкой, этими двадцатью пятью пулями он и его товарищи собирались удержать натиск немецких армий. Нетрудно представить себе, что было бы, если бы каждый воин в каждом гетто получил по винтовке, не говоря уже о гранатах и автоматах. Но в этом им было отказано.

Все подпольщики в оккупированных странах получали из Лондона оружие, деньги, средства радиосвязи; тайные агенты регулярно обучали их саботажу; они чувствовали свою органическую связь с внешним миром. Участник сопротивления, которого схватили во Франции или в Норвегии, мог укрепить свое мужество, думая, что где-то в городе и на том берегу есть люди, которые дрожат за него, беспокоятся за него, перевернут весь мир ради того, чтобы его спасти; его дела были где-то записаны, оставили след, причинили боль, дали результаты. Евреи были одиноки; это были самые одинокие люди на войне.

Только они одни не получали ни помощи, ни ободрения; только им не посылали ни оружия, ни инструкций; с ними не разговаривали, к ним не обращались; они не существовали. Они звали на помощь, но их зов, который они посылали по радио или через курьеров, натыкался на заткнутые уши. Отрезанные от мира, выброшенные за пределы войны, еврейские бойцы участвовали в ней, зная, что их участия не хотят, что ими уже пожертвовали; они бросились в борьбу, заранее зная, что им не на кого рассчитывать, что помощь не придет никогда, что им не на кого будет опереться и некуда будет отступить. И все-таки, имея за спиной только охваченную пламенем стену, они сопротивлялись нем-

цам, и есть сражения, которые человек выигрывает, даже если он их проиграл.

Эта элита существовала даже в Собиборе, где она организовала бегство, в Трешлинке, где она восстала, в Освенциме, где она взорвала крематории. Восставшие в Освенциме пытались спастись бегством, но нашли смерть в боях с превосходившими их силами эсесовцев. Потом немцам удалось схватить четырех еврейских девушек-варшавянок, которые достали для восставших взрывчатку. Их пытали, потом приговорили к смерти и повесили во время публичной церемонии. Они умерли без страха. Старшей было шестнадцать лет, младшей двенадцать.

Если бы мы были способны на полную искренность, на полное смирение, мы должны были бы беспредельно восхищаться этими героями; но мы неспособны.

Нам остается только склонить головы и замолчать. И пусть скорее закончится этот возмутительный посмертный суд, который умные акробаты в разных странах чинят над теми, чья смерть ставит ум в тупик. Вы хотите понять? Нечего больше понимать. Хотите знать? Нечего больше знать. Ничего вы не поймете и не узнаете, играя словами и смертями. Напротив. Древние говорили: "Те, кто знают, не говорят; те, кто говорят, не знают".

Но вы предпочитаете говорить и судить. Вы хотите быть сильными и неуязвимыми — и за эту вашу силу, за ваше стремление сделать ее неуязвимой я вас упрекаю тоже. Урок Катастрофы — если существует такой урок — в том, что наша сила иллюзорна, что в каждом из нас живет жертва, которой страшно, холодно и голодно. И стыдно.

Талмуд учит человека никогда не судить своего друга, пока он сам не побывал на его месте.

Но для вас евреи не друзья и никогда ими не были. Они оттого и умерли, что у них не было друзей. И поэтому — научитесь молчать.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ НИЩИЙ

Эту историю следовало бы рассказывать с самого начала. Но у начала есть собственная история, собственная тайна. Так это есть, так это всегда было, и человек ничего не может с этим поделаться. Даже смерть не имеет власти над началом. Это вам говорит нищий, а уж он-то знает, что говорит.

Вы его видите? Вот он сидит на поваленном дереве, сжавшись в комок, и как будто кого-то ждет; он впицается глазами в лица прохожих, то ли чтобы спровоцировать их на что-то, то ли чтобы разоблачить. Кого же он ищет в толпе? Загнанного сообщника? Забытого противника? Да знает ли он сам? А может быть, — все-таки Катриэля? Катриэль — свежая рана, самый неотвязный из всех призраков. Но нет, он еще не покончил с этим. Не трогайте его. Терпение! Все в свое время. Живой или мертвый, Катриэль займет свое место в этом рассказе. Но не сейчас. Позднее. После того, как уйдет самый последний оккупант. Вы увидите.

А пока — подходите без опаски: этот человек не желает вам зла, и он вас не сглазит. Вас смущает его взгляд? Он в нем не властен. Его губы шевелятся? Да, он рассказывает себе всякие истории, слышанные или пережитые вчера, на прошлой неделе, в прошлом столетии: он не помнит когда. Время для него не существует.

Пора вас предупредить: если он кажется странным, то это потому, что он страдает расстройством памяти, его память всасывает образы и слова, не фильтруя. Это бывает. Он помнит события и не помнит дат. Он знает, что окончилась война, — но не знает, какая.

Он мучается и стыдится своего беспамятства, и ему нужна помощь.

Вот, он подал вам знак. Теперь вы его видите? Это он.

Это я.

Меня зовут Давид. Как моего деда. Только у деда на фотографиях белая ухоженная борода, а у меня черная и всклокоченная.

Давид. Как царя-завоевателя. Но тот Давид любил воевать и петь, а я только мечтаю. Но, как и он, я люблю облака и горы в огне, особенно в сумерках или на рассвете, когда все живые существа начинают беспокоиться, метаться, бежать друг от друга, и в конце концов одни оказываются там, где свет, а другие — там, где тьма. Час неизменен, и призыв неизменен; меняется только человек. И потому он боится: его пугает чужой, заключенный в нем самом. Меня-то этот чужой во мне лишь забавляет: я знаю, что ему мной не завладеть. Он меня не хочет. Возможно, что я для него игрушка, а не добыча. Вам нужны доказательства? Спросите у Катриэля. Потом Катриэль ушел, и это лучшее доказательство. Вы не понимаете? Подождите. Вы поймете позже. Я обещаю.

Моложе своих лет я кажусь, или старше? Моложе или старше Катриэля? Не забывайте, что внешность обманчива. Я всегда помню, что ей не стоит доверять, — но ведь только внешностью я и живу. Вот, я говорю с вами, я изучаю вас, но я ни в чем не уверен. Даже в этом мгновении, которое соединяет нас с вами. Когда меня забрасывает в будущее, сердце мое переполняет жалость. Но бывает, я заблужусь в настоящем — и тогда мне хочется только одного: выбраться поскорее отсюда. Я цепляюсь за других, чтобы исчезнуть вместе с ними. И все-таки я снова и снова поднимаюсь на поверхность, я, исключенный из времени, но не из истории.

Обычная картина: тысяча всадников с саблями наголо несутся на меня, рыча от ненависти и жажды мщения. Чтобы спастись от них, я притворяюсь мертвым.

Кто они? Крестonosцы, казаки, фанатики, жадные до крови и приключений? Живой — я их враг; мертвый — я их бог. Значит, ради спасения моей души и ради моей вечной славы они рвутся уничтожить меня? Но это им не удастся. Моя память сильнее их, им пора бы знать это. Чем сильнее удары, тем упорнее она сопротивляется. Они считают ее обременительной, и в этом они правы. Они боятся ее вспышек, ее лихорадочных пароксизмов: я их понимаю. Они играют, а она диктует им правила игры. Они считают себя охотниками — они и есть охотники, но они и дичь тоже. Им этого никогда не понять.

Ну, подходите. Нищий возьмет у вас только то, что ему принадлежит. К тому же это ненастоящий нищий. Он не просит милостыни, он не выпрашивает ничего ни у людей, ни у Бога. Разве что какие-то знаки, но и их он потом возвращает. Как он живет, как ему удастся выжить? Смешной вопрос. По ночам я живу с безумцами, с визионерами, с бродягами всех мастей. Днем их не увидишь — они слишком заняты. Да и слишком робки. Люди над ними смеются или жалеют их. Чуть кто почувствует желание посмеяться или заняться благотворительностью — тут же и объект готов: они. И то сказать — эта роль им подходит, они принимают ее охотно. Но только в одиночку, вместе — никогда. Видно, они слишком дорожат мнением и уважением себе подобных. Я никогда не встречал столь гордых и столь преданных друг другу людей. Все они члены тайного братства со строжайшим уставом, и все помогают друг другу и стоят друг за друга горой. Не пытайтесь их надуть: они сумеют постоять за себя. У них есть свой тайный код, непонятный для непосвященных. Они пользуются им, передавая друг другу различные сведения, например: избегать такого-то: он сегодня с утра в плохом настроении; постараться умаслить такого-то: он только что разбогател. У них глаза и уши всюду, и ничто не скроется от них. Тайны общества для них открыты, но, правду сказать, они этим никогда не злоупотребляют. Займись они шанта-

жом или коммерцией, они могли бы разбогатеть, — но им это ни к чему. Слава? Богатство? Слишком легко их добиться. Получать даром куда труднее. Бедняки Иерусалима останутся бедняками до конца своих дней.

Хотите встретиться с ними? Хорошо. Сейчас же? Нет, еще рано, их приведет вечер. Вечером вы увидите их: они сидят полукругом, прямо на земле, недалеко от Стены, что врезается в ночь. Они прячутся под своими масками, они обсуждают только что закончившиеся военные действия. Послушать их, так честь победы принадлежит им, и только им.

Вы их услышите. Вы сможете судить о них сами. Но Катриэля вам не услышать, Катриэля вам не увидеть — к сожалению. Я буду говорить о нем, но вы с ним не познакомитесь. Он исчез в разгаре боев; несколько недель его искали по госпиталям и братским могилам, потом перестали. Когда-нибудь откроют его дело и удивятся: по-прежнему никаких следов Катриэля. И я отвечу: его след — это я.

Он был моим другом. Мы воевали вместе. Он не вернулся. Мы можем представить себе, что он присутствует среди нас. Хотя многие здесь не знали его, они все-таки будут свидетельствовать о нем.

Он был непохож на них? Ну и что? Каждый из них прожил несколько жизней, немало испытал на своем веку, повидал не одну страну, соблюдал множество законов — и нарушил множество других. Каждый из них знает, что тайна вечна, и передать ее нельзя. Дороги никуда не ведут, они сливаются не в одной точке, а в сотнях и тысячах. Кто сказал "я", сказал все. Как в одном человеке — все люди, так и в этом слове — все слова. Это то единое слово, которое на Синае проронили уста Господни. Но надо уметь сказать это слово, как Он. Он говорит "Я", и это значит: вы, которые во Мне и со Мною. Мы говорим "я", и это значит: вы, которые против меня. Его "Я" говорит о цельности и полноте, наше — о разобщенности. В Его устах "Я" означает любовь, и в наших тоже, но это не одна и та же

любовь. Потому что нетрудно любить друг друга, нетрудно даже любить врагов своих — это легче, чем любить самого себя.

Шломо, хасид, которого вы скоро увидите, однажды воскликнул с отчаянием: "Что выиграл я, став слепым, если я все равно вижу себя?". Бедняга! Даже если бы он перестал себя видеть, он все-таки ничего бы не выиграл. Потому что тут крапленые карты: выигрыша не существует. И проигрыша тоже, а это куда серьезнее. Победить смерть, и к тому же победить ее нечаянно — это не победа и не благодать: я-то хорошо это знаю.

На Востоке мне довелось беседовать с мудрецом, чей ясный и кроткий взор погружен в вечный закат. "Умереть — это не решение", — сказал он. "А жить?" — спросил я. "И жить — тоже не решение, но кто сказал, что решение вообще существует?"

Вам не убедить меня, что он был неправ. Без решений можно обойтись, важны только вопросы — и от нас самих зависит, допустим мы их или отвергнем. За каждым вопросом кроется не ответ, а тайна. Говорят, ради того, чтобы сохранить свою тайну, Шломо дал вырвать себе глаза. Неправда. Свою тайну он узнал только потом. Когда-нибудь он откроет ее. И тогда земля содрогнется.

Впрочем, она уже не раз содрогалась. Стоит мне послушать разговоры сумасшедших и нищих — и я в этом убеждаюсь. Но иногда я начинаю умолять: "Да перестаньте рассказывать о войне, я не хочу больше о ней слышать, оставьте мертвецов в покое!". Обычно они слушаются. Одни пускаются в рассказы о любовных приключениях, позволяя мне любить женщин, к которым они никогда не прикасались наяву; другие вспоминают детство. А Шломо? Шломо любит слушать.

Когда мы встретились в первый раз, он протянул мне руку:

— Я Шломо-ясновидящий. И того, кого я жду, я тоже буду называть так — до тех пор, пока будет длиться ожидание. Ведь я не знаю его и не могу сказать,

заслуживает ли он этого имени. Пусть покажется — тогда, возможно, я назову его иначе. Ты смотришь на меня недоверчиво, я чувствую. Не веришь, что он придет? Но ведь он мне обещал. У меня над ним власть: без меня его судьба не осуществится. Хочет он того или нет, я залог его обетования. Если я умру раньше, чем он, не вернув ему Слова, не освободив его, — тайна его потеряет всякий смысл. Нельзя безнаказанно заставляя ждать слепого. Сколько-то лет назад мне сказали, что он умер. Я знал, что это ошибка — и все-таки в ту минуту не мог удержаться от слез. В другой раз ко мне пришел какой-то шутник, который притворился, будто он и есть тот, кого я жду. Я человек недоверчивый, а все-таки дрожал от волнения. Ты смеешься?

— Я не смеюсь.

— Неправда!

— Я не смеюсь.

Он замолчал. Потом заговорил опять:

— И все-таки он придет, клянусь тебе. Когда? Не знаю. Он знает — этого с меня достаточно. Ну, скажем, после войны. Война окончена? Возможно. Пусть он мне это подтвердит. Допустим, что война окончена. Но я все еще жду победы.

— Не мира?

— Это всего лишь слово, я не знаю, что оно значит.

А ты знаешь?

— Он знает — этого с меня достаточно.

Шломо улыбнулся и попросил меня повторить его рассказ с самого начала. Он слушал меня очень внимательно, потом заявил:

— Я жду не тебя, к сожалению!

С этими словами он отсылает всех, кто пытается завязать с ним беседу. Потому-то он и вызывает враждебность у товарищей. Ждать победы после того, как она одержана — в их глазах это святотатство, можно сказать, неблагодарность. Для них победа — несомненный факт, ведь они считают себя ее первопричиной и жаждут своей доли славы.

Хотите послушать, как они ссорятся? Нет ничего проще. Спросите их, каким образом была выиграна война. Эзра бен Аврахам, старик из Марокко, будет утверждать, что победа стала возможной благодаря его слезам. С первого до последнего дня он не переставал плакать. Кривой Велвел, у которого хорошо подвешен язык, яростно возражает ему: "Да мне смотреть на тебя тошно! Противник просто смеется над такими плаксами, как ты. Это из-за моей радости он отступил! Я все время плясал, даже когда ел, даже когда спал. Если бы я остановился, если бы пролил хоть одну слезу, мы бы проиграли войну!". Цадок, тощий йеменит, жалуется, что никто уже не помнит, как усердно, дни и ночи напролет, он молился. "День и ночь я только молился, только молился!" — "А я пел! — кричит сумасшедший по прозвищу Моше-пьяница. — Прохожие не понимали, как я могу петь, когда всюду громяхают пушки. Это я, я своими песнями помогал ребятам целиться". "А я играл с детьми, — краснея, замечает робкий Яаков. — Я ходил из школы в школу, из убежища в убежище, и всюду я играл с ребятами в войну. Я соглашался быть врагом, чтобы они могли меня бить". Но упрямый слепец отвечал им всем:

— Нет, я жду не вас!

А меня эти истинные или выдуманные подвиги его товарищей всегда волнуют. Нет, они не лгуны. Мир, такой, какой он есть, не настолько их интересует, чтобы они ему лгали. Значит, герои? Может быть. Вы вправе их отвергнуть, но вы не вправе их судить. Я, со своей стороны, охотно предоставил бы им место в колдовской истории этого города, который одни и те же сумасшедшие тысячу раз теряли и тысячу раз завоевывали снова.

Иерусалим. Видимое и невидимое лицо, кровь и соки, которые дают нам силу жить и силу отказаться от жизни. Искра, вспыхивающая во тьме, шепот, пронизывающий клики веселья и счастья. Для ссыльных — молитва. Для других — обетование. Иерусалим. Город,

который каким-то чудом превращает каждого человека в пилигрима. Никто не может посетить его и потом уехать, не изменившись.

Но для меня это еще городок, затерянный в Трансильвании, в глубине Карпат, где еврейский мальчик, влюбленный одновременно и в тайну, и в истину, изучал Талмуд, и был ослеплен богатством и печалью его легендарного мира.

Катриэль спросил меня:

- Ты знаешь Иерусалим?
- Думаю, что знаю.
- И Старый город тоже?
- И Старый город тоже.
- А когда ты там был?
- Давно.

Рабби Нахман из Брашлага, мечтатель и автор хасидских рассказов, говорил, что куда бы он ни шел, он направляется в Иерусалим. Я же открывал свой Иерусалим в Божественном глаголе. Не двигаясь никуда.

Вот долина Иехошафата, где когда-нибудь будут судимы все народы. И вот Масличная гора, где когда-нибудь будет побеждена Смерть. И цитадель, крепость Давида. Мрачные башни, золотые купола, в которых ломается и гаснет солнце. Врата милосердия, запертые на все запоры: пусть кто-нибудь, кроме Мессии, осмелится выйти из них — земля задрожит, и самые основы рухнут.

И вот, превыше вершин Иудейских и Моавских гор, гора Мория, испокон веков притягивающая тех, кто ищет веры и жертвы. Здесь открыл глаза первый человек и увидел мир, который отныне ему предстояло делить со Смертью; здесь он, обезумев от одиночества, стал говорить со своим Создателем. Здесь два его сына, наши предки, открыли связь невинности с убийством, душевного жара с проклятием. Здесь первый верующий воздвиг алтарь, на котором хотел принести в жертву и прошлое свое и будущее. Здесь человек, воздвигнув Храм, доказал, что способен и достоин освятить пространство, как Бог освятил время.

Я люблю этот город с непоколебимой памятью, я люблю его власть над собой. Далекие страны не манят меня больше. Искатель устал от поисков, исследователю надоело волноваться. Под этим небом, которое оспаривают друг у друга все цвета и все воспоминания, в тишине ночи вечно раздаются шаги; ты прислушиваешься к ним, как зачарованный, словно сбываются твои заветные желания; ты пытаешься уловить их ритм и вдруг пугаешься: а не подстережешь ли ты, чего доброго, замечтавшегося царя или пророка, которому ничего не стоит превратить в пыль и жизнь и слово.

Гиды-профессионалы, пастыри туристов, уже не замечают нашего присутствия. Вооруженная охрана оставляет нас в покое. Мы безобидны, мы никому не мешаем. Раньше-то мы их интересовали, особенно вначале. Одни смотрели на нас подозрительно, другие — с тревогой и некоторым почтением: почему это мы не уходим домой? Ведь должен же у нас где-нибудь быть дом, верно? Залман, бродяга с дурным характером, когда его спрашивали об этом, отвечал: "Хорошо, я пойду домой — завтра". Почему он так говорил? Чтобы избавиться от приставаний, или он сам в это верил? Не знаю. Да и он не знает.

— Ну, а тебя что здесь держит? — спрашивали Менаше, который считает себя профессиональным сватом и трубадуром тоже.

— Вечерняя звезда как раз тут встречается с утренней! — отвечает он, подмигивая. — Я люблю их встречать и провожать, а больше всего люблю присутствовать на их свадьбе.

Робкий Яков, пряча пальцы в густой бороде, объясняет, заикаясь:

— Здесь слово и молчание согласованы. Я люблю и то и другое. И здесь я их не боюсь.

А Шломо, прикрывая веки рукой, шепчет:

— Что сказать? У меня нет ответа. Я мог бы уйти, но предпочитаю оставаться. Здесь всякое ожидание получает смысл, даже если вначале оно смысла не имело.

И в конце концов к нам привыкли. Когда последний турист покидает город, мы тут хозяева. Приходит вечер, и нам принадлежит место, где раньше был двор Храма.

С высоты стен солдаты с винтовками наблюдают, как мы шушукаемся; им смешно, но иногда они придают своим лицам выражение фальшивого сочувствия. Случается, мы их подзываем. Как они тогда темятся! Мы уж и смеемся, и рожи строим, чтобы их подбодрить: ну, полно, никто вас не укусит, идите сюда, да засмейтесь же, ничего вам за это не будет! Я смотрю на них и думаю: точь-в-точь те огневые вояки, которых я наблюдал перед боем — и сразу после. Как они гордились, идя в бой, своей силой и твердостью! А потом я видел, как они уходят — по-прежнему прямые, но смирившиеся, растерянные, словно увидели сон, пережитый в прежнем существовании, сон, который сильнее жизни. И, чтобы продлить необычайное, чтобы задержать наступление минуты, когда опять все станет обыденным, некоторые присоединялись к нам — на одну ночь, на часок, на несколько минут, чтобы рассказать свою байку. Их байки бывали куда фантастичнее наших.

Муэдзин со своего минарета призывает правоверных на молитву. Туристы и гиды расходятся по машинам. Богомольцы у Стены поют псалмы или качаются в беззвучной молитве. Дремлющая жара начинает перемещаться. Тиски разжимаются, уже можно вздохнуть. Свет тускнеет и гаснет за пурпурной завесой, покрывшей верхушки деревьев. Чтобы прогнать умиротворение, которое охватывает меня, я вызываю в памяти лицо Катриэля. Где он? Вернется ли? Жив ли он еще?

А вот и Аншель со своими спутниками — Мохаммедом, Джамилем и Али. Как все мальчишки этого квартала, они торгуют карандашами, открытками, мелкими сувенирами. Аншель их лучший клиент. Он поку-

пает их жалкие товары, не торгуясь. А потом выбрасывает, чтобы снова выкупить завтра.

Знает ли он, что из окон, выходящих на площадь, через щели в закрытых ставнях родители, стиснув зубы, смотрят на своих сыновей мрачными глазами? Нет, не знает. Он знает только одно: что и ему приходилось голодать, приходилось стыдиться. А сейчас страдает не он. И этого он все еще не может себе простить. Я люблю его поддразнивать:

— Значит, говоришь, дела идут неплохо?

Вместо ответа он что-то бормочет. Он злится и не знает, на кого. Зато я знаю: на войну. Сказать ему? Он пожмет плечами: слишком легко валить все на войну. Война — что это такое, кто это такие? Абстрактное зло с очень конкретными последствиями? Лучше уж верить в древних богов: богов грозы, дождя и ненависти.

— Война для меня, — говорит Аншель, — это лицо.

— Какое лицо?

— То одно, то другое; смотря в какой день.

— А сегодня?

— Лицо умирающего. Умирающего, который опять стал ребенком.

— И на него-то ты злишься? — спрашиваю я с приторным негодованием.

Он бросает недобрый взгляд:

— Замолчи!

Но тут он понимает, что я над ним подшутил, и садится со мной рядом. Площадь перед нами почти пуста.

— Я видел много мертвых, — говорит Аншель, словно извиняясь. — На некоторых я даже наступал. Война ведь! У меня не было выбора — я шел, не глядя под ноги. Тогда для меня война не имела лица. Война была чудовищем, убивавшим людей и срывавшим с них лицо. А теперь они мстят. Теперь я вижу слишком много лиц.

Он вытаскивает из кармана разноцветные открытки и начинает их тасовать.

— Но я выиграл войну! — кричит он в каком-то ис-

ступлении. — Я выиграл ее, да — и вот мои трофеи!

Это его третья война. Он проделал ее на танках. В пустыне. Первый танк был подбит в первый же день, экипаж остался невредим. Второй танк был подожжен на третий день. Один тяжело раненый. Аншель взвалил его на плечи и побежал в полевой госпиталь. Пулеметный шквал. Раненый убит. Аншель остался невредим. С тех пор он повторяет: "Ты жив, ты — победитель". Простые слова? Но их значение от него ускользает. То ли он наследник всего, то ли жертва недоразумения — но он не чувствует ни радости, ни печали — ничего, кроме любопытства. Слишком многое развернулось слишком быстро; у него все еще кружится голова. Он — победитель? Заемная роль, заемное существование. Он краснеет всякий раз, когда какой-нибудь Джамиль, какой-нибудь Мохаммед дергает его за руку. Их-то роли никак не заемные. Победители друг на друга непохожи, зато у побежденных всюду один и тот же мрачный, загнанный взгляд, одна и та же умоляющая улыбка. Побежденные дети всюду одни и те же, и в разрушенном мире им только и остается продавать развалины. В конце концов побежденной оказывается их невинность. Их — и Аншеля, конечно, тоже. Что сказать в его защиту? То была война между его и их детством. Но это не мешает тому, что для него, победителя, победа мало-помалу теряет — не смысл, не необходимость, но вкус счастья.

И для того, чтобы выдумать его снова, он приходит по вечерам на эту площадь, где кажется, что победа и путь к ней выкроены по человеческой мерке.

— Признайся, что ты сердишься, — стараюсь я его раздражить.

— Замолчи!

— Знаешь, этого не надо стыдиться!

— Не надо? Ты в этом уверен?

Не знаю, как Катриэль говорил бы о войне, о победе. Никогда не видел, чтобы он сердился, кроме одного раза, я вам потом расскажу, как это было. Но как сдержать слово, которое я ему дал: сказать за него то,

чего он сказать не смог, и спасти его от забвения? Жив ли он, да и жил ли когда-нибудь?

Опускается вечер. Раскаленное небо синее, потом сереет; вот-вот оно почернеет совсем. Солнце, обращенное в бегство, покидает плотные, красные по краям, проколотые золотом облака. За стенами, за башнями, молча перегруппировываются батальоны теней.

А перед Стеной, озаренные мигающими свечами, последние верующие приступают к молитве Маарив. Наши товарищи подсаживаются к нам один за другим. И Аншель, в ярости, отбрасывает свои разноцветные открытки, и кричит:

— Смотрите на меня! Я жив, я победитель! Чем я могу это доказать? Да лицами, лицами! У меня карманы полны ими!

У меня тоже.

А вот в Европе конец войны был иным. Хоть мы и выжили, но твердо знали: никакой победы нам не позволят. Страх повсюду шел за нами, и страх повсюду шел впереди нас. Страх говорить и страх молчать. Страх открыть глаза и страх их закрыть. Страх любить. Ни цельности, ни свободы: мы были ни живы, ни мертвы. Благодеяний мы не хотели. Жалость внушала нам отвращение. Мы были нищие. Нас вырвали с корнями, лишили родины, никто нас не хотел: шло время, и люди, чтобы откупиться — или, может быть, защитить себя — уже отталкивали нас и даже упрекали за свою взбаламученную совесть.

В течение нескольких лет я проводил целые световые дни в негостеприимных кабинетах полицейской префектуры: разрешение на проживание, разрешение на работу, разрешение на поездку, выездная виза, обратная виза, удостоверение о месте проживания, формуляры, фотографии, удостоверяющие личность, допросы и унижения, унижения без конца. Выжившие стали ошибкой и лишним бременем. Никто нас не хотел. Подмандатная Палестина нас отталкивала. Американское правительство бдительно стояло на страже своей скаредной системы квот. Самые либеральные страны поворачивались к нам спиной и помогали искать убежища где-нибудь в другом месте. И всюду с нами обращались, как с незваными гостями, как с отшельниками, неизвестно для чего вернувшимися в мир. Победители не смели посмотреть нам в глаза: мы были живым доказательством их вины. А хранившие нейтралитет по-прежнему не интересовались нами.

Отвергнутый живыми и мертвыми, я решил вернуться в родной город, не зная, собственно, что бы я хотел там увидеть, и боясь это узнать. Может, меня тянул туда ребенок, которым я был, которого я там оставил, — не то как заложника, не то как стража. Я не знал, что и ребенком, и городом завладели безумцы, не знал, что и ребенок, и город в плену.

Это возвращение было похоже на сон. Я скитался по своему кварталу, по своему детству, я бродил у своего дома. Из подворотни на меня залаяла собака, словно желая прогнать привидение. Много часов я ходил и ходил по городу, чтобы все увидеть, все унести — от улицы к улице, от удивления к удивлению, от мучения к мучению — и все надеялся, что в конце концов кто-нибудь меня разбудит и спросит, чем я хочу заняться, где буду жить, надолго ли здесь. Никто меня не узнал, и я не узнал никого. Но ведь в этом прошлом меня ожидал ребенок! Я боялся пойти за ним, я знал, что один из нас умер. Но я знал и то, что только он может привести меня к нашим учителям, которые в глубоком трауре сидят на перекрестке и судят прохожих, оставаясь невидимыми для всех.

Я узнал, что три члена общины, единственные спасшиеся от депортации, находятся в сумасшедшем доме.

Дорогу туда я знал. Когда-то мы — я, мои сестры, мои товарищи — ходили туда по субботам после обеда, особенно в летнее время, утешать больных несчастных евреев. Мы приносили им фрукты и сладости. Это место не изменилось: та же беспокойная тишина, та же пугающая чистота. Огражденный своими высокими стенами, уют был словно непроницаем для времени.

Врачи были любезны. Один из них, особенно доброжелательный, провел меня по всем этажам. Мужское отделение, женское отделение, отделение для особо тяжелых. Современная обстановка, квалифицированный персонал.

— Эти больные... — сказал Гуд, — вы знаете их?

— Возможно. Если вы назовете их имена...

Он назвал.

– Нет, к сожалению. Никогда не слышал. Может быть, если я их увижу...

Он показал мне этих троих. Комната была плохо освещена. Два старика с блуждающим взглядом, с бескровными губами. Третий, помоложе, казался моим ровесником. Я не знал никого из них.

– Может быть, если с ними поговорить...

Я поздоровался. Старики, по-видимому, были рады моему приходу и ничуть не удивлены.

– Очень приятно, что вы пришли. Мы вас ждали.

Увидев мое изумление, они добавили:

– Ну, конечно! Мы знали, что вы придете! Сегодня же суббота!

И они протянули руки за тем, что им полагалось: за субботными подарками.

– Прошу прощения, – сказал я, краснея. – Прошу прощения, но я ничего вам не принес. Прошу прощения, но сегодня четверг.

И я уточнил: теперь суббота вовсе не самый святой день недели, теперь это просто день, как все другие. Святость субботы поругана, нарушена, исчезла. День седьмой теперь вовсе не знак того, что Творец интересуется Своим творением.

– Прошу прощения, – сказал я. – Царица суббота уехала и вернется нескоро. Прошу прощения, но виноват в этом Царь.

Оба старика выслушали меня вежливо, с понимающим видом. Они все время подмигивали, что повергло меня в смущение. Я замолчал – и оба так и прыснули со смеху. Я не мог понять, что бы это могло значить. Но тут молодой отвел меня в угол и прошептал:

– Бедняги. Они потеряли рассудок.

И добавил еще тише:

– Они разрывают мне сердце. У них сохранились иллюзии. Они думают, что мир там, за стеной, остался тем миром, который они знали.

Он подмигнул мне.

Старики смеялись, прямо корчились от смеха. Бедняги, они смеялись, но лица их были закрыты для сме-

ха, недоступны смеху. Их загнанный взгляд был полон тяжестью и темнотой. Мучительная жалость к этим людям, сохранившим мой город в своем расстроенном воображении, охватила меня. Мне показалось, что сцене этой не будет конца. Наконец они, истощенные, словно после рукопашной схватки, повалились на деревянный пол и уставились в пустоту — перед собой, вдали, внутри...

Испросив разрешение врача, я позвал молодого с собой в сад. Погода стояла хорошая, листва на деревьях пожелтела. В наших краях осень дышит невыразимым покоем, неизъяснимой тоской. Ее предпочитают весне, которая слишком напориста, слишком спешит навязать свой закон. Осень наша уходит неохотно: все живое старается ее удержать.

— Слышите ветер? — спросил мой спутник. — Он гонит осень прочь. Я с ним разговариваю, но он меня не слушает.

Легчайший, еле заметный ветерок, по всей вероятности, морщил воду двух речушек, окаймляющих мой город. Я ощущал его на волосах, на веках. Мне стало как-то не по себе.

— Вы видите ветер? — спрашивал больной. — Он-то меня видит. Иногда я отдаю ему свой взгляд, и он возвращает его мне полным свежести и солнца. Но иногда он возвращает мне не мой взгляд, а чужой — и тогда я вижу такие вещи, такие вещи...

Я не мешал ему говорить, я думал: чем он болен, знал ли он моих родителей, дошли ли до него слухи о депортации. Задавать ему вопросы мне было неудобно. Он увидел мое смущение и сам пришел мне на помощь.

— Вы, конечно, хотели бы знать, почему меня тут держат? Очень просто: я болен. Меньше, чем другие, но все-таки болен.

Он улыбнулся и заговорил терпеливым, снисходительным тоном человека, который знает то, что неизвестно его собеседнику.

— Я болен, уверяю вас. Я сумасшедший. Да, да, су-

масшедший... — я ведь сам вам это говорю. Не верите? Напрасно. Вы должны мне поверить. Вы гуляете и разговариваете с сумасшедшим. Имейте в виду, что он это сознает, и ему от этого еще больнее.

Позади раздался пронзительный крик — я вздрогнул и обернулся. Ничего — только отделение для особо тяжелых с тусклыми окнами. Крик отчаяния? Крик прозрения? Кто это кричит?

— Это Миклош, — сказал молодой человек. — Миклош боится сумерек как смерти, больше, чем смерти. Он начинает кричать, лишь только почувствует их приближение. Он различает их раньше всех.

— Но ведь еще светло!

— Не для Миклоша, не для этого дурака Миклоша: темнота — его стихия. Можно сказать, он живет с темной стороны солнца. Он боится темноты, но любит испытывать страх. Благодаря страху он чувствует себя живым. И кричит он только для того, чтобы призвать свой страх.

Я прислушался. Крик оборвался так же внезапно, и уже ничего не было слышно.

— Чтобы прекратить это, — объяснил молодой человек, — ему затыкают рот.

Мне показалось, что с левой стороны здания, из-за приоткрытого окна на нас смотрят те два старика; иногда до меня доносился их ледяной, тревожащий душу смех.

— Странное место! — сказал мой молодой спутник. — Место, где смех одного ничуть не лучше крика другого. А я? Какова моя роль во всем этом? Я тот, кто слышит и жалеет, кто видит не глядя и не верит тому, что видит.

Дыхание его стало тяжелым. Мы уселись на скамье под яблоней. Тень далеких холмов легла на высокие облака, на ближние купы деревьев. Молодой человек, погруженный в свои мысли, потирал шею и затылок. Когда, после продолжительного молчания, он заговорил снова, его голос показался мне изменившимся и как-то странно знакомым. Он описывал свою болезнь:

— Представьте себе непредставимое, — сказал он, глядя мне прямо в глаза. — Представьте себе, что я вижу свой город без евреев. Я знаю, вам это кажется невозможным. И все-таки я вижу его отчетливо — как вы видите меня. Понимаете? Мой город — такой живой, с такой еврейской душой, самый еврейский город между Тиссой и Дунаем — в своих кошмарах я вижу его ограбленным, выродившимся, лишенным его иудейской души... И так все время, каждый день... Он пуст, опустошен, лишен всего, что дает сияние и блеск его красоте и еще более — его нищете. *Штиблех* — где набожность бедняков соединялась с молитвенным жаром мудрецов, — опустели; святыни разграблены. Я ищу хоть искру, хоть какой-то след существования — и не нахожу. Бегу в хедер — там нет ни учителя, ни учеников. В синагогу — священные книги плесневеют под слоем пыли. Где фанатики-хасиды и еще большие фанатики — их противники? Где болтуны-портные, где высокомерные врачи, где трубадуры и девушки на выданье, где нищие с их лихорадочной торопливостью, где цадики, притворившиеся нищими, где учителя, чье молчание исполнено смысла? Я знаю, что они тут, я это чувствую, но они прячутся от моего взора, прячутся в отсутствие. Здания, вывески, мостовые, даже трещины в стенах — все это я вижу, только это я и вижу: живые существа растворились, исчезли. Я понимаю, что это плод моего расстроенного воображения, я знаю это, я все время себе это повторяю. В конце концов, не настолько я сумасшедший, чтобы вообразить, будто мои видения отражают не ту реальность, которая во мне самом, а ту, что существует объективно и включена в течение времени. Я понимаю, что не в моем городе тут дело, а во мне самом. У нормальных людей воображение освещает то, что скрыто во мраке, у меня оно подменяет мрак. Что это доказывает? Я болен — вот что это доказывает. Разве я это отрицаю? Но иногда мне изменяет мужество. Что вы хотите, ведь это тянется годами. Может, я неизлечим? Но я все-таки не теряю надежды. В бездне отчаяния, на самом краю

полного бреда ко мне возвращается уверенность, что виной всему *диббук*: я просто одержим. Вот вам и объяснение. И болею только я, и страдаю только я, потому что мой город продолжает существовать со своими евреями, мифами, песнями и праздниками — но без меня, вне меня.

Сумерки наложили на его лицо маску испуга. С кем же я разговариваю — с сумасшедшим или с отверженным и проклятым святым? Что я должен делать — бежать от него или попытаться помочь ему? Но если помочь, то как? Как это узнать? Но если он не сумасшедший, твердил я себе, то значит кто-то другой безумен? От этих мыслей у меня кружилась голова.

— Понимаете ли вы то, чего я сам не в силах понять? — кричал он, возбужденно размахивая руками. — Я — тот деревенский сумасшедший, который со всех крыш вопит, что у него украли его деревню; я — тот мертвец, который обвиняет живых в том, что у него похитили кладбище. И я кричу, я вопию, хоть и знаю прекрасно, что все это неправда, что я лжепророк, что я просто изготавливаю картинки. Да ведь вы, который меня слушает, вы, явившийся оттуда, вы-то уже поняли, до какой степени безумны все мои разговоры. Сейчас солнце заходит над городом, и в молельне Талмуд-тора, напротив базара, верующие ожидают вечерней молитвы и почтительно говорят о чудесах, которые умеют творить их раввины. На Еврейской улице, около главной площади, грузчики сбросили с плеч свою ношу и, повернувшись лицом к стене, читают *Амида*, чтобы рыжий Мендель мог прочесть *Каддиш*. В иешиве уже зажгли свечи, и ученики взялись за трудное место Талмуда. Два коммерсанта стоят перед раввином и рассказывают ему о своем споре, чтобы он его разрешил. Я знаю коммерсантов, и раввина я знаю тоже. Я знаю учеников, их напевы живут во мне, и мне хочется плакать; грузчики — мои приятели, мне стыдно, что у них такая тяжелая работа, и когда у них наступают нечастые минуты отдохновения и веселья, я радуюсь. Я всех их слышу,

все они мои братья, я узнаю даже их дыхание, я различаю их слабые стоны, я чувствую, что они тут, рядом, рукой подать... Но тогда объясните мне, в чем смысл моих галлюцинаций, моей смертной тоски, от которой я по ночам обливаюсь потом и которая лишила меня зрения и сна?

Темный огонь пылал в его глазах. У меня сдавило горло. Мне казалось, что я заблудился и брожу, совершенно один, в странно знакомом немилосердном лесу. Я видел, как скрылось солнце, как сумерки поглотили подмигивающие домики и крутые, затерянные в соснах дороги — и не мог пошевелиться. Опять раздался душераздирающий крик — наверное, Миклош? — и опять засмеялись те два старика.

— Мне их жаль, — сказал молодой человек. — Для них уже все кончено. А для меня? Скажите, ведь со мной все еще может случиться, правда? Я еще могу надеяться, верно?

Я тряхнул головой — то ли подтверждаю, то ли отрицаю.

Доктор заверил меня, что молодой человек безобиден — он никогда не впадает в буйное состояние. И все-таки я смутно чувствовал, что меня подстерегает опасность. Пора было уходить, было уже поздно, быть может, даже слишком поздно.

— Что же делать? — вскричал молодой человек, задыхаясь. — Какой-то дремучий лес, и я в нем окончательно заблудился. Ветер занес песком все тропки, все выходы. Старики думают, что время не изменилось, и в этом их помешательство. А я взираю на свой город как чужестранец — и в этом мое сумасшествие.

Он вдохнул ночной воздух. Голос его зазвучал умоляюще:

— Вы приехали издалека; помогите же мне, посоветуйте, скажите что-нибудь — вырвите меня из ада, который я сам себе придумал!

Я ничего не ответил. Он продолжал:

— Если правда ведет к безумию, и обман тоже, что же нам делать? И как Бог оправдывает Себя в собст-

венных глазах? Если истинное и мнимое кончаются одинаковым криком, одинаковым смехом, в чем же цель творения? Какие ставки тут разыгрываются? Какую роль должен сыграть человек за время своего таинственного прохода по земле?

Он говорил все быстрее и быстрее. Как остановить его, пока еще не поздно — и для него, и для меня? Вопросы его задевали меня и скользили мимо — они были обращены не ко мне, а кому-то дальше. У меня не было ответов. В какую-то минуту мне захотелось открыть ему правду: да, я был в этом городе, я могу свидетельствовать, что твои опасения не напрасны, могу подтвердить, что и старики тоже не ошибаются. Твой город на том же месте, но его там нет; он живет только в бреде безумцев... Вот что мне хотелось ему сказать, но я не мог пошевелить губами: даже слова свои я оставил по ту сторону.

— Год за годом, — жалобно продолжал больной, — я ходил вместе с доктором в город, каждый раз, когда он туда отправлялся. Наверное, он надеялся вылечить меня этим. Полный провал. Болезнь шла за мной, видения шли впереди. Еврейская улица, шумный центр городской коммерции, носила новое название и по ней гуляли незнакомцы. Паломничество приводило меня к иссохшим источникам. Жизнь продолжалась и выбрасывала меня вон. Вы не поверите, но мне чудилось, что я вижу незнакомцев даже в своем собственном доме, за столом моих родителей. В конце концов я стал себя спрашивать, не во мне ли самом причина этого ужаса, я стал казаться себе Ангелом смерти, вокруг которого царит пустота. Да нет, я понимаю, что все это кошмар, недоразумение, что я — жертва своего слуха, зрения, сердца, памяти, я знаю, что правда не тут и не в этом, а уж вы, приехавший издалека, вы-то это знаете лучше меня, не так ли? Скажите только, что вы это знаете, только скажите, я должен в это поверить, я должен в вас поверить, в вас или хоть в кого-нибудь, одиночество меня душит, я больше не могу...

И продолжая говорить, он стал раскачиваться, напе-

вая, как раскачивался и напевал один нищий, которого я знал когда-то, бродячий проповедник, говоривший о том, что надо победить судьбу и выковать будущее: ребенок все еще слушал его с бьющимся сердцем. Вдруг я понял, в чем неминуемая опасность. И тогда я вскочил и молча, без прощального жеста, без извинения, без единого слова объяснения пустился бежать прочь от его взгляда, от сада, от дома. Я бежал обратно, на улицу, в город, в жизнь, а за мной несся вой Миклоша, смех стариков и перепуганный голос молодого человека, моего ровесника. Не знаю, долго ли я бежал. Не помню, где я остановился, чтобы перевести дух. Но в конце моего пути, на самом краю страха кто-то уже ждал меня, и я это знал.

Вечер пал на Иерусалим, и в глазах моих все еще горит огонь заката, ни с чем не сравнимого заката: внезапный и дикий, он охватывает и стискивает сердце, прежде чем его успокоить. Мне хотелось бы, чтобы сегодня он стиснул посильнее. Мне кажется, что если я помучаюсь как следует, кто-нибудь придет. Может быть, Катриэль. Не спрашивайте, кто это, я все равно не скажу. Потому что не имею права.

Вспоминаю разговор, который произошел у нас еще перед войной:

— Чего ты ждешь от жизни? Чего ты от нее хочешь?

— Жизни.

— А от любви?

— Любви.

— Я тебе завидую, — сказал я. — Я хочу удивительного и от жизни, и от любви.

— Я тоже, но это секрет. Никому не открывай его.

Там, за стенами, мужчины и женщины встречаются, расстаются, любят друг друга, удивляют друг друга, обманывают друг друга: жизнь вступила в свои права. Я не хочу в ней участвовать. Перед кинотеатром выстроилась очередь; фильм меня не интересует. Люди идут в ресторан, на концерт. Слышал новости? Двадцать лет тюремного заключения двум террористам, их

поймали на месте преступления. Обсуждение вопроса о смертной казни, о судьбе оккупированных территорий. Министр опровергает свое вчерашнее опровержение. За границей то же самое, текут недели и месяцы, а события все те же. Беспорядки, требования, разоблачения сменяют друг друга и похожи друг на друга. Жизнь продолжается, и, не находя под солнцем ничего нового, человек пытается изменить солнце.

Где-то есть, говорил рабби Нахман из Брацлава, город, в котором все города мира. И есть в том городе улица, в которой все улицы мира. И есть на той улице дом, который властвует над всеми домами. И в доме есть комната, в которой все комнаты. А в комнате человек, в котором узнают себя все люди. И этот человек смеется. Только это он и делает. Смеется во все горло. Я думаю о Катриэле: может, он и есть тот человек? Я никогда не слышал, как он смеется, но это ничего не значит. Смеху можно научиться, он может прийти со временем. Пьяница Моше, громогласный сумасшедший, вам это подтвердит. Слышите, как он рычит:

— Ну! Чего вы ждете? Вы не на похоронах! Дайте себе волю! Смейтесь же, Бога ради!

Он подает пример. Кое-кто присоединяется. Шломо протестует. Цадок тоже. На них не обращают внимания. Солдаты, несущие охрану на башнях, останавливаются, потом пожимают плечами и снова принимают шагать взад и вперед.

— Громче! — кричит Моше. — Еще громче! Чтоб наш хохот перекрыл весь шум на земле, все человеческие жалобы!

Он хватается за горло кого-нибудь из товарищей, а бывает, и случайного прохожего, и, угрожая тому кулаком, приказывает ему смеяться. Ослушаться его небезопасно.

— Видал я и тюрьмы, и ночлежки, и дворцы для бедняков, — объяснил он мне однажды. — Там я оставил свои слезы. Слезы радости, горести, бессильного бешенства, слезы детства и слезы юности. Их у меня больше нет. Остался только смех.

Здоровенный Моше отличается необычайно кротким нравом. За доброе слово он отдаст вам все – свою рубашку, свою долю счастья. Если кто-нибудь из нищих заболсет – он пойдет просить милостыню вместо него. Опасен он только тогда, когда у него случаются проблески сознания. Иной раз он их подавляет и просит, чтобы его заперли.

Рассказывают, что в него была влюблена молодая красивая женщина из хорошей семьи. Он должен был на ней жениться. Вечером накануне свадьбы они долго гуляли вместе. У Моше был отсутствующий вид. "Ты далеко от меня". – "Да, я далеко". – "Возьми меня туда. Я хочу быть с тобой". – "А ты не боишься?" – "Боюсь, но это ничего". И тогда он стал рассказывать ей одну историю за другой. Она не смогла удержаться от слез. Он это заметил. Свадьба не состоялась. Уверяют, что невеста ждет его и поныне.

Что касается его военных подвигов, то, по слухам, их было много и очень заметных. Он был добровольцем-десантником и участвовал во всех операциях. Пули так и свистели вокруг него, кося офицеров и солдат, но он никогда не соглашался ползти, он не хотел даже пригнуться: он шел в атаку с винтовкой наперевес, высоко подняв голову. Наконец, пуля его настигла, он упал со смехом и продолжает смеяться до сих пор.

Выйдя из госпиталя, он отправился в Иерусалим, в Старый город, и закрылся в разрушенной теперь синагоге, насчитывающей десять столетий; с шестнадцатого века тут зажигали свечу в память о рабби Калонимусе. В 1520 году рабби Калонимус спас свою общину, воскресив арабского мальчика. Когда нашли труп ребенка, поднялся крик: "Евреи, ритуальное убийство!". Уже готовилась резня. Но арабский мальчик, которого рабби Калонимус воскресил, указал своего настоящего убийцу. Свеча в память об этом чуде горела до самого 1948 года – когда пал Старый город Иерусалима – и, по слухам, вновь зажег ее не кто иной, как Моше. Он якобы сказал: "Видишь, рабби? Иной раз для того,

чтобы остаться в живых, приходится не воскрешать, а убивать". По другой версии, он обратился не к Калонимусу, а к пророку Илье — Элияху ха-нави — чье имя носит другая синагога. Древний рассказ: было время, когда в Иерусалиме осталось очень мало евреев, недостаточно для того, чтобы наполнить все молитвенные места. Накануне Иом Киппура их собралось только девять, а поскольку для *миньяна* необходимо десять человек, они не могли начать богослужение. И тут откуда ни возьмись появился неизвестный старик, который после молитвы исчез бесследно; и тогда люди поняли, что это был Элияху ха-нави, растроганный горестью тех, кого он должен был утешать. "Видишь? — якобы сказал ему Моше. — Я привел больше евреев, чем ты. Признай, что и смех тоже способен творить чудеса". И пророк, давая ему благословение, ответил: "В наши дни, Моше, смех сам по себе чудо, притом самое удивительное".

Как-то раз, когда я слонялся под Стеной, мне бросилось в глаза, что у Моше-пьяницы совершенно несчастный вид.

— Что-нибудь не в порядке? — спросил я.

— Пора бы им уже перестать! — раздраженно ответил он.

— Кому пора?

— Да ангелам, кому же еще?

И он рассказал из Мидраша: когда Тит бросил свои легионы на Иерусалим, ангелы, числом шесть, спустились с неба на Западную Стену Храма. Они стали плакать, и слезы их, поглощенные камнями стены, все еще в ней текут.

— Пора им перестать! — сказал Моше. — Ангелы тоже должны уметь смеяться.

— Моше, твоя ли это забота — ангелы? Пусть уж они сами разбираются.

— А кто моя забота? Люди?

— Да, люди.

— Кто-нибудь, в частности?

— Да, Моше. Его зовут Катриэль.

— Кто он?

— Не знаю, Моше, не знаю. Иногда мне нравится думать, что моя судьба связана с его судьбой. Только он не умел ни плакать, ни смеяться.

— А ты умеешь?

— Я учусь, Моше, я учусь.

— Расскажи про Катриэля. Чтобы помочь ему, я должен знать побольше.

— Это товарищ по оружию. Вместе были на войне.

— И это все?

— Это все.

Я бы с радостью говорил и говорил о нем, только это нелегко. Катриэль — мое собственное безумие, мое наваждение. Может, я его просто выдумал. Нужно было бы иметь доказательство, но кто даст мне его теперь, когда война окончена?

— Ну, так как же? — нетерпеливо спрашивает Моше. — Ты хочешь, чтобы я ему помог, или ты этого не хочешь?

— Да, — говорю я. — Ему это необходимо, да и мне тоже. Но где его искать? Вот в чем трудность!

И все-таки, он должен был существовать. Помнится, я даже завидовал ему. Для него все было просто. У него был отец, который его направлял, и любимая женщина, о которой он умел говорить, как умел говорить обо всем, что его касалось. А я немало женщин любил на своем веку, иногда даже с отчаянием, и говорил о них с чувством неловкости. Для меня всякая сердечная эскапада была непременно связана с тайной. Пьяный от чувства вины, иссохший от желаний, я избегал легких связей и замыкался в одиночестве, наполненном угрызениями совести. Кто такой Катриэль? Человек, которым я хотел бы быть. Для которого существовала линия раздела между жизнью и смертью, между любовью и предательством. Я так ему завидовал, что в конце концов усомнился в его существовании.

— Хочешь молчать — молчи, — обиженно сказал Моше. — Но если так, то я вернусь к своим ангелам.

Спорить с ним бесполезно: он упрям и нетерпим, как святой.

Воспользуемся его уходом, чтобы представить вам Дана, который ни в чем на него не похож. Худой, сдержанный, высокомерный. Высокий, слегка сгорбленный; шаг размеренный; изображает во всем разочарованного миллионера; кумира, свергнутого с пьедестала. Минутами он напоминает мне Катриэля, но, по правде говоря, его мне напоминает любой член нашего товарищества.

Забавный человек. Ему хочется быть элегантным и непохожим на других. Чтобы не помять свой потертый костюм, он предпочитает все время стоять на ногах и никогда не позволяет себе присесть.

Руки у него длинные, узкие, взгляд снисходительно-умный; похоже, что он жалеет того, кого удостаивает своим вниманием, а еще больше — мир, который отказывается выслушать его самого. Он, как все считают, неврастеник, мошенник, бродяга и мифоман, каких мало. Сам же себя он считает принцем, откуда и его прозвище.

Что касается чужих рассказов о нем, то Дан не находит нужным ни опровергать их, ни подтверждать. Он только поднимает брови с удрученным видом, вздыхая о том, как мало у его противников воображения. У него-то воображения хватило бы на всех.

Перед началом военных действий он забросал министров и генералов предложениями финансовой и военной помощи. На веленовой бумаге со своим именем и титулом он собственной рукой написал множество конфиденциальнейших и срочнейших меморандумов и проектов. Его послания остались без ответа, но это его не обидело. Напротив: он усмотрел в этом добрый знак.

— У меня прекрасные новости, — сообщал он товарищам. — На последнее письмо опять не было никакой реакции. Это доказывает, что все в порядке. Иначе меня бы вызвали наверх, верно?

— Совершенно очевидно, — вежливо отвечал собеседник.

— Вы понимаете: раз в моих услугах не нуждаются, значит армия и страна готовы.

— Ну, конечно. Само собой разумеется.

Он не мог усидеть на месте: энергия, жажда деятельности прямо-таки распирали его. Вопреки всем своим привычкам и принципам он вступал в разговоры даже с людьми низкого происхождения. Он излагал им свои взгляды на стратегию и на большую политику.

— Не беспокойтесь, — говорил он им. — Все идет хорошо. У меня сведения из самых верных источников. И к тому же в своем сегодняшнем докладе я все это указал.

— В каком докладе?

— Это вас не касается.

— Кому вы его подали?

— Кому положено. Вчера я отправил шесть. Телеграфно. Содержание совершенно секретно.

И, доверительно:

— Все настроены оптимистично. С вас этого довольно. Не настаивайте. Я не имею права сказать больше.

Чтобы вознаградить его, я, поскольку это доставляет ему удовольствие, соглашаюсь признать его принцем. Тем более, что наивность его рассказа превращает его в легенду — одну из тех, которые Иерусалим, со времени своих первых несчастий, разжигает и, если надо, порождает в сердцах людей, осужденных на скитания и вопрошающих — за что и до каких пор.

В день после победы Дан весь лучился от гордости: "Вот видите? Я был прав. Все прошло хорошо". — "А где ты был во время войны?" — "Да везде понемножку". — "На каком фронте?" — "На всех". И, понижая голос: "Понимаете, я должен был все видеть и все записать. Для своих докладов. Те, кого я тут представляю, должны быть в курсе дел, это естественно".

Я думал: почему бы и нет? Все мы вестники, даже если не знаем, кому служим и в чем смысл наших вес-

тей. Если человек — вестник человека, почему бы безумцу не быть вестником Бога?

Вечер еще не наступил. Задумчивая толпа колыхалась на площади. Дан, охваченный энтузиазмом, стал рассказывать мне о своем царстве. Слушая его, я опять становился ребенком. Да, я знал, что существует еврейское царство далеко за темными горами. Его основали десять потерянных колен Израилевых, и защищает его река Самбатсион, которая всю неделю швыряет камни в самое небо, так что никто не может ее переплыть. На седьмой день волны стихают. Но если чужеземец попробует воспользоваться этим, чтобы тайком перебраться на тот берег, его сразу же хватают и судят за нарушение субботы. Потому-то никто из этого царства не уходит живым.

— Все это правда, — вздыхает Дан. — О, я понимаю: логически уже одно мое присутствие здесь доказывает противное. Но пойми, наше суверенное государство находится вне логики. По всем законам разума, оно должно было бы давно исчезнуть: для Истории это — свершившийся факт. Ну, и что? Наши предки, которые там, решили, — для того, чтобы выжить, — обойтись без Истории. Раз она их не хочет — они платят ей той же монетой. И царство живет и смеется и над Историей, и над разумом.

Я сохранил полнейшую серьезность, и это ему понравилось. Он усмехнулся:

— Подумать только, ведь в моей родной стране я был историком. Да-да, там и теперь изучают в университетах мои труды, обсуждают мои теории, мои концепции времени, и восхищаются их оригинальностью. Свой первый труд об исчезнувших цивилизациях я опубликовал, когда мне было пятнадцать лет. Когда мне был двадцать один год, мне уже доверили кафедру. Я был национальной славой, окружающие старались исполнять все мои капризы. Однажды мне захотелось отправиться на поиски десяти исчезнувших колен. Мне предоставили деньги, сотрудников, транспорт. Через несколько лет я добрался до берегов Самбатсион-

на, один. Чтобы переплыть его, я дождался субботы. Меня схватили, и на следующий день я предстал перед царем. Последовал краткий допрос: "Виновен или не виновен?" — "Не виновен, государь". — "Не нарушил ли ты закон субботний, явившись сюда?" — "Да, государь." — "Что ты можешь сказать в свое оправдание?" — "Только одно, государь: я знаю закон и знаю, что ради спасения человека, одного-единственного человека, разрешается нарушить субботний отдых. Так вот, сейчас смертная опасность грозит всему нашему народу".

И я стал рассказывать ему о том, что происходит в еврейских общинах, рассыпанных, разбросанных среди враждебных народов. День за днем я говорил и говорил. Сначала царь и его советники отказывались верить моим словам. Потом они решили, что, в конце концов, не стоит строить себе иллюзий по поводу отношения Истории к тем, кто хотел освятить ее, сделав более человеческой. И тогда во всем царстве был объявлен месячный траур. Собрали армию добровольцев. К несчастью, Самбатсион по-прежнему преграждал им путь шесть дней из семи. Слишком немногие смогли уйти, их было недостаточно, чтобы помочь приговоренным, недостаточно даже, чтобы защищаться самим: все они погибли в бою. Меня же царь удерживал при себе, говоря: "Если уж мы не можем спасти наших братьев в том мире, то, по крайней мере, дай мне узнать их через твои рассказы". Он сделал меня принцем, отдав мне во владение далекое страдание.

Прошли годы. Мир уже оправился от войн, и прежняя моя страна, освобожденная, вернула себе свои воспоминания и свое место среди прочих наций. С помощью новейших технических средств я, чтобы удовлетворить свое любопытство, вошел в контакт с ее правителями и убедился, что меня не забыли. Напротив: я числился пропавшим во время официальной миссии, так что моя посмертная карьера была еще более блестящей, чем прижизненная. Улицы, площади, институты были названы моим именем. Известие о том, что я

жив, как громом поразило сначала мою страну, потом границу. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что произошло, когда было объявлено об открытии неизвестного царства. Ни одна газета, ни одна телевизионная передача не обходились без моего портрета, без интервью или комментария коллеги, когда-то сыгравшего со мной не одну злую шутку, или ближайшего друга, которого я в жизни не видел, или консьержки, утверждавшей, что она всегда была со мной очень любезна, что нисколько не соответствовало действительности. Все только обо мне и говорили и, что куда более странно, говорили одно хорошее.

— Вы видите? — вскричал президент. — Вы — герой дня, да что я говорю — дня: месяца, да нет, целого поколения! Белый дом приглашает вас на уик-энд, Кремль на парад, ООН требует, чтобы вы выступили на Генеральной Ассамблее. Понимаете ли вы, дорогой друг и согражданин, что происходит? Вы еще не вернулись, и все оспаривают вас друг у друга. Кстати, когда же вы возвращаетесь?

Я ответил не сразу. Я не хотел тут же открывать свои карты. Президент повторил вопрос. Тогда, все взвесив, я сказал спокойным голосом, что решил не возвращаться в страну. На том конце света президент только рот открыл. Я сказал: "Да, вы правильно меня поняли". В ответ ни звука. Я догадался, что он потерял сознание.

Когда он пришел в себя, он прежде всего приказал, чтобы все дело держалось в полном секрете: этого требовали национальные интересы. Потом созвал срочное заседание кабинета. Министры в жизни не видели его в таком состоянии: его трясло от негодования, он только и повторял: "Но что с ним? Как он мог так с нами поступить?". Среди всеобщего ошеломления один министр высказал мысль, что я — коммунистический агент, и мне поручено унижить существующий у нас режим и наших союзников. Другой объявил меня негодяем и правым реакционером, который стремится взорвать правительственную коалицию, проявляющую тен-

денцию к крену влево. Дискуссия приняла опасное направление. Президент взял себя в руки и вмешался: "Забудем о наших разногласиях, господа! Подумайте об ужасных последствиях, которые повлечет за собой упрямство этого безумца. Речь идет о нашем престиже, о нашей безопасности. И потому, его надо привезти обратно, чего бы это ни стоило. Как это сделать — вот вопрос. Единственный. Все остальное подождет". Этот славный президент был из тех руководителей, которым не чуждо чувство реальности. Бесконечное количество решений было рассмотрено и отвергнуто. Не имея дипломатических отношений с затерянным царством, правительство не имело возможности ни угрожать ему, ни улаживать его; оно не могло даже предъявить требование о моей выдаче. Послать тайных агентов, чтобы меня похитили? Они не сумеют переплыть Самбадион.

В конце концов, отчаявшись, президент сделал последнюю попытку. Он обратился к моему здравому смыслу: "Я говорю с вами, как мужчина с женщиной. Вас любят, вами гордятся. Вернитесь, и все ваши желания будут исполнены". — "Нет", — сказал я. "Но почему? Что вы хотите получить или совершить? Какие у вас требования, какие условия?" — "Никаких". — "Я вам не верю, я не верю в бескорыстные поступки, в красивые символические жесты. Если это шантаж, скажите: я приму ваши условия". — "Нет, — сказал я, — дело не в этом". — "Тогда в чем же дело, черт возьми?" — "Я вам уже сказал, мне неохота возвращаться, и все тут. Почести, награды, празднества, которые вы мне обещаете — все это кажется мне отсюда бледным, не имеющим никакой цены и никакого веса".

Вероятно, президент стиснул зубы и кулаки, чтобы сдержать свою ярость. Я продолжал: "Ваша страна, да и все страны, все системы — вызывают во мне отвращение. Люди перестали быть людьми: они делают друг другу все больше и больше зла, внушают друг другу все больший и больший ужас. Братство, солидарность: какая печальная шутка! Покажите мне общество, в

котором можно жить, и я отправлюсь туда; покажите мне хоть какой-нибудь спокойный уголок, и я туда вернусь. Но этого нет нигде, и вы это знаете. Вся ваша вселенная рушится под гнетом ненависти и насилия. На смену вчерашней катастрофе завтра придет другая, и она будет тотальной". — "Но ведь так было всегда! — воскликнул президент. — С тех пор, как стоит свет..."

"Действительно, — сказал я, — так было всегда. Знание и боль идут рука об руку. Чем больше знаешь, тем больше отчаиваешься. Чем дальше идешь вперед, тем больнее наталкиваешься на огромность зла. Не перебивайте меня. Я знаю, что, как вы уже сказали, так было всегда. Ну и что? Я говорю: пора кому-нибудь возмутиться и закричать, да так, чтобы все услышали: нет, я в это больше не играю!" — "Так сделайте это здесь, другие делали это прежде, и еще будут делать потом!" — "Это не одно и то же. Видите ли, раньше человек мог бежать от опасности, от бесчеловечности в другой город, в другую провинцию, на другой континент, наконец. А сегодня идти уже некуда, спрятаться негде. Вот почему вы посылаете человека, как гонца, как разведчика, в космос и в глубины океана: все потому, что земля везде горит у вас под ногами. И не восхваляйте мне благодеяния и идеалы научных поисков: все ваши ученые, вместе взятые, не в состоянии дать спокойствие, не говоря уже о счастье, даже одному отдельно взятому человеку, зато с легкостью могут уничтожить всех без исключения людей нашей планеты. И вы серьезно хотите, чтобы я, по собственной воле, вернулся в вашу пороховую бочку? Вы на всех парах несетесь к самоубийству, да еще хотите сделать меня сообщником?"

Президент задыхался. Я услышал, как он бормочет: "Он сошел с ума, право же, он сошел с ума". — "Гениальная идея!" — воскликнул один из министров.

Измученный президент не сразу уразумел красоту решения, которое сам невольно предложил. Потому-то он этим очень гордился. Перенесенные в экспедиции лишения и долгие годы в пустыне лишили меня

разума: вот какое объяснение предложил пресс-секретарь, выступивший со специальным коммюнике. И общественность поверила. Она ни о чем не подозревала. К восхищению героем, которое она всегда испытывала, прибавилась еще и жалость к мученику. Работники информации хорошо справились со своим делом.

Но я не питал к ним ненависти. Они сделали свой выбор, я сделал свой. Я научился вообще больше не думать об этом. Все полагали, что я нахожусь взаперти, на лечении и под наблюдением, на самом же деле я был свободен и счастлив и пользовался царскими милостями. Из своего дворца я видел горы Тьмы, сквозь которые не может проникнуть даже солнечный свет.

— Можешь смотреть на них, сколько хочешь, — говорил мне царь. — У нас ты можешь на все смотреть и все любить, ничего не боясь; у нас удивительное не перестает удивлять.

Дан преобразался, когда описывал свое царство, то самое, куда очарованный ребенок во мне когда-то стремился проникнуть. Я ему завидовал.

— Почему ты оттуда ушел?

— Я должен был уйти. Сам царь поручил мне миссию исключительного значения: отправиться сюда и решить, является ли его вмешательство необходимым. Прощаясь, он обнял меня и сказал: "Если нашим братьям грозит опасность, предупреди меня своевременно, и мы примем необходимые меры". Он немного проводил меня, потом положил руку мне на плечо и пожелал доброго пути. "На этот раз постарайся принести нам иные рассказы". Я до сих пор чувствую его руку на своем плече.

— Когда ты считаешь вернуться?

— Скоро. Как только здесь все придет в порядок.

— А меня ты возьмешь с собой?

— Охотно. Путешествие будет коротким, но изнурительным. Путь полагается проделать без багажа. Но как только ты туда приедешь, ты будешь жить по-другому. Тебе почудится, будто ты вернулся на две тысячи лет назад. Словно никогда не было ни крестовых похо-

дов, ни инквизиции, ни погромов. Словно не было Катастрофы. Соблазняет тебя такая перспектива?

Я ответил утвердительно и солгал. Я знаю, что не уеду отсюда, — пока еще не уеду. И он не уедет. Мы не хотим уехать. Почему? Может быть, не хватает инициативы или воображения? Возможно. А может быть, и он кого-нибудь ждет? Как Шломо. Как я. Вот почему каждый вечер Дан подходит ко мне: чтобы я видел, как он, с высокомерным и безутешным видом, который так ему идет, мечтает о воображаемом царстве, где такие принцы, как он, могут любить ночь, ничего не боясь.

III

Страх. Он родился от войны, но он пережил войну. Как известно, о нем начинают рассуждать только потом. Ясновидящих он ведет к экстазу, безумцев – к пропасти. Нищие забавляются тем, что славят его, кляня и ругая, и прогоняют его тем же способом.

Сегодня вечером лучше всех о нем говорил Ицик, шофер грузовика, сложенный, как колосс.

– Я, братцы, расскажу вам, что такое страх. Это тот зверь, которого надо убить прежде, чем убивать. Иначе ты пропал. Да вот, взять хоть меня. В Синае, у самого Эль-Ариша черт послал мне парня выше меня вдвое, а это, прямо скажем... В общем, я и сейчас дрожу, когда о нем вспоминаю.

Он иллюстрирует свои рассказы движениями и мимикой. Тело принимает в них не меньшее участие, чем голос. Может, потому, что он один из немногих, чьи воспоминания относятся к недавней истории. Прочие хотят быть современниками своих предков и потому никогда не согласятся ограничить себя настоящим. На хронологическую истину им наплевать. Им плевать, что то, о чем они рассказывают, приключилось с другими людьми во времена давно минувшие: они все равно утверждают, что пережили все сами. Истории Ицика имеют то преимущество, что они правдоподобны, ибо помещены в недавнее прошлое.

– Ох, и здоровенный это был парень, – говорит Ицик, сплевывая себе на руки. – На бедре пулемет, как у меня. Мои товарищи были уже далеко, да и его тоже. И мне тот кусочек пустыни, между дюнами, показался куда больше всей пустыни. Стоим и как ду-

раки смотрим друг на друга. Со злостью, с ненавистью. Палец на гашетке. У меня, уж поверьте, ноги стали ватные: бедный Ицик, не повезло тебе; последний человек, которого ты увидишь, уходя из этого идиотского мира, будет твой убийца. И тут я завопил, и мой пулемет выплюнул все, что в нем было. Получилось, что я счастливо отделался.

— Это оттого, что ты завопил, он и умер, — говорит Шломо-слепой.

— Ты что, чокнутый? Я завопил от страха, вот отчего. Я завопил, чтобы свой страх убить, вот что. Убить страх, чтобы стрелять, убивать, жить. Если б тот парень подумал не обо мне, а о моем страхе, он бы меня прикончил, а не я его. Мой страх был его союзником, его пятой колонной, как говорят образованные. Он шел впереди него, он пробивал броню и приглашал пулю: войди! Вот почему я завопил: чтоб отвлечь его. Чтоб он думал про меня, а не про мой страх.

— Это оттого, что ты завопил, он и умер, — упрямо говорит Шломо. — Ты захватил его врасплох. Он наверное сказал себе: надо же, я и не знал, что Смерть умеет так вопить. Ты стрелял уже по трупу.

Ицику кажется, что задета его честь, и он начинает сердиться.

— Ты хочешь сказать, что я не исполнил своего долга? Что меня кто-то спас? Может быть, ты меня спас?

Яков, вечный примиритель, пытается его успокоить

— Да что ты от него хочешь, Ицик? Ты наш герой, ты сам знаешь. Просто Шломо хочет сказать, что во время войны людей иногда убивает храбрость, а иногда страх.

— Ну, если так, то порядок, — говорит Ицик, приходя в хорошее настроение. — Я не понимаю, конечно, что это значит, и уж давно не понимаю, какое это имеет отношение ко мне, но я парень покладистый: извинения и комплименты я принимаю, даже если ничего не могу в них понять.

Молодой офицер, летчик, широко открывает глаза.

— Вы... вы в самом деле участвовали в войне?

— Ох, паренек! — укоризненно говорит Ищик. — Побольше уважения! Я нанюхался пороху куда раньше, чем ты, да и побольше, я думаю.

Смущенный офицер бормочет слова извинения, прочищает горло и говорит:

— Меня этот вопрос волнует. Что притягивает гром: страх или отсутствие страха? Другими словами: кого надо опасаться в бою — сорви-голову, которого ничто не пугает, или увальня, который вздрагивает от малейшего шума? Оба могут тебя погубить — один своим безрассудством, другой своей осторожностью. Потому что есть такая точка, где слабость и храбрость стоят друг друга и взаимно уничтожаются.

— А где эта точка? — спрашиваю я.

— Не могу сказать.

— А я знаю, — говорит Моше-пьяница. — В смехе.

— В молитве, — возражает Цадок.

— В дерзости, — говорит Велвел.

Летчик, сидящий рядом с Велвелом, потирает лоб и бормочет:

— Вы смеетесь надо мной.

Велвел, наш вечный клоун, толкает его локтем:

— Пари держу — нет.

Летчику не по себе, но, не желая этого показать, он принимает условия игры:

— Ладно. Допустим, вы меня не разыгрываете. Вы довольны?

— Хочешь держать пари, что...

Держать пари — это мания нашего Велвела, кривого карлика. В бомбоубежище, во время обстрела Иерусалима, он снял общее напряжение, поддразнивая школьника, побелевшего от ужаса: "Давай держать пари, что ты не захочешь держать со мной пари".

— В отличие от всех вас, почтенные сотоварищи, я признаюсь, что ноги моей не было на фронте, — заявляет Велвел. — Не по моей вине. У меня слишком чувствительные уши: они не переносят шума. Но это ни-

чуть не мешает мне дрейфить даже на расстоянии. Вы хотите знать, как я справляюсь со страхом? Да очень просто. Я себя вызываю: хочешь пари, что ты трусишь? И в результате я непременно выигрываю.

Летчик вежливо смеется. Он уже не знает, что думать, у него сердитый, раздраженный вид. Но когда он пытается встать, Ицик удерживает его своей тяжелой рукой.

— Паренек, смотри у меня! Не будь невежлив со следующими ораторами!

До чего же он смешной, этот Ицик, когда он напускает на себя важный вид! Конечно, наши товарищи не мастера говорить, но зачем же преувеличивать их недостатки и обзывать их ораторами? Ведь и молчание их достаточно красноречиво. Они склонны к фантазиям, участливы и капризны. Они просят слова, получают его и тут же передают товарищам. Послушайте Эзру бен Аврахама и скажите, оратор ли он. Разве он берется рассуждать о философии или о политике? Нет. Разве он хочет что-нибудь доказать, кого-нибудь убедить, кому-нибудь понравиться? Да нет же. Он только рассказывает о своей нечаянной встрече с султаном, могущественным и грозным султаном, который забрал себе в голову обратить его, Эзру, в мусульманство.

— Это было ужасно, братцы, повторяю: ужасно! Что только он мне ни предлагал! Дочку в жены и полцарства в качестве свадебного подарка. Я отвечал, что дочка его слишком прекрасна, а царство слишком велико для такого старого еврея, как я. К несчастью, я имел дело с упрямым султаном: ему своя прихоть была дороже подданных. Я сказал, что такой набожный еврей, как я, никак не сможет быть хорошим мусульманином, и к тому же я уже женат. Ничто не помогало. Наконец, когда крыть уже было нечем, я сказал, что его дочка заслужила в мужья отважного воина, героя, а не такого несчастного запуганного старика, как я. "Лжешь! — вскричал он. — Ты нарочно выдумываешь себе недостатки, чтобы отвергнуть мое предложение". — "Клянусь, я не лгу!" Короче говоря, он прика-

зал меня казнить. Тогда я стал плакать, и — хотите верьте, хотите нет — слезы меня спасли. Султан увидел в них доказательство моей слабости и, следовательно, моей искренности, и помиловал меня. ”Я вижу, что ты мне не солгал, ты действительно не заслуживаешь предложенной тебе чести”. И выгнал меня из дворца и из города. Вот видите: иногда поплакать бывает полезно.

— Это что! — перебивает Моше. — Вот я вам расскажу! Один христианнейший король, эрудит, каких мало, пригласил нашу общину для богословского спора. Ему, бедняге, было скучно. А когда короли или народы скучают, это для евреев плохо. Нам часто случалось оказываться самым лучшим — и самым недорогим при этом — средством против скуки. Да и теперь случается. Они называют это богословскими занятиями. Ну, ладно. Нам дали месяц, чтобы подготовить своих делегатов и их речи. Месяц тревог и бессонных ночей. Первый вопрос: кого послать? Второй вопрос: какую линию поведения выработать? Поручить ли эту, столь тонкую, столь чреватую последствиями миссию самому умному или самому невежественному? О чем молиться: о победе или о поражении? Одни говорили: ученых у нас хватает, пусть исполнят свой долг: дело идет о нашей вере, ее надо защищать, чего бы это ни стоило. Другие, умеренные реалисты, возражали: честь спасти — это хорошо, но разве можно быть уверенным в том, что король не захочет отомстить за победу евреев над своими прелатами? И так как люди не могли прийти ни к какому решению, я предложил свою кандидатуру. Нужно ли вам говорить, что все так и покатились со смеху. Один раввин сказал: ”Я понимаю, что у такого пьяницы, как ты, достанет храбрости, но для такого дела одного нахальства недостаточно”. Я отвечал: ”Это правда, наших священных текстов я не знаю, а их книг и подавно; но зато я обманщик, как никто”. И я их уговорил. Мне это удалось, потому что я объяснил: если я проиграю, все свалят на мое пьянство; если выиграю, то сам король решит, что

это шутка, и придется ему быть милосердным, чтобы люди над ним не смеялись. И вот в назначенный день пошел я в собор, а там и сановники в раззолоченных одеждах, и монахи с суровыми глазами, и придворные, раболепные и смешные, — короче говоря, полным-полно народу. Отродясь я не был так пьян — и отродясь не видел такого почета. Мне и в голову не могло прийти, что эти важные люди отложили все свои дела и пришли сюда только для того, чтобы увидеть и послушать меня. Я-то никого не слушал и ничего не слышал. То ухвачу с трудом какую-то запутанную фразу, то какое-то слишком уж простое обвинение: ничего я в этом не понимал. И что сказать вам, братцы? Мое спокойствие произвело на них большое впечатление. Моя уверенность поколебала уверенность моих противников. Когда пришла моя очередь излагать, я их смутил еще больше. На сердце у меня было легко, может быть, даже слишком, избыток знаний не давил на меня, я говорил совершенно свободно, не вдаваясь в их аргументы. А насчет моих собственных доводов мы уж лучше помолчим. Я говорил, что попало, но с большим апломбом, а великие мыслители из вражеского лагеря были уверены, что я цитирую Бог знает какие ученые труды. Ясное дело, они спутались, и их доказательства стали такими же невнятными, как и мои. Хоть и забавный это был диспут, его все-таки прикрыли раньше назначенного времени. А король, который в жизни своей так не смеялся, подарил мне бочку вина, но зато запретил появляться на людях. Мораль: ни одна община не могла бы существовать без пьяниц.

— Мне пора уходить, — пытается улизнуть летчик; с него пот катит градом.

— Не раньше, чем ты услышишь Залмана, — говорит Ицик.

— Однажды, — начинает Залман, — к нам в полк пришел Иехуда. В жизни не забуду его речь. Он учил нас побеждать страх, не прибегая к помощи храбрости. "Зачем натравливать два человеческих чув-

ства друг на друга? Пусть они лучше будут союзниками”.

— О да, это был замечательный солдат, — говорит какой-то почитатель.

— Иехуда? Какой Иехуда?

— Ты не знаешь? Иехуда Маккавей!

— А, ну да, ну да, — говорит летчик.

— Хочешь пари, что ты ничего не понимаешь? — предлагает Велвел.

— А Бар-Кохба, помните? — меланхолически продолжает Залман. — Когда он поднял знамя восстания против римлян, он вызвал меня в свой штаб в горах и...

— Ну, конечно, — усмехается летчик. — Бар-Кохба... Рим...

— Имей уважение, — ворчит Ицик. — Слышишь, паренек? Рядом с нами ты еще мальчик.

— Ах, уж эта мне нынешняя молодежь! — замечает Залман. — Видит только то, что ей показывают ее собственные глаза. Ты, юноша, знай, что мы тут дрались, когда тебя еще и на свете не было. Вавилоняне, греки, римляне, крестonosцы, мусульмане... Все войны, которые ты проходил в школе, — все эти войны мы прошли с оружием в руках. И если ты этого не знаешь, то напрасно теряешь время, стараясь нам подражать.

— Ну, конечно... Вавилоняне. Халдеи. Финикийцы. Давай-давай. Список длинный.

На летчика жалко смотреть. Пот с него льет в три ручья. Он начинает сомневаться, в своем ли он уме. Нервничать не стоит. Он решает: когда мимо пройдет патруль, он позовет на помощь. А до тех пор будет сидеть тихо.

Велвел ведет всю игру, и по его знаку начинается веселье. Нищие бьют в ладоши, сумасшедшие бормочут бессмысленные фразы. Патруль, идущий мимо, останавливается послушать. Летчик говорит себе: наконец-то! И молчит. Патруль идет дальше. Отчего он промолчал? Он и сам не знает. Попал в ту же сеть. Будет теперь, как и мы, ждать. А рядом Стена, таинственная,

такая близкая Стена словно втягивает в себя наши скользящие тени. Велвел принимает за меня:

- А ты почему ничего не рассказываешь?
- Я больше люблю слушать.

Он не оставляет меня в покое. Рассказать о Катриэле? Признать, что он боялся? Да они будут смеяться. Велвел крикнет: "Да ты нам надоел со своим Катриэлем! Что он такого героического сделал? Какие цепи разбил, чье могущество вызвал на поединок?". А что ответить? Поймут ли они, что как раз простота Катриэля и делала его таким удивительным?

- Я вам расскажу историю.
- А она будет про страх?
- Да, если угодно.
- Но, по крайней мере, это правдивая история?
- Конечно. Все наши истории правдивы.
- Ну, ладно. Начинай.

Я рассказываю историю трех патриархов, отцов человеческой цивилизации, о которых написано, что им поручено обходить землю от восхода до заката и от заката до восхода и сообщать наверх о вечном страдании народа, вечно избираемого для лучшего и для худшего.

И вот в один прекрасный день они предстали перед престолом небесным для доклада. Бог встретил их улыбкой:

- Что нового?
- Сегодня, Господи, у нас нет никаких замечаний, – радостно сказал Авраам.
- Не в чем Тебя упрекнуть, – задумчиво сказал Ицхак.

– Да, Ты сдержал свое слово, – тихо сказал Яков, сам изумляясь безмерности того, о чем говорил.

Из ряда вон выходящее событие: опять судьба Израиля пошла согласованно с Богом Израиля.

Новость распространилась быстро. И конечно же на небе наступило большое ликование. Ангелы и серафимы превзошли самих себя, слагая славословия и песнопения; начались танцы; вселенная опьянела от

радости. Воспользовавшись случаем, грешники в чистилище испросили себе сокращение сроков и амнистию. А реалист Сатана забился в угол в своей тьме, и скрежетал зубами, заткнув уши.

— А где Мессия? — спросил вдруг Господь. — Почему он не радуется вместе с нами?

Михазль, ответственный за судьбу Израиля, пошел за Мессией и тут же вернулся, задыхаясь:

— Исчез! Его нет в его святилище!

Крик изумления и ужаса. Певцы перестали петь, мудрецы перестали размышлять. Три патриарха в страхе переглянулись. Только Бог остался спокоен.

— Неисправим, — сказал Он отеческим тоном. — Слишком нетерпелив. Но можно ли на него за это сердиться?

И тут же перебил Себя и сказал сурово:

— Немедленно приведите его ко Мне! Если понадобится, примените силу!

Так и было сделано. И при всем своем окружении Господь спросил беглеца:

— Ты откуда?

— Из Иерусалима, Господи!

— Опять пытаешься Меня поторопить! Опять стараешься ускорить ход истории?

Бледный и подавленный Мессия опустил голову и не ответил.

— Итак? — раздался громовой голос Господа. — Ты даже не оправдываешься?

— Он опять сошлется на смягчающие обстоятельства, — тихонько пошутил Сатана.

— Я боялся, — сказал Мессия. — Боялся за Твой народ. И... и я не мог иначе. Я только пошел за ними...

— За кем?

— ...Я не мог оставаться позади. Когда я увидел их — толпы и толпы, все такие суровые, такие упорные, увидел, как они все спускаются на землю, чтобы помочь своим детям, которые ведь и Твои дети тоже, — я не мог не присоединиться к ним, и стал одним из них.

Воля их сильнее моей и Твоей, и любовь тоже. Чего Ты хочешь, Господи? Их было шесть миллионов.

И оттого, что голова его была опущена, он не мог увидеть, что его предки улыбались ему с гордостью, а может быть и смущением: во время жизни предыдущего поколения они попытались сделать то же, что он, но им это не удалось.

— А ты его видел? — спрашивает Шломо, мой слепой друг.

— Нет, — отвечаю я.

Мы все замолкаем. Невероятно, но даже Велвел не воспользовался молчанием, чтобы предложить пари.

— Я его видел, — говорит Цадок.

Все взгляды устремляются на него. Смущенный Йеменит глубоко вздыхает и добавляет:

— Во сне.

Шломо, в свою очередь, просит слова.

— Я хотел бы вам рассказать о своей встрече с Иехошуа. Помните его? Ни в чем неповинный проповедник, у которого на устах только одно слово и было: любовь. Я его видел в тот день, когда его распяли. Недалеко отсюда.

— Распяли... — бормочет замороженный летчик. — Недалеко... Иехошуа... Вы все с ума сошли...

— Я к нему подошел и говорю: "Нет, не тебя я буду ждать". Казалось, он был спокоен, в мире со своей душой и со всем мирозданием. Я попытался объяснить ему, что не в первый раз еврей умирает за свою веру, но другие мученики шли на смерть плача и крича от боли. Для них и для нас смерть — любая смерть — ужасна и не заслуживает освящения. Всякая жизнь священна, и радостно расставаться с нею — нечеловечно. "Ты сердисься? — спросил он. — На меня?" — "Нет, — сказал я, — я не сержусь, я только грущу". — "Из-за меня?" — "Да, из-за тебя. Ты думаешь, что страдаешь за меня и моих братьев, а на самом деле нам придется страдать за тебя и из-за тебя". Он не хотел в это поверить. Тогда я расписал ему то, что будут проделывать его последователи во имя его, распространяя его сло-

во. Он залился слезами отчаяния. "Нет, нет, так не будет! Не таким представлял я себе царство моего духа!" Рыдания его надрывали мне сердце, я так хотел бы ему помочь! Я стал умолять его повернуть назад, вернуться к своему народу. "Слишком поздно, — сказал он. — Брошенный камень уже не остановишь. Зажженная искра может только угаснуть". И под конец я плакал уже не только о нас, но и о нем.

— Лучше б ты его рассмешил, — сердито говорит Велвел.

Летчик вытирает платком лоб; наверное, он все-таки сходит с ума. А может быть это уже произошло, и он уже — сумасшедший?

IV

За несколько недель перед тем, сидя на командном пункте *сган-алуфа* Гада я говорил себе, что все кончено: болезнь, загнанная внутрь, унесет меня наконец. Война поможет мне закрыть лицо и уйти, подобно призраку, вместе с видениями и страхами, неизменно умирающими на рассвете. Гад делал вид, что ни о чем не догадывается. Задерганный начальниками, замученный подчиненными, под непрерывный звон телефона он пытался объяснить мне, что мне не место в ударном батальоне, направляющемся на фронт. Почему? Слишком опасно.

– Ты шутишь, надеюсь?

– Нет, – сказал Гад.

Я тихо улыбнулся: много лет уже я гоняюсь за смертью.

– Значит, ты думаешь, что я не сумею встретить опасность?

Гад сузил глаза:

– Не в этом дело.

– А в чем же дело, Гад?

– Гражданским людям нечего делать на фронте.

– Это маленькая страна. Фронт всюду.

Он помрачнел:

– У меня нет времени дискутировать. Поговорим об этом в другой раз. Не теперь.

Я стоял на своем:

– Мне жаль, парень, что я тебе надоедаю. Но предупреждаю: тебе от меня не отделаться.

Он пристально посмотрел на меня, потом устало махнул рукой, и я понял, что он сдался.

— Надеюсь, — сказал я, — что врагам ты будешь сопротивляться успешнее, чем друзьям.

Наша дружба, завязавшаяся еще в студенческие годы, осталась нерушимой. Она родилась в послевоенной Европе. Он приехал туда из Палестины, я — из проклятой земли. Он описывал мне Иерусалим, я ему — мир диаспоры, его очарования и бедствия, его мудрецов и детей, унесенных бурей.

Мы были подростками, ищущими подростками; целыми часами мы бродили по садам и по улицам, серьезно и страстно рассуждая о целях мироздания и о человеке, который их определяет и освящает. Все становилось открытием, первой радостью или острой болью: роман, стихотворение, незнакомая дорожка, на которой мы надеялись встретить бессмертного старика, безумца без возраста, который станет нашим руководителем. Вместе мы прилежно старались различить отблеск первоисточника, вместе взвешивали pro и contra, налагаемые на человека добровольно принятыми обязательствами, вместе копили опыт вопрошания, сомнения и гнева.

Мы были в том возрасте, когда малейшее происшествие непременно наталкивается на метафизические проблемы. У нас не было никакого кружка, мы не принадлежали ни к какой организованной группе. Искать приключений не стоило — это для ребятишек; женщины — только трата времени. Любовь — опасный компромисс, признание в слабости, преждевременный конец, отречение, потому что она, по определению, особым образом связывает человека с другим существом. Мы были честолюбивы и наивны; мы стремились дальше, выше. Мы бежали от простого и легкого. Мы еще не знали, что за некой чертой такой вызов превращается в ловушку. Мы были одержимы целью — и презирали дорогу, ведущую к ней; мы не знали еще, что человеку свойственно приспособлять одно к другому. Мир с его земными удовольствиями был не для нас. Только бесконечность заслуживала нашего внимания.

И тогда произошло неизбежное. Ее звали Лия. Темные волосы, вздернутый нос, насмешливый рот, приятная улыбка. Кокетка, умевшая сделать заметными свои таинственные повадки. Студентка, как и мы. Иностранка, как и мы. Оба мы решили, что она тщеславна, зла, эгоистична, манерна и, без сомнения, скучна; одним словом, ее надо избегать. Оба мы стали ее ненавидеть и втайне любить; мы стали подглядывать друг за другом и ненавидеть друг друга. Она же, кроткая и все понимающая, любила нас обоих, правда порознь, даря нам одинаковые посулы и щедроты, и даже нашла время увлечься третьим, вернув нас к нашей дружбе.

Вскоре разразилась Война за Независимость. Гад стал военным, я же остался безродным. Я не был создан для военной формы, я не мог прилепиться к какому-то кусочку земли. Голова моя была в облаках, и облака эти я просил унести меня подальше, как можно дальше. Иерусалим, Галилея, киббуцы: жизнь там имела смысл, и мне казалось, что я не смею принять в ней участия. Стремиться к счастью, к простым радостям означало бы предать вчерашний мир, которому я принадлежал.

— Ты никогда не был солдатом, — сказал Гад, возвращаясь к разговору. — Ты не владеешь оружием. Что прикажешь с тобой делать?

— Ты командир, тебе и решать.

Несколько раз наш разговор прерывало радио, связывавшее Гада с подчиненными ему воинскими частями; оно трещало, не переставая. Офицеры докладывали обстановку, утрясали вопросы, просили уточнений. Многое нужно было решить, подправить, изменить; какие-то приказы надо было отдать, какие-то — отменить. И тут ротный доложил, что ему приходится отправить в госпиталь солдата, который на ученье вывихнул ногу.

— Вот видишь! — сказал я. — Перст судьбы! Эта рота некомплектная; не хватает человека.

Мне казалось, что главный вопрос — кто меня при-

ютит — решил сам собой. И я пришел в отличное настроение.

— Не жди, что я принесу тебе победу, но, поверь однако же, что и не помешаю.

— А устав? Тебе на него наплевать?

— Слушай, старик! Одно из двух: или мы выиграем войну, и все тебе простится, или же мы ее проиграем, и тогда уже ничто не будет иметь значения.

Гад был задет за живое. Он помрачнел. Что-то в нем напряглось и ожесточилось. Он вцепился руками в стол, наклонился вперед и сказал тихо и медленно:

— Одно из двух: или ты остаешься, и тогда будь любезен не думать о возможности поражения, или же ты по-прежнему ищешь смерти, и в таком случае тебе лучше искать ее в другом месте.

Я покраснел и промолчал. Верить в победу? Легко сказать. Я уже ни во что не верил. Опять огонь нас уничтожит, опять мир промолчит. Как всегда. Вот почему я и хотел быть в самом горниле. Я был уверен, что, поставленные перед необходимостью выбирать не между жизнью и смертью, но между двумя видами смерти, мы придем к коллективному самоубийству, как в Масаде, к безнадежному восстанию, как в Варшавском гетто; мы, научившие мир искусству и необходимости выживания, снова будем этим миром преданы. И я запретил себе быть зрителем — или свидетелем этого события.

Гад слишком хорошо меня знал и потому читал мои мысли.

— Два дня назад, — сказал он, — меня посетил молодой заокеанский доброволец. Я задал ему очень простой вопрос. Я спросил, что его сюда привело. Он ответил с ошеломляющей откровенностью: "Желание погибнуть вместе с вами". Он ожидал восторженного одобрения, я же выгнал его из кабинета, предварительно поблагодарив: "Это очень мило с вашей стороны желать погибнуть с нами, но наши национальные похороны — если я смею так выразиться — не состоятся". Ты понял?

Его уверенность меня смутила. Она показалась мне наивной. Факты, друг, ты забываешь про факты. Численное превосходство врага, равнодушие друзей, измена союзников.

— Твоя уверенность граничит с безумием, — пробормотал я.

— Ну, и что? С каких это пор тебя пугает безумие? Меня пугает только смерть.

Я попытался улыбнуться.

— Люди воюют, чтобы умереть, или избежать смерти — это мне понятно. Но нельзя выиграть войну, делая ставку на безумие.

Он на минуту задумался, и свет забытых лет всплыл в его сумрачном взгляде:

— Да что ты знаешь? Ничего ты об этом не знаешь.

Позже, гораздо позже, перед только что отвоеванной Стеной, Гад крикнул мне в ухо:

— Ну? Что я тебе говорил? Можно и смерть прогнать, и войну выиграть, сделав ставку на безумие.

Через несколько часов он был убит.

Воспоминание: когда я болел воспалением легких, я позволил себе горячечный бред: "Знаешь, мама, я не горюю и не боюсь, право же нет, так что и ты не должна. Мне больно, это да, очень больно. Вот тут. И — да — тут тоже. Болит затылок. Болит спина. Кто-то водит раскаленным железом у меня в голове. И в легких. Я горю. Я замерзаю. Но это ничего. Это ненадолго, понимаешь? Так сказал врач. Верь ему. И потом, знаешь ли, не так уж это страшно. Ну, выздоровею, ну, не выздоровею — право же, это не имеет особого значения. Но я не хочу, чтобы меня закопали живым. Только эта мысль меня мучает; она меня убивает. Подумают, что я умер, а я буду кричать, что нет еще, нет еще. Я буду умолять людей из *хевра кадиша*, одетых в черное, не зажигать свечей у моего изголовья, не класть меня в гроб, не читать надгробных молитв, не опускать меня в черную дыру. Я буду кричать: не покидайте меня, не уходите, не надо еще уходить. Никто меня не услышит.

Только Ангел смерти, который слышит все, ибо все ему принадлежит. Он будет смеяться, и я испугаюсь его смеха. А больше я ничего не боюсь, поверь мне”.

И моя мать, которая сидит у моей постели с залитым слезами лицом, стареет и съеживается у меня на глазах. И, страдая, она шепчет и шепчет: ”Тише, дитя мое, тише, тише”.

Когда я выздоровел, я освободился и от страха. Он ко мне вернулся лишь много лет спустя. Но я все еще слышу шепот моей матери, а ее лицо, которое иногда во время моих странствий тускнело, теперь, с тех пор, что я выбрал для своих воспоминаний этот якорь, уже не покидает меня больше. Никогда прежде я не видел ее так близко, так ясно. Иногда она мне улыбается: ”А, ты пришел на свиданье, это хорошо”. Иногда я чувствую что-то вроде упрека: ”Твое равнодушие ко всему мне не нравится, оно меня огорчает”. И пристыженный, я сознаюсь себе, что с самой своей болезни я никогда не говорил ей ничего, или почти ничего, о планах, страхах и честолюбивых надеждах, которыми было пропитано мое детство. Я не виноват. У меня было две матери: одна, будничная, была поглощена своей работой в магазине и на кухне; субботняя же совершенно преображалась и становилась сияющей и недостижимой. Ни одна из двух не вызывала на откровенность. Проходили дни и недели, а я ни за чем к ней не обращался. Конечно, она все знала; ну, и что из этого? Разве это причина, чтобы не открываться ей? Разве знание может заменить разговор? То и другое — части жизни, и никакая связь неполна, если слово из нее исключено. А между тем у меня было, о чем рассказать матери: первое удивление, первый кошмар, первое пробуждение навстречу печали и бедности мира, в который я медленно и невольно погружался. Но в ушах моих все еще слышался ее шепот: ”Тише, дитя мое, тише”.

Дома, с отцом, она нередко говорила о политике и о делах. По-моему, у нее, у моей матери, было трагическое воображение. Она все видела в черном свете. Не

то, что отец. Но я был еще слишком мал, чтобы вмешиваться. Мысленно — но только мысленно — я принимал чью-нибудь сторону. Только один раз я высказался вслух. Это произошло по поводу Палестины.

Это было за субботним ужином. Против своего обыкновения, мама не присоединилась к нам, когда мы стали петь субботние песни. Она показалась мне в тот вечер рассеянной и озабоченной. Наконец, перед тем, как встать из-за стола, она неожиданно заговорила:

— Я все думаю, — сказала она тусклым голосом, — а не надо ли нам все уложить, все продать или бросить и уехать?

— Куда уехать? — спросил озадаченный отец.

— В Палестину.

— Когда?

— Чем раньше, тем лучше.

Она стала перечислять: общее положение ухудшается, ненависть залила всю страну, весь континент. Зло уже здесь, его можно воочию увидеть: в газетах, на стенах, на лицах прохожих, соседей.

— И кроме того, — добавила она, преодолевая внутреннее сопротивление, — у меня какое-то предчувствие, которое мне не нравится. Сердце подсказывает мне — нам что-то готовят; скоро наши враги начнут точить ножи.

Они уже их точили, но отец, ослепленный своей верой в человечество, отказывался это признать.

— Сейчас не средние века, — сказал он. — Сегодня евреи — составная часть общества и цивилизации, так же, как наша семья — составная часть этого города и его истории в течение целых трех веков. Зачем же нам бросать свое добро и своих друзей, когда никто и ничто не вынуждает нас это сделать?

Пожар уже горел, палачи истребляли еврейские общины, но мой отец, с его просвещенным умом и крайним оптимизмом, продолжал утверждать, что в двадцатом веке человечество не унижится до того, чтобы опять приговорить евреев к бесчестию и позору.

На собраниях, на улицах ораторы науськивали обывателей на сыновей народа, который они обзывали богоубийцей, паразитом, а главное — чужим. Люди кричали: "Евреи, в Палестину!" Мой отец делал вид, что не слышит. В школе товарищи к нам придирались, на улице колотили — и все безнаказанно. Совет отца: "Не стоит обращать внимания, всюду есть сволочи, было бы трусостью позволить им управлять нашим поведением". Вскоре по стране распространился новый лозунг: "Смерть евреям!" Комментарий моего отца: "Собака, которая лает, не укусит". Мать несколько раз принималась за свое, и однажды я ее поддержал аргументами, скорее религиозными, чем политическими: Святая земля своим мессианством волновала мою душу еврейского ребенка даже во сне. Эта точка зрения казалась отцу более понятной.

— Если ты хочешь туда уехать, — сказал он, — я возражать не буду.

Я хотел уехать, но не без родителей. Мысль о разлуке показалась мне невыносимой. И мы все остались. Мать перестала вести разговоры на эту тему. Изредка я украдкой ловил ее взгляд: она призывала меня в свидетели.

Несколько месяцев спустя, перед самыми осенними праздниками, я пошел с ней к знаменитому хасидскому раввину, благословения которого она спрашивала каждый год. Она не стала обращаться к писарю, который зарабатывал себе этим на хлеб, а написала просьбу собственноручно, предварительно заплатив писарю, что следовало. Величественный бородатый раввин сказал ей, поддразнивая:

— Итак, ты решила обойтись без моего писаря. Когда-нибудь, Сара, дочь Довида, ты и без меня обойдешься.

— Вам это не грозит, — ответила она. — Я пишу не хуже вашего писаря. Но вы, рабби, вы читаете лучше — или иначе — чем я.

Ответ раввину понравился, он весело рассмеялся. Потом он опять стал серьезным.

— Читать как следует просьбы моих хасидов меня научил отец. Он сказал мне: "Для тех, которым нужно твое заступничество и утешение, ты воплощаешь Стену Плача, в которой, как считают наши мудрецы, скрыта дверь на небо".

Он взял бумагу, которую ему подала мать, и прочел ее, медленно, останавливаясь на каждой фразе, на каждом слове.

— Итак, Сара, дочь Довида, ты хочешь, чтобы твой сын вырос хорошим евреем и чтобы он боялся Бога. А кто тебе сказал, что Бог хочет внушать страх, а не любовь?

— Одно не исключает другого. Пусть мой сын боится Бога и любит людей: вот мое пожелание. Пусть любит Бога через людей — пожалуйста! Я не хочу, чтобы он боялся Его через людей.

Рабби покачал головой и повернулся ко мне. Поглаживая седеющую бороду, он стал расспрашивать меня о моих занятиях. Он излучал такую доброту, что я, как ни был застенчив, сумел отвечать ему не путаясь. Но на последний его вопрос я так и не смог ответить:

— Что такое хороший еврей?

— Не знаю, рабби.

— Это человек, который, думая о себе, говорит себе: не знаю.

Перед тем, как нас отпустить, он приказал мне приблизиться и пристально на меня посмотрел:

— Ты еще маленький, ты вырастешь. Ты увидишь такие вещи, которых ни я, ни твоя мать и представить себе не можем. Знай, что мы их увидим твоими глазами.

Я не понял — до того я еще был невинен — что это не было благословением.

Нищие размышляют, сумасшедшие беспокоятся. Каждый опрокидывает или обходит препятствия на свой манер. Цадок молится, Яков дремлет. Кто-то шепотом рассказывает свои сегодняшние приключения. Два старика глухо рыдают, прижавшись к Стене.

Моше встает с места и направляется к ним. Я слышу голос Катриэля, но я знаю, что это не его голос. Почему я о нем подумал? А потому, что у него та же интонация, что и у рабби, хотя он моложе. Я — мост между ними.

В исколотой желтыми дрожащими огоньками полутьме близ Стены я вижу женщину, которая, кажется, ищет свою дорогу и свое лицо. Я вижу ее не видя. Не знаю, молода ли она, озабочена ли. Хочет ли она, чтобы я с ней заговорил, или хочет, чтобы я молчал? Она гасит одну свечку, зажигает другую. Тихая, плотная ночь покрывает Иерусалим, долину и холмы; остался только страдальческий взгляд матери, имя и слезы ее сына, который пережил разрушение Иерусалима, но не в Иерусалиме — в другом месте.

Где-то в горном районе Закарпатья. Недалеко от того места, где когда-то молодой одинокий мечтатель, по имени Исраэль Баал-Шем-Тов усердно и горячо готовился открыть новый путь во славу Всевышнего и на радость Его слугам. Колыбель хасидизма.

Мирный приветливый городок, который ничем не кичится и даже ничем не выделяется. Евреи и христиане много веков жили в нем как хорошие соседи. Родители вместе делали дела, дети ходили в одни и те же школы, а в лесу играли в одни и те же игры. Два раза в год, на Рождество и на Пасху, мы прятались в своих домах: запирали на засов двери, захлопывали ставни. Неосторожному грозило избиение, а то и смерть от руки товарищей, возвращавшихся из церкви. Мы были терпеливы и преисполнены понимания. Два дня в году — это можно перетерпеть. А назавтра все приходило в норму.

Сегодня заперлись христиане. Сегодня их очередь прикидываться невидимками. Как всегда по воскресеньям, они спят, несмотря на поздний час. Некоторые просыпаются от шума, смотрят на улицу сквозь задернутые занавески и говорят себе: какой прекрасный сон!

Евреи встали рано и собрались на площади, а оттуда процессией потянулись к лесу. Они покидают город, не оглядываясь; они не знают, что больше его не увидят. Женщина спрашивает мужа: "Куда нас ведут?". Она не получает ответа. Школьник жалеет, что забыл дома свои книжки. Отец его утешает: "Ты их получишь, сегодня вечером, или завтра". Больной втягивает

воздух и замечает, что будет жарко. Солдат в каске, шагающий рядом, усмехается: "И даже очень!"

Они пересекают лес и останавливаются на краю долины, которая простирается до самого подножия высокой горы. Сержант выбирает двадцать человек, раздает им кирки и лопаты и приказывает вырыть десять широких и глубоких ям.

На траве, в сторонке, сидят убийцы и с удовольствием поглощают свой завтрак. Чудный летний день. Легкий прохладный ветерок играет в вершинах сосен. Евреи прижались друг к другу и молчат. Даже дети понимают, что надо хорошо себя вести и сидеть тихо. Учитель с учениками сидят отдельно, позади всех. И молчат — отдельно.

И вдруг учитель встряхнулся, словно молния разорвала перед ним некий покров. Он делает знак, что хочет говорить. Склонив голову, как всегда перед началом проповеди, он просит, чтобы Господь благословил слова на его устах. Потом он резко выпрямляется:

— Я был пастырем этой общины тридцать лет, и сейчас я буду с вами говорить в последний раз.

Он кладет правую руку на сердце — то ли чтобы его успокоить, то ли призвать в свидетели.

— Такова воля Господа. Мы должны принять ее с открытыми глазами. Мы должны умереть, и один Господь знает, почему, по чьей вине и ради чего; я этого не знаю. Но раз Он требует в жертву наши жизни, значит, Он помнит о нас, Он не отвернул от нас лица Своего. И мы с радостью — чистой, отчаянной, безумной радостью — скажем Ему: мы согласны, да будет воля Твоя. Быть может, наша радость нужнее наших слез, а наша смерть дороже, чем наша жизнь. Не молитесь Его о сострадании, подавите крики, которые рвутся из вашей груди. Пусть гордость родится в ваших сердцах, пусть взорвется она, и я, пастырь ваш, которому вы обязаны послушанием, обещаю вам, что ангелы склонят головы от стыда и никогда больше не будут славить Создателя вселенной, никогда!

Ученики слушают его, не понимая. Старик, сидящий поодаль, начинает глупо хихикать.

Когда ямы выкопаны, двадцать мужчин возвращаются на свои места — к родителям, к женам, к невестам. Убийцы лениво едят и болтают. И вдруг — машина; они вскакивают, вытягиваются перед лейтенантом, который осведомляется, все ли готово. Да, все готово. Элегантный офицер, в перчатках, осматривает место. Удовлетворенный, он поворачивает к общине свое тонкое благородное лицо. Встав на ящик с боеприпасами, он торжественно объявляет своим жертвам, которым кажется, что они попали во власть какого-то дьявольского кошмара:

— Ваш час пробил. Война для вас окончена. Вскоре вы познаете покой, которому ваши оставшиеся в живых братья когда-нибудь позавидуют.

И, бровью не поведя, он предлагает торг: если они не будут сопротивляться, не будут мешать, их будут брать семьями, и они все уйдут, держась за руки; в противном случае он будет вынужден стрелять в толпу, убивая кого попало на месте, и это будет не слишком приятное зрелище.

— Даю вам пять минут, чтобы принять решение.

Мужчины и женщины, все испытавшие старики и почтительные дети, богатые и бедные, ученые и невежды, все смотрят в рот учителю, чей затуманенный взор таинственно и чудесно проясняется.

— Говорю вам, это воля Божия. Но в самом ли деле он этого хочет?

И вдруг — это уже не тот человек. Непонятно, богохульствует ли он, или проповедует веру в союз и верность этому союзу. Непонятно, что им владеет: гнев, отрицающий любовь, или гнев, призывающий любовь. Сияют его глаза под мохнатыми бровями, и в них отражается пылающий Храм:

— Авраам, Ицхак и Яков, вы, которые, как говорит устное предание, ходите по дорогам страданий нашего народа, свидетельствуйте о нас! Я не прошу вашего заступничества, — я прошу только вашего свиде-

тельства. Особенно твоего, Авраам, особенно твоего. Знай, что каждый член моей общины тебя превзошел. Некоторые здесь принесут в жертву не одного, а пять сыновей. Знай же ты, что Бог Израиля нарушает здесь закон Израиля. Тора запрещает колоть корову и теленка в один и тот же день: и вот, ее закон не применяется к нам, чтящим его. Вот где сынам Израиля отказано в том, что дано животным.

Женщины, как всегда раньше во время его проповедей в синагоге, плача впивают его слова, смысл которых от них ускользает. Оцепеневшие мужчины пытаются восстановить свою, внезапно парализованную, способность мыслить. Кое-кто из молодых шепотом спрашивает, не смеется ли раввин над ними, над собой и над всем миром.

— Я хочу, чтобы тот из нас, кто выйдет отсюда, — продолжает он еще громче, — видел, слышал и помнил. Я доверяю ему больше, чем патриархам, он осмелится пойти дальше. Я хочу, чтобы он стал хранителем правды и носителем пожара. А если и он должен погибнуть вместе с нами, как мы, я обращаюсь к небу, к ветру, к облакам, к муравьям, что ползают у нас под ногами: пусть они свидетельствуют о нас, быть может, мир не заслужил иных свидетелей.

Учитель озирается вокруг, и во взгляде его презрение к вселенной. Он видит невидимое и содрогается.

Молодые неприметно собираются в кучку и, сохраняя невозмутимый вид, совещаются. Что делать? Сопротивляться? Чем? Ножами, ногтями? А потом? Бежать. Куда? Все равно куда. А родители, а жены, а старики, а больные? Покинуть их, или пойти за ними на алтарь? Мнения разделяются, волнение нарастает, время не ждет.

Учитель говорит, лейтенант начинает сердиться.

— О чем он им рассказывает? — спрашивает он одного из могильщиков.

— Он говорит нам о будущем.

— Вот это чувство юмора! Он меня просто восхищает!

— А меня восхищает его взгляд.
— В самом деле, в нем есть что-то странное.
— У людей, которые должны умереть, всегда такой взгляд, — говорит могильщик.

— А у тех, кто их убивает?

— У них нет взгляда.

Рабби заканчивает свою речь:

— Свидетели, слушайте! Мы не хотим умирать: мы хотим жить и строить во времени и в молитвах царство Мессии. Кто-то этому воспротивился, и этот кто-то Один, и имя Его — Один, и Его вечные тайны неисповедимы для нас и причиняют нам боль. Ничего, братья мои: мы отдаем Ему нашу жизнь и нашу смерть, и желаем, чтобы Он воспользовался ими, как хочет, и чтобы Он был их достоин.

Он умолкает; он сказал то, что хотел сказать. Ему хочется плакать, но он сдерживает слезы. Он стоит неподвижно перед лейтенантом, который хочет знать, принимают ли евреи его предложение.

— Да исполнится воля Божья, — говорит пастырь общины.

Офицер снисходительно качает головой:

— Ошибаешься, старик. Воля не его, а наша.

— Нет, — восклицает раввин, и взгляд его вспыхивает решимостью.

— Нет?

— Вы — только топор; мы сами решим, кому отдать нашу смерть.

Офицер смотрит на него, пожимает плечами; он может не обращать внимания на старика, но ему хочется, чтобы последнее слово осталось за ним.

— Глупец! Ты все еще не понял, что Бог — это мы?

— Никогда! — вопит раввин. — Слышите? Никогда!

Лейтенанту надоели дискуссии. Он отступает на шаг, поворачивается кругом и уже хочет вернуться на свое место командира, как вдруг две могучие руки хватают его. Он чувствует холодное лезвие на затылке. Человек говорит ему:

— Если твои солдаты шевельнутся, ты умрешь первым.

Офицер не теряет хладнокровия:

— У вас нет ни малейших шансов; вокруг этого места тройной кордон. Вам не пройти.

— Посмотрим, — говорит еврей, который его держит.

Он кричит товарищам, чтобы они разоружили солдат. Лейтенант видит, что они колеблются.

— Хорошо, — говорит он. — Вы захватите наше оружие. Что вы с ним будете делать? Какой следующий этап? Куда вы отсюда пойдете? Вернетесь к себе? Может быть, все вместе перейдете через горы в другой город? В какой? И на сколько времени?

Человек с ножом весь в поту. Он знает, что лейтенант прав, что евреям некуда идти, что мир их исключил, отринул, приговорил. Они могут уйти только в смерть. Но пусть хоть палачей своих они увлекут за собой!

— Мы не уйдем никуда, — говорит он. — Мы будем драться. Вашим оружием.

Он неопытен, этот еврей, и не замечает, что солдат делает знак другому, стоящему за его спиной. Он не может его увидеть. Он больше не может его увидеть. Выстрел покончил с мятежом. Пять юношей бросились к упавшему, очередь скосила их, и над долиной снова реет тишина.

Лейтенант поправляет галстук, отряхивает френч и бросает неодобрительный взгляд на свои жертвы: из-за них он потерял драгоценное время. Ему надо скорее вернуться на командный пункт. Два адъютанта передают его приказ. Мизансцена разработана до мелочей. Палачи знают свои роли давно, вечно. Они устанавливают на холмах тяжелые пулеметы и наводят их: одни высчитывают угол обстрела, другие проверяют обоймы. Профессиональная, тщательная работа. Убийцы с совестью — редкость: только евреям вечно удается откуда-то их выкапывать.

Рабби читает Каддиш, и вся община, как один чело-

век, повторяет его, слово за словом. Никто не жалуется, дети не плачут, хотя их глаза широко раскрыты от любопытства или от страха: никто никогда не узнает, от чего.

По сигналу лейтенанта начинается церемония. Шествие открывает глава общины. По должности и по званию он всегда первый — и теперь он тоже заслужил эту честь. Культурный, достойный человек, этот глава общины: даже его твердая, четкая походка внушает уважение. В синагоге он сидел около самого амвона. И на краю ямы он держит голову по-прежнему высоко, выказывая свое презрение палачам: как будто это имеет хоть какое-нибудь значение. Короткий, почти безобидный треск — и он моргает и падает, не сгибая колен. Две его дочери еще стоят. Они красивы, их глаза сверкают умом и юмором, их тела жаждут любви и жертвы, их уста улыбаются нелегкой улыбкой, они стоят неподвижно: доволен ли ты нами, отец? Секунда, отделяющая их от него, кажется бесконечной, кажется вечной. Но все кончается. Вечность тоже.

Окруженный учениками, которые и есть его семья, раввин делает движение, чтобы броситься к яме, потом меняет решение. "Я еще недостаточно видел", — говорит он с яростью.

Идут именитые люди. Двое-трое из них никогда не бывали в синагоге, не хотели смешиваться с еврейской жизнью. Они определяли себя как члены всечеловеческой семьи. "Мы евреи по случайности; мы люди, вот и все". Теперь они стали евреями. И людьми. Потому что есть такое время, когда нельзя быть человеком, не признав себя евреем.

На минуту дело усложняется, когда приходит очередь Товии-портного. Он в этом не виноват. У него слишком много ребят, десять человек. Старший только что отпраздновал *бар-мицву*. Нельзя их построить как следует: младшие еще нетвердо держатся на ногах. Лейтенант предлагает разделить их на две группы, но Товия, не без оснований, протестует против такой дискриминации: "У меня те же права, что и у

остальных”. Офицер хочет показать, что справедливость — не просто слово, и приходит на помощь портному: старшие станут вокруг младших и будут держать их за руки — и так они все смогут уйти из этого мира тихо и прилично. После нескольких раздражающих попыток все устраивается, и офицеру становится легче; он говорит себе, что евреи, в конце концов не так злы, как некоторые думают.

Медленно и тихо проходят часы, солнце покидает долину, прогалина, залитая красными водами, теряется в лесу. Надо спешить. Десять могил, десять команд. Ну же, скорее!

Настала очередь раввина и его учеников. Усталые убийцы изумлены. Старик закидывает голову и кричит: “Пойте, дети мои! Пойте, как вы еще в жизни не пели, пойте от всей души, и чтобы эту песню услышали во всех концах света, и еще дальше, и еще выше, от неба до неба, и еще выше! Пойте, дети мои, потому что эта песня, в конце концов, будет свидетельствовать о нас!”

Смуглый огненный юноша затягивает хасидскую песню: “Тебя жаждет моя душа, к Тебе поднимается мое тело”. Протянув руки вперед, как слепой, раввин подхватывает. Как в молельне, за третьей субботней трапезой. Другие голоса поднимаются из глубин. И так они идут вперед, в экстазе, между небом и землей, увлеченные радостью и истиной, на штурм Бога истины, но не радости. Окаменевшие убийцы смотрят на них остекленевшими глазами, не в силах нажать на гашетку. Лейтенант, белый от гнева, ругается и призывает их к порядку: “Давай-давай! Я приказываю! Вы не на концерте, черт побери!”. И тогда, вслед за учителем, ученики валятся в могилу. Кроме одного, который стоит на краю ее и поет. Второй залп. Третий. Офицер выходит из себя: “Да вы что? Вы что, в воздух стреляете? Огонь!” — и снова: “Огонь!” Солдаты в панике, они разряжают оружие все быстрее и быстрее, их зрение туманится, они больше не могут, они прекращают стрельбу и замирают. Задыхаясь от бешен-

ства, офицер бежит к могиле и видит перед собой безумного: лицо без маски или маска без лица, голое, нечеловеческое, неподвижное страдание и страшный неподвижный взгляд.

— Кто ты?

Ученик поет. Офицер, размахнувшись, бьет его по лицу: ученик поет. Офицер бьет его по голове, по затылку, — сумасшедший поет, словно не чувствуя ударов. Голос убийцы становится умоляющим:

— Не стыдно тебе петь против воли Божьей? Разве мои люди пели, исполняя волю Божью? Или хоть кричали? Разве я кричал?

Какая-то тень мелькает в глазах сумасшедшего. Он понял. Он замолкает. Он с силой стискивает свой окровавленный рот, чтобы не кричать, чтобы не петь.

— Понимаете, — говорит он, — я последний, последний оставшийся в живых.

— Почему ты так стараешься выжить?

— Я не стараюсь выжить.

— Почему ты отказываешься умереть?

— Вы не понимаете. Я хочу умереть.

И добавляет, с гримасой и жестом нетерпения:

— Я не могу, я тут ни при чем.

И ждет.

Тогда, с хриплым воем, офицер бросается на него, стараясь его задушить, но безуспешно. Он выхватывает револьвер, и стреляет, стреляет в упор. Оставшийся в живых стоит на месте. У убийцы нет больше пуль. Испуганный, помертвевший, он смотрит на ученика, становится перед ним на колени и говорит ему, как говорят с таинственным победителем:

— Ты унижаешь меня, ты мне мстишь. Когда-нибудь ты об этом пожалеешь. Ты заговоришь, но слова твои будут падать в глухие уши. Одни будут над тобой смеяться, другие постараются выкупить себя тобой. Ты будешь кричать о скандале, о мятеже, но тебя не будут слушать, тебе не поверят. Ты проклянешь меня за то, что я тебя пощадил. Ты проклянешь меня, потому

что ты будешь владеть истиной, ты уже ею владеешь; но это истина сумасшедшего.

Чтобы не слышать его, ученик думает об отце, о матери, о друзьях и не может простить себе, что он их покинул. Потом он ложится на трупы, наполнившие могилу, и молит их не отталкивать его.

В могиле — и повсюду вокруг — наступила ночь.

Призрак отделяется от Стены, у которой все еще плачут и жалуются несколько стариков. Он приближается, темный, суровый; шаг его размерен, а голова касается звезд. Ему предлагают сесть, он отвечает, что у него нет времени — его ждут в другом месте. Он будет говорить стоя. Так происходит каждый вечер. Каждый вечер, в один и тот же час, он возникает перед нами как проповедник, чтобы открыть наши сердца:

— Блажен, кто присоединяет свои слова и молчание к молчанию и словам Шхины — Божественного присутствия, блуждающего в этих местах. Скоро, братья, вы почувствуете дыхание Шхины, об этом возвещаю вам я!

Шломо таращит слепые глаза, Велвел подавляет смех, кроткий Цадок улыбается, предвкушая блаженство.

— Постарайтесь замолчать в полночь, — говорит вестник. — Это очень важно. В полночь вы услышите Шхину. Будущее наполняет ее радостью, прошедшее — страданием, и я не знаю, будем ли мы сегодня вечером тронуты ее отрадой или отмечены ее горестью. Но, слушая ее, мы поймем положение людей.

Внизу, за пальмовой рощей, город не сверкает больше: он замыкается в себе. Рестораны, клубы, кафе — все закрывается, люди расходятся по домам. Влюбленные говорят о любви, любовники обвиняют друг друга в измене. С виду — город как город. Полицейская машина объезжает переулки и предместья. Солдаты на стенах вглядываются в даль. Все спокойно.

— Всюду человек говорит во имя Божие, — продолжает наш посетитель угрожающим голосом. — Всюду —

но не здесь. В полночь, братья, вы услышите Бога, Который будет говорить во имя человека.

Сказав это, он возвращается к Стене, воздев руки. Я же возвращаюсь в свой город. Мне было десять лет, я шел слушать странствующего проповедника — *магида* — который вернулся из Святой земли. По крайней мере, так считалось. Безжалостный, отяжелевший от гнева, он проповедовал покаяние, не щадя никого, упрекая богатых за самодовольство, молодых — за непочтительность и дерзость. Все ему не нравилось. Он спрашивал: как смеете вы молиться о пришествии Мессии, если не готовы его встретить? Но лицо его освещалось, когда он упоминал Цфат и его каббалистов, иерусалимских нищих, паломников к горе Мерон, где на могиле Шимона бар Йохая возвышенные тайны *Зохара* представляются более достижимыми. Я слушал его как очарованный, я впитывал его слова, глаза у меня так блестели, что в конце концов стали болеть: я был в стране легенды.

На следующий день он ушел, а через неделю появился снова в сопровождении двух усатых жандармов: они арестовали его на проселочной дороге. За что? У него не было удостоверения личности. Община взяла его на поруки, его освободили. Моему отцу, который удивлялся его неосторожности, он сказал: "Я ведь знаю, кто я и откуда; я и сказал жандармам, а они мне не поверили; клочку бумаги они доверяют больше, чем человеку; так вот, я не хочу быть таким, как они".

Ему предписано было оставаться в нашем городке. По субботам он обедал у нас и помогал мне в занятиях. Это была идея моей матери. Она сказала без обиняков: "У вас нет денег, я вам дам, но за это занимайтесь с моим сыном". — "Я не учитель и не воспитатель". — "А кто вы?" — "Рассказчик". — "Вот и хорошо: рассказывайте ему всякие истории". Все его истории были о жизни в Святой земле. "Я вам завидую!" — сказал я однажды. "Почему?" — "Завидую, что вы там побывали".

Он нахмурился, повернулся на каблуках, отошел на несколько шагов, потом возвратился и остановился передо мной. "Так знай же, что ноги моей не было в Святой земле. И знай, что я никогда ее не покидал". — "Не понимаю", — не без труда признался я. "Ну и что? Я не хочу, чтобы ты понимал, я хочу, чтобы ты слушал". Некоторые из его рассказов, хоть в них и были сильно сгущены краски, я узнавал, потому что изучал их по Талмуду и Мидрашу: мученичество рабби Акивы, неудачи Элиши бен Авуя, бегство Иоханана бен Заккай. Другие поражали меня новизной. Только одного мне хотелось: сделать все эти рассказы своими.

По субботам, сразу после обеда, мы выходили в сад, и я опять оказывался в Иерусалиме. Мы оставались там до тех пор, пока огни заката не загорались вдаль, на красных черепичных крышах, на яблонях и соснах. Однажды он спросил меня, что я хочу делать, когда вырасту. Я не знал. Он стоял, прислонившись к дереву, и с грустью смотрел на меня; потом встряхнулся и сказал: "Придет день, когда наступит твоя очередь рассказывать. Помни, что, согласно Писанию, мы должны быть народом священнослужителей. Это что значит? Помни: когда-то Первосвященник готовился и очищался целый год, чтобы произнести одно-единственное слово — имя Господне — один-единственный раз, в одном-единственном месте, в стенах Святая святых, в Судный день. Тот, кто захочет пойти по его стопам, должен научиться произносить нужное слово в нужную минуту в нужном месте".

В следующий раз — другой вопрос. "В Писании сказано, что Иерусалим — это дверь в небо. Ты в это веришь?" — "Да, — сказал я. — Все, что сказано в Писании, должно быть правдой". — "Там еще сказано, что молитва из Иерусалима поднимается к самому престолу Всевышнего. Ты в это веришь?" — "Конечно". — "Как же ты объясняешь, что из всех молитв, которые повторяли святые и праведники в течение столетий, ни одна не была исполнена?"

Я был озадачен; стыдясь своего невежества, я мог

только молчать. "Не можешь ответить, — сказал он с довольным видом. — И я не могу. Тебя это тревожит? А кто сказал, что молиться надо, чтобы получить милость? Может быть, молиться надо, чтобы открыть дверь и остаться на пороге? Ты не думаешь?" — "Мне не хотелось бы остаться ни с чем..." — "Молитва никогда не остается без вознаграждения. Каждая несет в себе собственную награду. Ты обогащаешься в ту минуту, когда молишься, а не потом".

Вот одна из его историй: "Однажды, — рассказывал рабби Иоханан бен Заккай, — я шел по дороге и заметил человека, который подбирал сухие ветви. Я поздоровался, он не ответил на мое приветствие. Потом он подошел ко мне и сказал: я не принадлежу к миру живых". Объяснение: с тех пор, как рабби Иоханан бен Заккай бежал из осажденного, израненного Иерусалима, он повсюду видел мертвых, и повсюду мертвые его отталкивали.

— А ты кто? — спросил проповедник. — Рабби Иоханан или человек, которого он встретил?

— Не знаю.

— Ни тот, ни другой. Ты — дорога, на которой они встретились.

Я имел дерзость спросить его о том же: "А вы, учитель, кто вы?"

Он ответил, не колеблясь: "Я — разрушенный Храм".

Увидев мое изумление, он торопливо добавил: "И ты тоже. Каждый из нас может и должен желать быть этим. Столица мира осталась в мире, но Храм рассыпан по земле. Каждое разбитое сердце — его руины. Вот почему нам велено уважать чужое страдание: никогда не знаешь, что за ним скрывается".

В последнюю нашу встречу в саду, которая происходила уже после Песах, но перед Шавуот, он усадил меня перед собой, а сам остался стоять на ногах, поглаживая серый ствол цветущего дерева. Он был сумрачнее и рассеянее, чем обычно, и казалось, его волнует предстоящий разговор со мной. "Вот первый во-

прос, который задают душе там, наверху, в небесном судилище: жил ли ты в ожидании Мессии? Я отвечаю: я не только ждал Его, я искал Его всюду и в самом себе тоже. Но если мне не поверят, ты будешь моим свидетелем, так я хочу. Будешь?" — "Да, — ответил я тихо. — Конечно, буду".

Он вперил в меня свой жгучий взгляд; казалось, гора свалилась у него с плеч, так он обрадовался. "Спасибо! — воскликнул он с жаром. — Я на тебя рассчитываю. А взамен — вот мое пожелание тебе: какую бы дорогу ты ни избрал, пусть она приведет тебя в Иерусалим. Когда-нибудь ты туда доберешься, я тебе обещаю. И в тот день, слышишь, я тоже буду там. Я буду ходить по улицам, по базарам, буду будоражить прохожих и излечивать их от равнодушия — это я обещаю самому себе. Потому что я не могу поверить, слышишь, не могу поверить, что Бог вложил в меня это видение и эту надежду только для того, чтобы уклониться, чтобы посмеяться над стариком, которым я не стану".

Он не прошел по улицам и не наполнил мир своим молитвенным рвением. Он вошел в другую дверь того же неба и, обернувшись, мог увидеть внизу пылающий Храм, в котором горели шесть миллионов его священнослужителей; мог увидеть, как они карабкаются по огромной огненной лестнице: дурной сон приснился праотцу Якову.

И все-таки я буду свидетельствовать за магида и заявлю: "Твое пожелание исполнилось, а обещание — нет. Над тобой посмеялись, да быть может, и надо мной тоже. Потому что вот — я в Иерусалиме, который ты носил в себе; я смотрю на Стену и не вижу тебя".

Однако кто-то толкает меня локтем и говорит: "Уже полночь".

Инстинктивно, как бы повинуюсь единому рефлексу, спины распрямляются, голоса стихают. Верующие у Стены прекращают свои жалобные моления и ждут. Сердца перестали биться, мысли прервали свой бег. Неразумный, детский ритуал, которому мы подчиняем-

ся, сами не зная, почему. Мы делаем вид, что ждем чуда, хотя знаем, что чуда не произойдет: даже здесь невозможно увидеть невидимое. И сегодня ночью опять тишину нарушит смешок кривого карлика, а вслед за ним раздастся глубокий вздох Цадока. После чего тот, вестник, появится перед нами, страшно возбужденный:

— Ну, вы слышали?

— Нет. А ты?

В порыве разочарования он бьет себя по лицу.

— Ах, жаль мне вас, — говорит он потом, уклоняясь от ответа. — Шхина говорит ради человека, а человек ее не слышит. Шхина является человеку, а человек этого не знает.

Сегодня он меня почти что убедил. Молодого лейтенанта раздражили все эти нищие, и он, смущаясь, рассказал нам свою историю — у нас от нее захватило дух. Пролетая над Синаем, он поглядел вниз, и ему почудилось, что он различает огромную человеческую фигуру, высеченную из черной скалы, поддерживающую руками небо; когда он летел обратно, ее уже не было. Таков был образ Моисея, который создал себе летчик. Он хотел продолжать, но мы приказали ему молчать: приближалась полночь. И через минуту мы сами, в свою очередь, стали жертвой галлюцинации. Из темноты перед Стеной возникла грациозная женская фигура. Это мне пригрезилось, сказал я себе. Сейчас она растает, и мне стыдно будет говорить о ней с моими товарищами. Но дело в том, что им пригрезилось то же самое. Мы все созерцали ее, раскрыв рты и выпучив глаза, словно скованные, не смея пошевелиться, не смея вздохнуть, чтобы не спугнуть видение. Тишина давила нас, мы чувствовали, как она вспухает и наполняет листву, амбразуры, горы. А может быть, проповедник сказал правду? Опять оживают его легенды: именно здесь Божественное присутствие связывает небо с человеческим страданием, именно здесь оно пронизывает сознание людей, именно здесь оно сообщает ночи свою тайну и свою тоску. Женщина за-

метила нас и направляется к нам. Мне приходится собрать все свои силы, чтобы сдерживать свои нервы, свои мускулы, чтобы не закричать, не вскочить, не убежать. Сердце мое отчаянно бьется, оно восстает, оно хочет разорваться еще раньше, чем женщина приблизится. Страх во мне; он до того черный, до того шумный, что смешался с моим существом. Кровь стучит у меня в висках, ослепляет меня. Мне бы следовало что-нибудь предпринять, сделать что-то со своими руками, с глазами; но я слишком ошеломлен, я не в состоянии. Я парю в воздухе, вне времени, вне себя самого. Я не знаю, где я и кто я.

Летчик возвращает меня к действительности. Силы ему изменяют. Эта женщина перед нами — для него это уже слишком. Он хочет знать, кто это. Я цепляюсь за его любопытство, я заставляю его повторить вопрос. И слышу свое собственное бормотание:

- О ком ты говоришь? Я никого не вижу.
- Да вот же, смотри.
- Я смотрю, смотрю и никого не вижу.

Убеденный, что я сумасшедший и хочу и его свести с ума, он хватается меня за плечи.

- Смотри сюда! — кричит он. — Да-да, сюда!

Его негодование переходит в истерику. Он указывает пальцем на Стену, которая, кажется, приближается к нам вместе с женщиной. Вот она перед нами, передо мной: хрупкая, вся вытянутая, руки на бедрах, голова слегка склонена направо. Теперь я различаю ее твердо вырезанные черты, чуть приоткрытый рот. Внезапно, молниеносно, я ее узнаю: это та, которая вот уже несколько дней ходит по большой площади — взад и вперед, сквозь толпу, и ищет кого-то глазами. Вчера или позавчера она увидела меня, и я улыбнулся ей, как сообщник. Вероятно, я ее испугал или смутил, потому что она тут же исчезла. Теперь, когда я вижу ее вблизи, несмотря на темноту, несмотря на свое волнение, я понимаю, что встреча была неслучайна. И я угадываю, кто это: это жена, это вдова Катриэля. Он много говорил о ней. Да, нет никакого сомнения. Это она. Я вскакиваю.

Значит, это она, думаю я. Катриэль не солгал. У него была жена, которую он любил, и которая его любила; не зря я ревновал его к этой любви. И у них был ребенок, которого они потеряли. Не зря я завидовал этому воспоминанию. Теперь я вспоминаю все, что он мне рассказывал. О себе, о жене, об их отчаянной борьбе с несчастьем и с беспощадными законами одиночества, особенно одиночества вдвоем. Его жена — я представлял ее себе не такой красивой, не такой ожесточенной. Волосы у нее распустились, она часто дышит, она словно отрезана от всего своим прошлым, и она смотрит мне прямо в глаза, а я спрашиваю себя, кого она видит. Я уже собираюсь задать ей этот вопрос, но она меня предупреждает:

— Давид, — говорит она на одном дыхании.

— Это я. Кто вам сказал мое имя? Катриэль? Когда вы его видели последний раз?

— Давид, Давид... Что это — игра, испытание? Я не понимаю, я хотела бы понять.

Ее надтреснутый, покорный голос напоминает мне голос моей матери. В ночь перед нашей разлукой у нее на устах было мое имя, как рана. Она тоже хотела понять, но понимать больше было нечего. В ту ночь между именами и существами произошел разрыв. Только потом я понял тайну творения: только неназываемый бессмертен.

— Садитесь, — говорю я, пытаюсь найти какую-то линию поведения.

Все подвигаются, давая ей место. Она стоит неподвижно. Вопрос, живой, голый, жестокий, сверкает в ее взгляде, и я знаю, что никто из нас не может на него ответить. Только бы она удержалась и не задала его. Когда-нибудь в другой раз. Не здесь. Может быть, потом она забудет.

— Ну же, садитесь.

Я осторожно беру ее за плечи и заставляю сесть. Сначала она сопротивляется, потом тело ее поддается.

— Вы можете нам доверять, — говорю я. — Вы тут среди друзей.

Тяжело дыша, она начинает разглядывать маски и призраки, окружающие нас. Я представляю ей каждого. Ее взгляд останавливается на каждом из этих лиц и оставляет там легкий покров тени и нежности. Дан хватает и элегантно целует ее руку: не зря же он принц! Велвел, вечно паясничающий, делает реверанс. Моше-пьяница решает, что сейчас самое время пригласить ее танцевать. Шломо прикрывает рот рукой и бормочет: "Я ничего не вижу, какое счастье!". И Цадок вторит ему: "Это богохульство, горе нам, это богохульство". Как бы это все не закончилось скандалом! Эти сумасшедшие, эти ясновидцы приняли Малку за божественное явление, за женщину своих мечтаний, своих несбывшихся любовных грез. Ее присутствие снимает все запреты, освящает все желания. Они вот-вот впадут в экстаз и ждут только знака, чтобы утащить ее, каждый в свою собственную запредельность. И она им это позволяет, даже, можно сказать, поощряет. Если она, в отместку, поведет себя вызывающе, их уже ничто не остановит. Но, к счастью, я тут, и я на страже. Я предупреждаю их, что если они не будут вести себя смирно, Малка уйдет.

— Малка! — восклицает Велвел. — Ее зовут Малка! Царица! Царица нищих, любовница царей!

— Царица безумных, — поправляет Моше. — Царица, которая сводит с ума.

— Будь нашей царицей! — кричит Ицик, хлопая в ладоши.

— Да здравствует царица! — вопит Велвел.

Оглушенный лейтенант не знает, куда деваться. Он тискает мое плечо и молчит.

— Попросите их замолчать, — говорю я Малке.

Наверное, у меня отчаянный вид, потому что она повинуется. Кажется мне, или я на самом деле слышу в ее голосе иронию? Неважно. Остальные этого не заметили. Ее слова достаточно, чтобы восстановить спокойствие. Я выражаю ей благодарность и говорю:

— Вы пришли, чтобы расспросить о Катриэле, не так ли?

И опять начинается шум:

— Катриэль? Кто это?

— Что он делает?

— Почему он не с нами?

Я делаю вид, что не замечаю крикунов. То, что они говорят о Катриэле в настоящем времени, вызывает во мне ощущение неловкости, которое легче скрыть, чем победить. Пусть говорят в прошедшем времени, и тогда я тоже замолчу. Что скажешь о друге, о котором даже не знаешь, жив он или мертв? В армии на его жетоне значится: пропал без вести. Он может еще вернуться. Никто меня не убедит в противном.

— Катриэль? — говорит Малка. — Я не знаю, кто это. Но я хотела бы узнать.

— Будем считать, что это я, — говорит Велвел, подсакивая на своих коротеньких ножках. — Хотя бы для смеха.

— Да здравствует Катриэль! — ревет Ицик.

— Горе нам, — шепчет Цадок. — Мы богохульствуем.

— Где Катриэль? — спрашивает слепой. — Я хочу, чтобы он меня увидел.

— Где Катриэль? — спрашивает Малка, оборачиваясь ко мне.

Она тоже помещает его в настоящее. Чтобы меня поддразнить? Возможно. Или чтобы наказать. Она знает, где мое больное место. Она знает, что я мог бы без труда ответить на ее вопрос. Я провел с Катриэлем много часов, много дней напролет. Я по-настоящему узнал его, я даже пытался подменить его собой. Я завидовал его уязвимости, его неутолимой потребности любить, возвеличивать все, что человечно в этой бесчеловечной вселенной. Я знаю, что смерть сына не сблизила его со смертью, и этому я завидовал тоже. Конечно, он страдал, но в его страдании не было ничего унижительного, ни для него самого, ни для окружающих.

— Катриэль еще может возвратиться, — говорю я

ради его жены. — Он сам вам ответит. Ваш долг — его ждать.

— Я жду. Я давно уже его жду.

Давно? Несколько недель, несколько месяцев. Их последний день — я его помню. Он пришел на лекцию вовремя. Один из студентов предложил сначала прослушать последние известия. В передаче содержались закодированные сообщения: приказ отпускникам и резервистам явиться. Катриэль дождался конца передачи, положил конспект лекции обратно в портфель и постарался принять естественный вид.

— Я, кажется, нужен в другом месте, — сказал он. Подумал и добавил: — Вы продолжите без меня.

Студенты так разволновались, что забыли пожелать ему удачи. Потом, вспоминая об этом, он улыбался. Он вернулся домой. Малка знала, что они расстанутся. Но приходило ли ей в голову, что она его больше не увидит?

Я потихоньку наблюдаю за ней. Она опускает веки, признавая свое бессилие, мучаясь поздними сожалениями, что позволила мужу умереть или воскреснуть героем — или нищим.

— Я уже научилась ждать, — говорит она вызывающе.

В пустой квартире рядом часы пробили два: врач, живший там, был аккуратным человеком и, очевидно, завел их перед тем, как отправиться в свою часть.

Еще пять часов, думает Катриэль. Время привести в порядок все бумаги, сложить вещи, подготовить разрыв, надеть форму, охватить все последним взглядом. Потом перед домом остановится джип. Малка сделает над собой усилие и ласково попросится. Так начнется для меня новое путешествие в неизвестность.

— Ты сама увидишь, — говорит он жене. — Войны не будет. Это только игра. Партия в покер, больше ничего. Завтра я вернусь.

Не в силах вынести недоверчивого Малкиного лица, — а она с самого утра молча его разглядывала, — он начинал шагать по залитой солнцем комнате, останавливаясь каждый раз у открытого окна. На улице группа зевак окружила велосипедиста, который, поставив ногу на тротуар, слушал последние известия по своему транзистору. Сообщения шли одно за другим, повторяясь. Правительство совещалось, оппозиция выходила из себя. Главные западные столицы надеялись, несмотря ни на что, избежать вооруженной конфронтации. Государственные деятели и дипломаты путешествовали, совещались и делали незначительные (или двусмысленные) заявления. Спецкорреспонденты мировых газет изумлялись спокойствию, царящему в стране, где уже происходила всеобщая мобилизация.

— Видишь? — сказал Катриэль. — Беспокоиться нечего. К войне готовятся, чтобы ее избежать.

Зеваки разошлись, велосипедист уехал. На опу-

стевшей улице осталась только пожилая домохозяйка, она поставила на тротуар свою корзинку. Катриэль ее пожалел: ее сыновья, ее зятя, где они окажутся завтра? Женщина тем временем приободрилась, согнала комара со лба, подхватила корзинку и через секунду скрылась за углом. Катриэль повернулся к жене.

— Не грусти, Малка.

— Почему я должна не грустить?

— Чтобы доказать, что ты не теряешь веры.

— В тебя?

— В нас.

— Я не теряю веры и не боюсь грусти.

— А я боюсь.

— Я привыкну.

— А я никогда. Ты же знаешь, что я ненавижу привычки.

Катриэль чувствовал, что она удаляется, в прошлое или будущее: чтобы опередить его, или чтобы от него освободиться? Двадцать лет совместной жизни, союза, а о чем она сейчас думает? О счастье, которое вначале шло им в руки и которое они могли принять, не умаляясь? О хрупкости человеческих связей? Два человека бросают вызов злу, яростно проповедуют святость жизни, а потом вмещивается судьба, и все рушится.

— Прощу тебя, — сказала Малка тоскливо, — не говори ничего.

Он и не собирался ничего говорить. Нечего было сказать. В эту самую минуту другие мужчины и женщины, подчиняясь той же необходимости, обуянные теми же предчувствиями, смотрели друг на друга, разговаривали друг с другом, словно в последний раз, вели свой отдельный разговор: завтра война сотрет все.

А если бы можно было все начать сначала? — спросил себя Катриэль. Он увидел себя в доме своего отца, в иешиве, в армии, где он встретил Малку в первый раз. Одно воспоминание: он приехал в отпуск, провести субботу в Цфате вместе с отцом. Утром, вернувшись из синагоги, они, как всегда, вместе уселись за книги, но Катриэль не мог сосредоточиться. Отец, хоть

и был слеп, это заметил: "Что, сын, не получается?". Сын признался, что нет, не получается. С тех пор, как он надел военную форму, он перестал видеть связь между двухтысячелетним Талмудом и сегодняшней жизнью. Отец улыбнулся, растроганный. "Связь, сын — это ты. Ты — мост между вавилонскими мудрецами и будущими поколениями. Каждый человек должен чувствовать себя ответственным за тех и за других, в каждом человеке — все они". — "Не думаешь ли ты, отец, что ты взваливаешь мне на плечи слишком тяжкое бремя?" — "Да, думаю. Но ты не слишком долго будешь нести его один. Ты возьмешь жену, у тебя будут дети, и они передадут мое имя и твое имя, чтобы его когда-нибудь услышал сам Мессия".

Вскоре Катриэль объявил отцу, что влюбился. В кого? Ее звали Малка. Имя отцу понравилось. "Ты сказал ей, что любишь ее?" — "Нет, отец". — "Почему?" — "Я не смею". — "Ты боишься, что она тебя отвергнет?" — "Да, отец". — "Твоя робость неуместна; любить — это дар, больший, чем быть любимым. Будь этим горд, даже если твоя любовь не разделена". И Катриэль увидел себя, смущенного и краснеющего, перед девушкой с длинными черными волосами: "То, что я хочу сказать тебе, должно быть сказано. Знай, что я тебя люблю, знай, что даже если ты меня не любишь, я никогда не пожалею о том, что сказал тебе это, и о том, что я тебя любил". Она выслушала его серьезно, потом, без единого слова, без улыбки, протянула к себе и крепко поцеловала в губы: многое обещал такой поцелуй. Катриэль высвободился: "Этого мало, скажи мне, что ты меня любишь".

— Прощу тебя, — повторила Малка, — не говори ничего.

Вернуться назад? Для чего? Если бы можно было начать все сначала, я прожил бы свою жизнь точно так же, с таким же напряжением. Несмотря на тяжелые удары? Несмотря на них. Несмотря на Малкино немое страдание? Я старался бы ее приручить, открыть ей смысл жизни, чувство будущего. А война? Я поступал

бы так, как если бы ее не существовало. Конечно, это было бы нелегко, это и было нелегко. Малка думала о завтрашнем дне только с ужасом. Она была сирота, и она отказывалась иметь детей: она не желала кормить смерть. Все-таки отцу Катриэля она позволила себя убедить. И появился Саша. Невинный сон Саши. Веселость подрастающего Саши. Ум Саши, его ранняя зрелость. Казалось, что ребенок один решил вступить в единоборство с черным царством страха. Катриэль возвращался по вечерам, и, как только он открывал дверь, Саша бросался в его объятия и рассказывал ему о своих сегодняшних подвигах. Иногда он шептал ему на ухо: "Знаешь, мама сегодня грустная, надо что-то для нее сделать, только не говори, что я тебе сказал". Бывало, Катриэль сам посылал его поиграть с матерью, развлечь, развеселить ее: "Смотри же, будь с ней ласков, очень ласков". А потом наступил день, когда родители, побежденные, вернулись домой одни.

Они продолжали любить друг друга, притворяясь, что забыли, что спят по ночам, борясь с отчаянием, с отказом от жизни. Как-то ночью Малка разрыдалась: "Я только хочу понять, я ничего больше не хочу, мне ничего больше не надо, я только хочу понять". Катриэль мог только ласкать ее. Понять — что? И если знать истину, всю истину, в том виде, в каком она к нам приходит, — что нам с ней делать? Эта истина слишком чиста, чтобы мы могли ее вынести: только Бог не боится истины.

Однажды Катриэль не смог удержаться, когда был у отца. Согласно Талмуду, сказал он, каждая душа владеет бесконечной мудростью и бесконечным знанием, но забывает все, сходя на землю. Может быть, после смерти ей все это возвращается. Слишком поздно, чтобы этим воспользоваться. Катриэль находил эту игру скандально-несправедливой. "И вот, отец, при тебе мне часто хочется кричать, кричать, чтобы получить ответ".

- Почему же ты этого не делаешь?
- Мне не хочется тебя обижать.

— Меня? Ты думаешь обо мне, а не о Боге?

— Да, отец.

— Ты огорчаешь меня, сын мой. Ты ставишь меня между собой и Богом.

Они провели в занятиях несколько часов; потом, в середине стиха, Катриэль взорвался: "Господи, мы любим Тебя, мы Тебя боимся, мы Тебя венчаем, мы цепляемся за Тебя против Твоей воли, но прости мне, что я открою Тебе глубины своих мыслей, прости мне, что я скажу Тебе — Ты мошенничаешь. Ты даешь нам разум, но Ты же его предел и зеркало; Ты хочешь, чтобы мы были свободны, но при условии, чтобы мы отдавали Тебе в дар нашу свободу; Ты повелеваешь нам любить, но Ты придаешь любви вкус пепла; Ты нас благословляешь и отнимаешь у нас Свое благословение: и все это Ты делаешь для чего? чтобы преподать нам истины — какие? и о ком?". И старик-отец, все больше сгибавшийся под тяжестью его слов, ответил: "Не против Него ты должен бороться, а против зла, против смерти; а против смерти можно бороться, только создавая жизнь".

Катриэль не согласился. Смерть взрослого человека — это только смерть взрослого человека; но смерть ребенка — это смерть невинности, смерть Бога в человеческом сердце. И тот, кого не насыщает эта истина и кто не кричит о ней со всех крыш — тот без сердца и без Бога, тот никогда не видел туманящихся глаз ребенка, который угасает без жалобы и который умирает, чтобы указать дорогу родителям, открыть им то, что их ожидает. Если я паду завтра, подумал Катриэль, я обрету своего сына. Легенда описывает Ангела смерти как существо, состоящее из глаз, из одних глаз: он только смотрит, он убивает, взглянув. Если я упаду завтра, я обрету взгляд своего сына. И его мать наконец-то останется одна.

— Малка...

— Нет! Не говори ничего!

— Всего несколько слов. Знай, что я тебя люблю.

Я люблю тебя даже в одиночестве. Я не хочу оставить тебя, не повторив этого.

Губы женщины задрожали, но не произнесли ни слова.

— И знай, что говоря это тебе, я думаю о Саше. Твоя грусть, как и моя, никогда не могла помешать мне любить тебя.

И вдруг выражение лица у Малки стало тверже. Она облизнула губы и прошептала:

— Ты произнес его имя. Теперь ты можешь уходить.

И на лице ее отразилась такая боль, что испуганный Катриэль задохнулся.

— Это так далеко, — сказала она еле слышно. — Иногда я спрашиваю себя -- а было ли это на самом деле, а не приснился ли мне Саша. Мне нужно было услышать его имя. Теперь ты можешь уходить.

Час, два часа молчанья. Перед домом остановилась машина. Катриэль подумал: теперь я должен взять свои вещи, открыть дверь, спуститься по лестнице и уехать. И дорога, по которой я пойду, уведет меня далеко от нее и далеко от меня самого.

— Я вернусь, — сказал он, целуя влажный лоб жены. — Войны не будет. Жертв не будет. Вот увидишь.

Она с усилием ему улыбнулась, но не пошла провожать. Как пригвожденная, она сидела неподвижно, мрачно разглядывая свои сплетенные руки, словно решившись никогда больше не говорить и не делать ничего. Может быть, она думала о своем сыне, обо всех сыновьях, оторванных от отцов, об отцах, вырванных из жизни. Потом в окно вошла ночь. Малка встретила ее, медленно раскачиваясь. Она стояла у стены и медленно, глухо и ритмично билась об стену головой.

Через несколько дней я познакомился с Катриэлем. А Малка не увидела его больше.

VIII

Не забыть мне, какая была жара: стоячая, как вода, тусклая, как мрачное небо. Она подавляла все.

День подходил к концу. Он был длинным и изнурительным. Батальон, поднятый на ноги в четыре утра, готовился двинуться на юг. Но приказа выступать не было, он запаздывал. Раздражающая, унижительная неуверенность. И вдруг — контрприказ: все разобрать, мы остаемся на месте. У людей испортилось настроение, они брюзжали: "Хорошо начинаем! Если так будет продолжаться, нас добьет не противник, а солнце".

Я стоял у входа в палатку номер десять, одетый в старую форму Гада. Солдаты третьего отделения, растянувшись на своих раскладушках, ожидали вечера и первого дуновения прохлады.

— Привет, — сказал я.

Мои будущие товарищи, совершенно равнодушные ко всему, даже не пошевелились.

— Я ваш жилец. Могу я увидеть сержанта Иоава?

Сержант поднялся и проворчал:

— Это тебя прислали вместо Ашера?

— Не совсем, — сказал я во избежание возможных недоразумений.

— То есть как?

— К сожалению, я не вместо Ашера, во всяком случае, не совсем.

Он стал холодно меня разглядывать, что позволило и мне сделать то же самое. Квадратные плечи, на которых, казалось, держалась рама палатки. Жесткое лицо с резкими чертами. Весь красно-рыжий: грива, брови, глаза.

— Начнем сначала, ладно? Ашер сломал ногу, так или не так? Так. Мне нужен пулеметчик. Так? И ты говоришь, что это не ты?

— Не совсем.

Рыжий сделался опасно ласков:

— Не будешь ли ты любезен объяснить, что ты хочешь сказать?

— Охотно, сержант. У вас есть свободная кровать, я ее займу. Вот и все. Могу добавить: я в жизни не прикасался к пулемету.

На него стоило посмотреть. Когда рыжий краснеет, это значит, что дело будет жаркое.

— Прочтите, — сказал я, чтобы предотвратить катастрофу.

Я подал ему приказ, подписанный Гадом. Это произвело на него должное впечатление.

— Так бы и говорил.

Тут и прочие заинтересовались моей особой.

— Так что там, в этой бумажке?

— Да ничего. Вот этот человек, по имени Давид, оказывает нам честь пребывать с нами до следующего приказа.

И тут же, немедленно, все, хоть и колеблясь между почтительностью и подозрениями, начали допрос с пристрастием. Возраст, семейное положение, адрес, профессия, особые приметы. На все — отрицательные ответы.

Враждебные голоса:

— Да он смеется над нами.

— Он играет в секретного агента.

Я не сдавался. Они тоже. Вопросы сыпались со всех сторон:

— Ты в военной разведке?

— Нет.

— На действительной?

— Нет.

— Запасник?

— Нет.

— Но ты хоть в армии?

– Нет, господа. К сожалению, нет.
– Ты никогда не призывался?
– Никогда.
– Как это может быть?
– По состоянию здоровья, в частности.
– Но ты ведь носишь форму, черт возьми!
– И да, и нет.
– Он смеется над нами!
– Да еще просит гостеприимства! Нет, много чего я видел, но такого...

Как ни грустно, мне пришлось пуститься в объяснения и сознаться, что на самом деле я не служу в их армии, не мобилизован, и даже не гражданин этой страны.

– Но кто же ты на самом деле? – спросил один насмешник.

– Еврей, – сказал я.

Этот простой, но неожиданный ответ их несколько осадил, и я получил передышку. Но ненадолго. Кто-то тут же опомнился:

– Но для чего ты здесь? Что ты будешь делать?

– Не имею представления. Вероятно, буду смотреть.

Изумленные таким нахальством, они защелкали языками, пальцами, чтобы выразить свое неодобрение:

– На кого смотреть?

– На что смотреть?

– Не знаю, – сказал я. – На вас. На себя.

– Изумительно! – вскричал один из солдат. – Завтра люди скажут: быть евреем – значит смотреть.

Раздался дружный хохот. Мне захотелось провалиться сквозь землю. У меня гудело в голове, горели щеки; мне хотелось убраться прочь, сбежать из этого лагеря, не попрощавшись с Гадом. Но в эту минуту из глубины палатки появился солдат, который протянул мне руку:

– Добро пожаловать, Давид. Меня зовут Катриэль.

По-видимому, он имел влияние на товарищей — высокий, стройный, с точными уверенными движениями. Их отношение к нему напоминало отношение людей к сумасшедшему, которого почему-то, без всякой на то причины, все любят.

— Не смейтесь, — продолжал он. — Смотреть и рассказывать — ничуть не менее важно, чем все остальное.

Он будет свидетельствовать за меня, — подумал я тогда же, хотя еще ничего о нем не знал. Смутно я почувствовал, что он сыграет роль в моей жизни, может быть, и в моей смерти. Но в ту минуту его вмешательство меня спасло. Атмосфера изменилась. Сержант указал мне раскладушку. Мне рассказали про распорядок. Спросили, обедал ли я: я не был голоден. Кто-то поинтересовался, должен ли я подчиняться внутреннему распорядку: я не знал.

— Какая разница! — отрезал сержант. — Ты здесь, значит, будь как дома. Отныне ты один из нас. На радость и на горе.

Катриэль меня заинтересовал. Я начал за ним наблюдать. Он страдал от бессонницы. Несколько раз за ночь я видел, как он на цыпочках выходит из палатки. Наконец я вышел за ним следом. Он обернулся, и меня поразил его напряженный взгляд, в котором боролись свет и тьма. Я заметил, что губы у него искусаны в кровь. В тишине, которая царила над уснувшим лагерем, его присутствие приобретало странную тяжесть. Вы скажете, что я это вообразил. Возможно. Во всяком случае, он показался мне до того странным, что я вернулся в палатку очень встревоженный.

От наших товарищей, знавших его прежде, я услышал, что сначала он вел себя совершенно иначе. Он был неловок, отчаянно застенчив, вечно краснел, и для него было мукой открыть рот даже для того, чтобы сказать "спасибо" или "доброе утро". Он старался изъясняться жестами, чтобы таким образом стать совсем уж незаметным. Стоило кому-нибудь назвать его по имени — и он уже страдал. Казалось, он боится не только других, но и самого себя. Как только он вспоминал о соб-

ственном существовании, он терялся, съеживался и опускал голову, словно отыскивая щель, в которую он мог бы спрятаться. Но так как он никогда не прятался за чужую спину, его нелюдимость всех забавляла. По вечерам, на перекличке, его щадили и не вызывали. Изредка его поддразнивали, но беззлобно.

Перемена в нем произошла, когда поссорились и чуть не подрались два парня. Из-за чего? Из-за какого-то пустяка. Вся страна переживала такое напряжение, что кто угодно мог взорваться от самого пустячного замечания о пище или о погоде. Драке помешали, но оскорбления, которые ребята бросали друг другу, так и остались висеть в воздухе. Разговор не получался. То тут, то там кто-нибудь пытался начать, и обрывал себя на полуслове. Все падало в пустоту. Наконец маленький веселый йеменит — Гдалия — решил воспользоваться Катриэлем, чтобы разрядить напряженность.

— Вот видишь, — сказал он. — Это ты виноват, твое влияние. Все подражают тебе. Из-за тебя они теперь молчат, как могильные камни.

Не успел он закончить, как раздался хриплый голос:

— Это не моя вина, по крайней мере, я надеюсь, что не моя. Но если я ошибаюсь, то прошу у вас прощения. И раз вы ничего не говорите, то говорить буду я.

Парни повскакали со своих мест, чтобы убедиться, что именно Катриэль произнес все эти слова, не подавившись и не потеряв сознания. Некоторые закричали о чуде. Гдалия, ободренный своим успехом, продолжал дуть в ту же дуду:

— А я тебе говорю — это твоя вина. Ты их сглазил. Своим молчанием ты отнял у них дар слова!

У бедного Катриэля прервалось и участилось дыхание, как у больного, мучительно борющегося за жизнь и способность говорить:

— Ты прав. Может быть. Все возможно. В конце концов, я отвечаю за свое молчание, как вы за свои слова.

— Ну, конечно, — сказал Гдалия, с трудом скры-

вая свое ликование. — Вина падает на тебя, и тебе надо ее искупить. Скажи стихотворение, или речь — что угодно, но поскорее!

Катриэль поднялся, потом улегся снова и заговорил:

— Рабби Нахман из Брацлава сравнивает *йоцер ха-ра*, искусителя, с лукавым фокусником, который вызывает у людей зависть и жадность, протягивая им сжатый кулак. Уверенные, что найдут там неведомые сокровища, люди разжимают его кулак силой и обнаруживают пустоту. Но я не согласен с рабби Нахманом. Никакой кулак не бывает пуст. Доказательство: в данном кулаке заключалась эта притча.

— Не понимаю, — сказал Гдалия, не сдаваясь. — А уж если не понимать, то я предпочитаю Спинозу.

Он расхохотался, но на этот раз остальные его не поддержали. Катриэль страдальчески посмотрел на него и продолжал, все тем же смиренным тоном, потирая виски, чтобы лучше сосредоточиться.

— Когда я был ребенком, мне случалось не понимать того, чему мой отец упорно старался меня научить; я просто плакал от бешенства и стыда. Не трата времени на лишние объяснения, отец утешал меня так: "Старайся любить то, что ускользает от твоего понимания, и ты будешь вознагражден, твоя любовь не останется неразделенной". Я все еще жду своего вознаграждения, но теперь это не мешает мне любить чужие истории.

Гдалия опять попытался его перебить, но его заставили замолчать. Что-то в голосе Катриэля трогало и волновало его товарищей. Он говорил тихо, словно работая над священным текстом, словно стараясь проникнуть сквозь стену, воздвигнутую между мыслью и словом.

— Я люблю всякие истории, — сказал он. — И это благодаря моему отцу. Все, что я знаю, у меня от него. Он научил меня мерить себя словами и усваивать, если не правду, то молчание, которое в них содержится; он же научил меня слушать. Знаете ли вы, что нам

дано обогатить легенду, просто слушая ее? Легенда принадлежит слушателю не менее, чем рассказчику. Вы слышали какую-нибудь историю, и с этой минуты она уже не та, что была.

Далекое воспоминание зажгло улыбку на его сумрачном лице.

— Знаете ли вы, что нам дано углубить источник, только направляясь к нему? А потом и черпая из него. Это я тоже знаю от своего отца. Я только повторяю его слова. Но молчание — мое собственное.

Он замолчал. Люди не двигались, чтобы не нарушить очарования. Даже Гдалия, большой ребенок, был восхищен и вел себя смирно.

— Я люблю молчание, — опять заговорил Катриэль. — Но — внимание: не всякое молчание чисто. И не всякое плодотворно. Иные бесплодны и зловредны. Мой отец легко их различает, а я с трудом. Есть молчание, которое предшествовало сотворению мира; есть и другое, которое наступило после откровения на Синае. Первое состояло из хаоса и одиночества; второе — из присутствия, волнения, полноты. Я люблю второе. Люблю, когда у молчания есть история, которая его передаст. Иногда мне случается провести вечер с отцом... и с женой... не обменявшись ни единым словом, но когда мы встаем со своих мест, мы знаем, что сказали друг другу все. С вами мне это не удалось, я виноват, я принимаю ваш упрек, и прошу у вас за это прощения.

Внезапно он очнулся и понял, что стоит посреди палатки и держит речь. Он поперхнулся от стыда, он облился потом. Испустив вздох раскаяния, он кинулся к выходу. Десять рук схватили его и триумфально отнесли на его место. Гдалия хохотал и хлопал себя по коленям:

— Он выпил, право же, он выпил! Это единственное объяснение!

— Не говори так, — возразил сержант. — Катриэль не прикасается к алкоголю.

— А я тебе говорю — выпил, — не унимался ма-

ленький йеменит. — Уж я-то знаю! Кто его открыл? Я или нет?

Он суетился, как антрепренер новой звезды. У него на Катриэля были права; он выхвалял его дарования и чудачества.

— Вы ведь хотите понять, — кричал он, красный от возбуждения. — Пожалуйста, я объясню. Все очень просто. До сегодняшнего дня Катриэль не разговаривал и не пил. Сегодня он заговорил — значит, он выпил. Что, не логично?

И так, под всеобщее гиканье, Катриэль стал любимцем роты. Его берегли, его лелеяли. Надеялись, что он опять заговорит. Но напрасно. Он отзывался лишь тогда, когда к нему уж очень приставали. Но Гдалия и его товарищи, боясь, как бы не задеть его слишком неосторожным словом, предпочитали потерпеть. Мне пришлось сделать то же. Два дня и две ночи миновали, а мое любопытство все еще не было удовлетворено.

Все разговоры в лагере, как и везде, вертелись вокруг войны. Будет? Не будет? Одни боялись ее, несмотря ни на что, другие, несмотря ни на что, ее желали. Время работало против нас, это было очевидно. Взрыв казался неминуемым, неизбежным. Взять на себя инициативу, или тянуть, стараться отсрочить? Каждый был дипломатом, каждый был заслуженным стратегом: надо сделать то-то, сказать то-то. Но никто не сомневался в исходе: мы выиграем, потому что у нас нет выбора; противник может позволить себе поражение — одно, три, десять; для нас же ни одна победа не будет последней, но первое же поражение будет последним.

Угроза стала обозначаться отчетливее, кольцо сжималось с каждым днем, с каждым часом. Напряженность давно уже достигла положения объявленной тревоги. Но правительство решило дать дипломатии исчерпать все средства и прибегало ко всяким уверткам. Противник видел в этом проявление слабости. Что де-

лать? Из Парижа передают: главное, не стреляйте первыми! Вашингтон просит: терпите, держите нас в курсе, имейте доверие! Предупреждение из Москвы: враги наших друзей — наши враги, или будут ими. Ватикан, верный своим принципам, хранил молчание.

Тысячи журналистов, набежавших со всех концов света, увидели новое лицо страны — уверенное, но суровое. Все таксисты были стариками, а машины их, казалось, были найдены на свалке. Школьники разносили почту, копали траншеи и убежища, заменяли взрослых в конторах и на полях. На дорогах почти не стало машин. Кафе и гостиницы опустели. Отовсюду, сотнями, шли телеграммы: "Эвакуируйте детей, мы дадим им приют". И — вежливый, но категорический отказ: если еврейских детей придется охранять и спасать, это будет сделано здесь.

И в ожидании грядущих событий, решающих испытаний, под недремлющим оком судьбы, люди понижали голос. Незнакомые окликали друг друга, помогали друг другу. В продовольственных магазинах никакой паники. В очередях не толкаются. Граждане и припомнить не могли, когда это люди были так любезны друг к другу. Тайная мучительная тревога сообщала им трогательное достоинство. Один иностранный корреспондент написал: "Мне стыдно выходить на улицу в гражданском". Другой пошел еще дальше: "Мне стыдно, что я не еврей".

А противник готовился к нападению. Открыто. Заклятые враги, вечные соперники заключали пакты и союзы, целовались перед киноаппаратами и ставили свои армии под объединенное командование. Китай обещал моральную поддержку миллионов. Советский Союз отправлял технику и вооружение. Алжир обязался поставить самолеты и людей, Кувейт — бронетанковую дивизию. В арабских столицах кипучие восторженные толпы приветствовали будущих героев священной войны, тотальной войны. Возбужденные ораторы призывали еврейских женщин принарядиться, чтобы принять победителей. Будущим победителям

был дан простой и ясный приказ: сжечь города, стереть с лица земли киббуцы, перерезать бойцов, утопить народ обетования в океане крови и огня. Слова? Да, слова. Слова, вызывающие смех и страх. Знакомые слова.

— И мир позволит?

— А почему бы нет? Он привык.

— А цивилизованные, прогрессивные правительства?

— Будут говорить речи. Как всегда.

— А наши друзья?

— Их отличие от других будет в том, что, произнося надгробные речи, они будут плакать.

Подобная дискуссия разразилась в нашей палатке в вечер моего приезда. Я трясся: прошлое держало нас в когтях. Хорошо это или худо? Это решит будущее, это решит война. Война: еще одна. Последняя. Так всегда говорят. Дерешься для того, чтобы больше не драться. Убиваешь, чтобы победить смерть. Кто знает, может быть, Каин тщеславно надеялся стать не только первым, но и последним убийцей в истории. Когда-нибудь и эта война получит порядковый номер, и станет известно, что она не была последней.

— Если история повторяется, последнюю пулю я сохранию для себя. Не хочу жить среди человечества, которое отказывает мне в праве на жизнь.

Это голос Шимона. Грустный голос и прозорливая решимость бывшего бойца гетто.

— Нет! Я против! Никто не может ни дать, ни отнять у меня право на жизнь! Я это право беру сам. И никому не позволю его оспаривать.

Это разгневанный Иоав, сабра, молодой боец из киббуца в Галилее. Кто сказал, что со времен Катастрофы ничего не изменилось? Неверно. Мы изменились.

— Слезы, призывы к совести, петиции — я ни во что это больше не верю, — говорит Иоав. — Бог нас не любит, и мир нас не любит: тем хуже. Это не наша проблема, это их проблема. Отныне они не будут фигурировать в наших расчетах: они будут для нас абстракт-

циями. Плевать мне на то, что они скажут или не скажут, подумают или не подумают: их рассуждения меня не касаются. Мы сами решим, какой тактики придерживаться. Есть у человечества совесть или нет — не мое дело. Думаю, что оно ее никогда не имело. Думаю, что это преследуемые евреями ее выдумали — как щит и как извинение. Чтобы не драться.

— Не говори так.

— Нет, буду говорить; они позволяли себя убивать, может быть, как святые, но не как мужчины.

— Ты оскорбляешь тех, кто были жертвами и мучениками.

— Если для того, чтобы выжить, я должен их оскорблять, я буду их оскорблять. Им надо было лишь разозлиться по-настоящему, восстать, хотя бы для этого пришлось сжечь всю Европу, весь мир.

— Не говори так, — взмолился Шимон. — Умирая, они поняли, что мир не стоит того, чтобы они спасли его или погубили; никто из живых не имеет права их упрекать.

Справа от меня Катриэль, закинув руки за голову, предавался своим одиноким мечтаньям. Гдалия, для которого Катастрофа была одним из древних преданий, воздерживался от участия в споре. Шимон встал, постоял в нерешительности и вышел. Иоав погасил сигарету, которую только что зажег, и вышел за ним. Эфраим, самый старший и самый набожный в роте, испустил подавленный стон:

— До каких же пор, Господи? И за что?

Катриэль сделал движение, словно собираясь ответить, но передумал.

За что, и до каких пор? Невинный, детский вопрос, который другие Эфраимы задавали при каждой смене поколений. Римляне и враги римлян, христиане и враги христиан, мусульмане и враги ислама: для всех для них Эфраим был желанной мишенью. Его унижали и пытали во имя любви к человеку и к Богу, его убивали во славу будущего и в отместку за прошлое, свое и его, его обвиняли в бедности, в богатстве, в могуществе.

ве, в ереси, в фанатизме, а он, он шептал, или кричал: "До каких пор, и за что? Почему мы, всегда мы? Что такого мы сделали миру, что он так упорно, так часто, так легко старается нас отринуть? Почему он считает свое существование несовместимым с нашим?". Вот уже двадцать веков имена жертв и палачей меняются, как меняются обстоятельства и причины, но вопрос остался тем же и жжет по-прежнему.

Воспоминание: в девятый день месяца Ава борода моего учителя, Калмана-каббалиста казалась еще желтее, чем обычно. Сидя на полу его комнаты, мы оплакиваем разрушение Храма. Мы изучаем тексты, еврейские мартирологи: рассказы и жалобы душераздирающей красоты. Крестonosцы, костры, грабежи, осквернения, погромы, охоты за людьми: все еврейские слезы стекаются в море, и там из них рождается песнь, которая глубже пучины. Я спрашиваю учителя: "Я понимаю, что Бог, по Своим, не нашим, резонам, хочет нас покарать: но почему народы, столько народов, так хотят быть кнутом и мечом в Его руках?". И учитель, истощенный постом, отвечает, не глядя на меня: "Мы — память Господня и сердце человечества. Мы не всегда это знаем, но оно знает. И потому оно относится к нам подозрительно и обращается с нами жестоко. Оно карает свое сердце, о котором ему упорно дает знать память. Оно бьет память, внушающую ему страх, связывающую его с мраком первоначала. И, убивая нас, человечество надеется стать бессмертным; оно убивает нас, ибо слишком часто воображает, что мы бессмертны. И поистине, нам не дано умереть. Даже если бы мы хотели, мы бы не могли. Почему? Быть может, потому, что сердце по природе своей не может не вопрошать память".

В соседней палатке включили транзистор. Последняя передача дня. Ничего нового. Хвастовство противника, его дерзкие ультиматумы. Нейтралитет — доброжелательный или недоброжелательный — кого-то из просвещенных правителей какой-то европейской или азиатской страны. В своем стеклянном дворце на Ист-

Ривер, в Нью-Йорке, Совет Безопасности ООН широко-вещательно подтверждал свое бессилие. Израиль, перед лицом ста миллионов арабов, стоял как самая одинокая нация в мире.

Но свободное общественное мнение, возмущенное призывами к геноциду, теперь уже знало, что думать. Левые не согласились с Москвой. Даже коммунистическая партия заколебалась и разделилась.

Весь еврейский народ предложил Израилю свою безусловную поддержку и стал самым надежным, самым верным его союзником. Какой-то глубинный, могучий лемех поднимал разбросанные по миру общины: их солидарность теперь проявилась во всей своей силе. Группы действия, комитеты координации, заседающая день и ночь, организовывали уличные демонстрации, петиции, призывы, мобилизовывали все средства, все воли: это было всколыхнувшееся море. Никогда еще этот народ не был таким единым, никогда еще он не действовал с такой горячностью. В Европе бывший министр заявил, что стыдится быть гражданином страны, чья лицемерная политика приговорила Израиль к гибели. Прославленный социолог написал, что исчезновение еврейского государства лишит его воли к жизни. Интеллектуалы, до сих пор переносившие свое еврейство как неловкое противоречие, теперь заявляли о нем открыто. Ассимилированные забыли свои комплексы, сектанты – свой фанатизм. Писатели и художники, голодные студенты и добродушные торговцы, верующие и атеисты, – все оказались в одном лагере, всех подняла одна и та же волна. Каждый вдруг ощутил свою ответственность за выживание всех; каждый почувствовал свою меченность, каждый ощутил себя под прицелом. Знаменитый скрипач отменил серию концертов и улетел в Лидду, заявив: "Наши враги кричат, что уничтожат два с половиной миллиона евреев – ну, так пусть они уничтожат еще одного". Тысячи юношей горели желанием драться, или хотя бы находиться там. Коммерсант из Миссисипи позвонил в израильское консульство в Нью-Йорке: "Я прожил жизнь, сты-

дьясь, что я еврей. Я хочу, чтобы вы знали: я теперь иной, я не буду больше скрываться. Я сегодня же открою своим детям, кто я, кто они". Европейский банкир предложил всем своим единоверцам принять израильское подданство, в добавление к тому, которое у них есть. Известный университетский профессор пошел еще дальше: "Если мое правительство поставит меня перед выбором, я выберу свой народ, который сейчас под угрозой".

Тогда я понял, что в час испытаний человек становится больше себя и представляет не только себя. Когда речь идет о его корнях, он становится суммой приобретенного или полученного по наследству опыта, комком перепутанных судеб, подспудной сетью связей и дружб, он становится совестью. Химеры и угрызения, тени и существа без теней, которые являлись ему во сне, — вот они, все они в нем, с ним, и делают то, что делает он, и заставляют его сделать выбор, толкают его на бой. Отныне он видит, он любит только ту длинную и хрупкую цепь, чьим последним звеном он является. Из зрителя он становится свидетелем. Из мечтателя — всеми теми, кому когда-то он дал биение, проблеск жизни.

Такое пробуждение было почти иррациональным. Ни на минуту не забывшие о Катастрофе, Государство Израиль и народ Израиля снова обрели единую память и единое сердце. Это сердце вибрировало и билось с необыкновенной силой, изумленное собственным порывом: это была первая победа, и о ней мы узнавали из радиопередач и газет.

Известный своей нетерпимостью цфатский раввин позволил своим последователям копать траншеи и в субботу. "Покинуть человека, — сказал он им, — более тяжкий грех, чем покинуть Бога. Тора Израиля зависит от существования Израиля. Бывает, что Всемогущий отворачивается от Своего народа — разве это значит, что и мы должны поступить так же? Я говорю: нет! Без Израиля суббота потеряет свою святость. Чтобы спасти наш народ, мы пожертвуем субботой".

В другом месте цадик, укрывшись в своем жилище, обхватив голову руками, обратился к Богу: "Никогда я не сомневался в Твоей справедливости, в Твоей доброте, хотя пути их нередко от меня ускользали. Я все вынес, все принял с любовью, с благодарностью скорее, чем со смирением. Я принял кары, абсурд и гекатомбы, я даже ничего не сказал о смерти миллионов детей. Под тенью нестерпимой тайны Освенцима я подавил в себе крик, гнев и желание покончить со всем этим раз навсегда. Я избрал молитву. Я старался превратить в песнь кинжал, который Ты так часто вонзал в мое покорное сердце. Я не бился головой о стену, не вырывал свои глаза, чтобы больше не видеть, язык, чтобы больше не говорить. Я говорил себе: легко умереть за Тебя, легче, чем жить с Тобой, ради Тебя, в Твоей благословенной и проклятой вселенной, где и проклятие, как все остальное, несет на себе Твою печать. Я придумывал причины, придумывал радости, чтобы связать их с Тобою и привязать себя к ним. Но..."

Хоть он и решил не плакать, но почувствовал, что слезы текут по его рукам. Он не стал их удерживать. "Но теперь кончено, — продолжал он с удвоенной силой. — Ты меня слышишь? Теперь кончено. Я на пределе, я больше не могу. Если и на этот раз Ты бросишь свой народ, если и на этот раз Ты позволишь убийцам перерезать Твоих детей и загрязнить их преданность Завету, если и теперь Ты изменишь своему обещанию, то знай, Господь всего, что дышит, знай, что Ты больше не заслуживаешь любви Своего народа, той страсти, с которой он славит, святит и оправдывает Тебя перед всеми и против всех, перед Тобой и против Тебя самого; если и на этот раз оставшиеся в живых будут перебиты и смерть их будет осмеяна, — знай, что я покину свое кресло и свою должность наставника, я брошусь наземь и посыплю голову пеплом, и буду плакать, как не плакал еще никогда в жизни, буду выть, как ни одна жертва еще не выла перед смертью, и знай, что каждая слеза моя, каждый крик будут омрачать Твою славу, каждое движение мое будет от-

вергать Тебя, как Ты меня отвергнешь, меня и слуг Твоих с их разящей и эфемерной правдой”.

И, задыхаясь, раввин бессильно уронил на стол внезапно отяжелевшую голову, словно пытаясь спрятаться.

А вот что произошло на Украине. Единственная в Киеве синагога никогда еще не была так набита. Две тысячи человек. И, что редко бывало, — много молодежи. Обычно главный стукач, некий Иона Гонер, оттеснял молодых куда-нибудь подальше, в сторонку. Грубый, злобный, сварливый, он подавлял всякую попытку передать еврейское наследие новому поколению. Он был главой синагоги и правил ею, как тюремщик. Старики, ходившие туда молиться, дрожали перед ним. Все знали о его связях с тайной полицией.

Но в этот вечер молодые пришли раньше, чем он, и их было такое множество, что он не мог их выгнать. Он был хитер, он понял, что их присутствие не случайно, что оно символизирует солидарность с далекими братьями. И старики тоже это поняли. Они сияли от гордости и счастья. Потом они тихонько посоветовались между собой и постановили нанести сегодня решающий удар. И когда Иона Гонер приказал кантору начинать, трое самых почтенных стариков поднялись и приказали кантору оставаться на месте. После чего самый старший из них смерил главу синагоги презрительным взглядом и твердо сказал: “Пока среди нас присутствует предатель, нам запрещается вместе молиться”. — “Что? — вскочил Гонер. — Ты что сказал?”

Старик повторил свое заявление, подчеркнув, что оно основывается на Галахе — законе Талмуда. “Вы что, с ума сошли? — взревел Гонер. — Да вы несознательные люди, вот вы кто! Вы думаете, что вам все позволено? Это призыв к беспорядку, к неподчинению! Это вам дорого обойдется!” — “Мы знаем”. — “Вы мне за это заплатите!” — “Охотно!” — “Кантор! Начинай! Не слушай этих безответственных людей! Начинай, это приказ!”

Кантор и бровью не повел. Гонер, красный как

рак, корчась от гнева, тут же на месте отстранил кантора от должности и вызвал нескольких верующих, которые знали службу. Никто не шевельнулся. "Конечно, вы можете на нас донести и отомстить нам, — сказал самый старый старик. — Но мы уже стары, нам нечего терять. Мы готовы ко всему". Тут он возвысил голос: "Отныне по отношению к вам мы будем свободными евреями. И как свободный человек я прошу вас уйти в отставку и вернуться домой, чтобы община могла сосредоточиться на молитве и песнопениях".

Две тысячи зрителей затаили дыхание. Молодые не сразу поняли, что произошло у них на глазах. Старшие улыбались, подталкивали друг друга локтями; все чувствовали облегчение, освобождение. "Нет! — вскричал глава синагоги. — Я не уйду!" — "В таком случае сегодня вечером богослужения не будет".

И эта сцена повторялась несколько раз. Киевские евреи приходили в синагогу, и Гонер тоже. Час, два часа они проводили там в молчании. Богослужения не было. Наконец Гонер не выдержал и сдался. Он ушел. И кантор начал службу, *баал-коре* читал Тору с высокой трибуны.

И киевские евреи, гордые своим подвигом, скажут вам: "Война Израиля? Мы в ней участвовали".

Ибо все евреи, везде и всюду, в ней участвовали, каждый по-своему.

И мы в лагере это сознавали. Докладчики, объезжавшие наши воинские части, играли роль вестников и внушали мужество именем той коллективной совести, которая казалась нам ничем не измеримой. Мы слушали их с изумлением, мы забрасывали их вопросами: как ведет себя тот или иной государственный деятель, промышленник, романист? И после каждого ответа наша надежда росла. Да, чудеса не только были нужны и даже необходимы, но они к тому же были и возможны. Да, в наших силах оказалось сломить и победить тысячелетнее еврейское одиночество. Чем больше наши докладчики говорили, тем больше от них требовали. Они должны были рассказать все, ничего не упуская.

IX

Да, мы переживали памятные, исторические дни, это всем было ясно и всеми ощущалось. Но так как мы не любили громких слов, мы не кричали об этом. К чему тут фразы? У нас хватало забот. Мы знали, что канун сражения не продлится вечно. Взбесившиеся боги войны уже завлекли нас на край пропасти. Каждую минуту события могли разразиться, сорваться с цепи, и мир уже не будет на себя походить: мы присутствовали при его метаморфозе.

Я лично свою метаморфозу завершил. Я, считавший себя вечным врагом совместного существования и воинской дисциплины, приспособился к ним очень скоро. Отказавшись от привилегий, а также от любви к одиночеству и к неожиданному, я вставал и ложился в определенные часы, чувствуя себя кирпичом единой стены; как и все, я проклинал жару и учения, однообразие и неизвестность, а по вечерам умилялся — что мне совершенно несвойственно, — когда окрестные жители приносили нам пироги, фрукты и прочие лакомства.

Я искал общества Катриэля. Его поведение подстегивало мое любопытство. Он был одинок и умел слушать любого, кому хотелось излить душу. Он слушал собеседника так, словно хотел им стать. Он, как и я, обладал способностью жить чужой жизнью. С той разницей, что он не находил в ней материала для восстановления.

Меня смущала его крайняя доверчивость. Он не подвергал сомнению ни единое слово: по его мнению, все живущие владеют искрой истины, которую они и

передают, часто сами о том не ведая. "Ну, а лжецы?" — спрашивали его. "О, лжецы думают, что это смелно, — отвечал он. — Большинство из них лжет, чтобы промотать свою долю истины, но им это не удается".

Первый наш разговор с глазу на глаз состоялся в пятницу. Лагерь штурмовали женщины и дети, явившиеся навестить своих мужей и отцов. Я остался в палатке. Катриэль тоже.

— Это глупо, конечно, — сказал он, — но такие семейные встречи причиняют мне боль.

Поколебавшись, он добавил:

— Я должен был бы тебе завидовать. Ты один. Ты можешь жить или умереть, никого не волнующая в это. Ты ни от кого не зависишь, и никто не завидует от тебя.

— А ты?

— На мне лежит ответственность за других людей.

— На мне тоже.

Это была правда. Друзья, которые у меня были, женщины, которых я любил, умершие или исчезнувшие, — я не мог от них освободиться.

— Ты будешь смеяться, — сказал я, помолчав, — но в последнее время мне казалось, что я должен завидовать тебе.

— Мне?

— И не только тебе.

Это тоже была правда. Я завидовал всем своим товарищам, завидовал их связям и заботам. Даже их страху смерти я завидовал. Ничто так не угнетает, как дорога без конца.

— Это действительно глупо, — сказал Катриэль. — Мы так мало знаем друг друга, и все-таки друг другу завидуем. Словно в этом есть какой-то смысл.

В тот же вечер, без всякой просьбы с моей стороны, он рассказал мне притчу, которая меня встревожила. Вот она:

В один прекрасный день человек покидает свой очаг и родную деревню, где не существует времени,

и отправляется на поиски радуги, на поиски приключений. Он держит путь в сторону большого незнакомого города. Ночь застает его в самой чаще леса. Он выбирает развесистую ель, которая укроет его и от ветра, и от воров. Перед тем, как лечь, он снимает башмаки и ставит их рядом с собой так, чтобы носки указывали направление. Мог ли он предвидеть, что в полночь некий шутник, чтобы запутать его — наказать или спасти, — поставит его ботинки носками назад, так что они станут указывать на покинутую деревню? На рассвете, ни о чем не догадываясь, он встает, благодарит Бога за то, что тот вернул ему зрение и душу, и легкими ногами продолжает свой путь. И вот с высоты холма он видит наконец таинственный обетованный город. Он говорит себе, что представлял себе этот город не таким, более обширным. Когда он входит в него, то город и вовсе кажется ему каким-то знакомым: река, сады, перекрестки. Такие же, как у него дома. К тому же ему чудится, что он узнает дома и знает, что в каждом находится. Направо трактир с пьяницами, грязными не потому, что они хотят быть грязными, но потому, что не доверяют воде. Дальше ратуша с потрепанным трехцветным флагом, который свешивается с шеста, как голова измученной лошади. Налево жандармерия, втиснувшаяся между зеленой и мясной лавками, чьи хозяева между собой на ножах скорее по традиции, чем по необходимости. Позади зала, где справляют торжества, — базар, и можно наперед сказать, какая хозяйка что, у кого и за сколько купит. Скорее удивленный, чем разочарованный, путешественник думает: "Значит, мне солгали; большому городу нечем похвалиться, никаких тайн в нем нет. А может, его и вообще не существует, есть только моя деревня, ее образ мир отражает для меня". И с этой минуты он уже ничему не удивляется. Он знает, что за углом, рядом с домом сапожника, стоит дом, подобный его собственному. Он идет и видит, что дверь неплотно закрывается — надо починить замок — ну, совершенно как у него. За дверью раздается голос:

”Ты, наверное, проголодался, иди, поешь”. Голос похож на гнусавый властный голос его жены. Можно с ума сойти. Но желудок его пуст — лучше послушаться и не поднимать никаких историй. Притом он всегда слушался жены. Он проходит через кухню, входит в залу, окна которой выходят во двор, обсаженный зеленью. Садится за стол. Дети ему улыбаются, и это наполняет его невыразимой грустью. Младший карабкается ему на колени, играет его бородой и шепчет ему на ухо: ”Ты останешься с нами, да? Правда же, ты останешься с нами?”. Чтобы не огорчать его, и чувствуя, что он попался в ловушку, человек гладит золотистые волосы ребенка и в конце концов обещает ему все.

Катриэль прервал свой рассказ, задумался, словно проверяя конец, и повторил последние слова:

— Да, в конце концов он все ему обещал.

— Ну, а потом? — спросил я, облакачиваясь, чтобы лучше его видеть.

— А потом — ничего.

Что-то в его притче меня беспокоило. Мне казалось, что я ее уже слышал. Резонанс, который она во мне вызывала, был мне уже знаком.

— Да, он сдержал свое обещание, — продолжал Катриэль. — Он больше не вернулся в свою деревню. Смерть пришла за ним туда, но его не нашла.

И, по-прежнему глядя в какую-то невидимую точку в пространстве, он кивал головой, говоря ”да-да” ребенку, и путнику, и, может быть, даже смерти.

— Все это не выдерживает критики, — возразил кто-то. — Твой путник по логике вещей должен был бы в своем ”новом” жилище напороться на своего двойника.

— Ничего ты не понимаешь, — усмехнулся Гдалия. — Тот тоже ушел искать приключений.

— Искать свою звезду, да?

— Или смерть?

— Вы все нам надоели, — сказал Гдалия, общепризнанный покровитель Катриэля.

Да, я уже слышал эту историю, твердил я себе. Когда, где, от кого? Я не помнил, и это меня сердило, как бывало всегда, когда моя мысль в своем лихорадочном беге выдумывала себе непреодолимые препятствия. Этот путник, со своим нелепым бегством, не был для меня незнакомцем. Но из-за какой-то смутной тревоги я рассердился на Катриэля.

— Мне не нравится твоя история, — сказал я нарочно, чтобы его раздражить.

— Потому что ты в ней узнаешь себя? — спросил Гдалия, приподнимаясь на раскладушке.

Я продолжал, не обращая на него внимания:

— В ней ничего не говорится о настоящей жене, о настоящих детях, которые были покинуты в своем затеряншемся городке и напрасно ждут возвращения путника. А их судьба интересует меня не меньше, чем его; их горе стоит не меньше, чем его стремления.

Я говорил с пафосом. Я стал мишенью всех взглядов, удивленных и неодобрительных, словно я совершил неведомо какой проступок. В сгущающихся сумерках я увидел Иоаву и Шимона, которые глядели на меня исподлобья, видимо, недоумевая, какая муха меня укусила. Но правде говоря, я и сам себя об этом спрашивал.

— Продолжай, пожалуйста, — тихо сказал Катриэль.

Я было зашулся, но все-таки не смог ни умерить свой голос, ни заставить себя говорить о другом.

— И герой твоего рассказа мне тоже не нравится. Он лжет. И потому заставляет лгать и тебя тоже. Не допускаю, чтобы человек мог избавиться от своего Я, как от связи или от воспоминания; оно к нему приклеено и ему принадлежит, оно не принадлежит никому другому, оно — он сам. Нельзя обменять свое Я на другое, более тонкое, более правдивое. Твой герой может убить его, дав убить себя, да и то будет нелегко; но уж, конечно, он не может потерять его в пути. Я можно сравнить только со смертью. Твой

человечек может жить и даже умереть ради тебя, но не вместо.

С чего я так завелся? Катриэль вызвал во мне враждебность, которую я тогда не мог ни оправдать, ни объяснить. Не он ли встал на мою защиту? Не в нем ли я нашел те качества, которые обычно ценил в других? Не в нем ли почувствовал союзника? Разве он был виноват в том, что его притча прозвучала для меня, как сигнал тревоги?

— Может быть, ты и прав, — ответил Катриэль кротко и печально. — Я не имею права говорить вместо него, его именем. Возможно, его судьба — жить во лжи и сознательно этому покориться из-за излишка или недостатка гордыни. Может быть, он только и желает солгать смерти, чтобы — наконец — получить возможность умереть. Да, я думаю, что мы должны оставить за ним последнее слово, потому что первого он был лишен.

Он улыбнулся.

— Но рассказ — это ведь всего лишь рассказ, не так ли? Он существует для того, чтобы его пережили или передали; а остальное, Давид, не в нашей власти.

Он ожидал опровержения, но желание спорить меня уже покинуло. Считая дебаты оконченными, Гдалия, импровизированный арбитр, объявил, что в споре победил Катриэль.

Кто-то откинул полог палатки. Я увидел сереющее небо, собирающее первые нечеткие тени. Жара спала. Можно было вздохнуть. Где-то отчаянно вопил сержант. Сорвался с места и укатил джип. Перекрикивались два офицера. Слышалось бряцание цепей. Голос рядом скомандовал затемнение. Небо и земля прорвали свою оболочку, чтобы пропустить сумерки, несшие предзнаменование. Лагерь ушел в себя, в свою тревогу, в свою тайну. Я вздрогнул отчего-то. Только позже, много позже, я понял — отчего.

Я был подавлен; у меня начиналась бессонница, я плохо соображал. Болела голова. Боль, как всегда, собиралась в глазах, которые, казалось, расползались по всему лицу. Чтобы спастись от нее, тело дергалось во все стороны. Сперва я пытался сопротивляться, но это вызрело такое сердцебиение, что меня стало трясти как в лихорадке. Тогда я позволил себе поплыть по волнам боли. Сквозь туман я видел, как удаляются неожиданности и происшествия предыдущих дней. Образы и знаки отрывались от меня, я уменьшался с каждой минутой. Друзья и незнакомцы смешались, они показывали на меня пальцами и бормотали что-то невнятное. Несколько лет назад, в больнице, перед тем, как потерять сознание, я испытал такое же ощущение отсутствия и бессилия. Я шел ко дну, медленно и мучительно. И по мере погружения дно уходило из-под меня. Чем больше я старался остаться тем, чем я был, тем больше я менялся. Где я?

Я приподнялся, пришел в себя. В палатке было тихо. На одну секунду серебристая ночь скользнула в щель между полотнищами, прильнула к лицу Катриэля и ушла. Я снова лег. Боль стала сильнее, огненный бич хлестал мой мозг. Принять таблетку, снотворное? Зажигать свет, искать лекарство, воду — нет, слишком сложно. Малейшее усилие представлялось мне сейчас труднейшим предприятием. Нет, лучше не шевелиться. Бездействие все-таки было удобнее. К тому же я знал по опыту, что после первого приступа спасение можно будет найти внутри самой болезни.

Сжав кулаки, я стал ждать первой волны — и до-

ждался. Потом почувствовал, что тревога поднимается снова и набухает в груди. В глубине души я уже догадывался, что она вызвана не какими-нибудь событиями, а Катриэлевой притчей. Она казалась мне очень старой и связывалась в моем представлении с другими пейзажами, с другими встречами. Как же добраться до первоисточника? Я блуждал по закоулкам собственной памяти. Но так как я был слишком возбужден, то споткнулся на первых же шагах. Лица, имена, видения возникали — вне времени и места — кружились, смешивались, исчезали и возникали снова, не меняясь, но численно увеличиваясь, умножаясь, умножаясь... Каждое купалось в лунном свете, каждое можно было схватить, разглядеть, но какое избрать, какое отделить от остальных? Слишком их было много, и среди них слишком много забытых. Ни один эпизод, ни одно слово не освещало мою память настолько, чтобы мне открылась дорога или хоть направление. Прерванные сны, подавленные мятежи, прорвавшиеся страсти, слишком рано и слишком поздно угасшие страсти, обрывки надежд, эскизы планов и приключений. Больной хочет открыть свою тайну и умирает, не сказав ни слова; бабушка в черном платке задумчиво ласкает невидимого сироту. И среди всех этих бесплотных, фантазмагорических и нереальных созданий — спокойное, неподвижное лицо женщины, которая в каком-то прежнем существовании, должно быть, была моей, быть может, была моей и теперь. Она улыбается мне, как всегда, издали, словно с другого берега реки. "У тебя все хорошо?" — "Да, все хорошо". — "Кого ты ищешь?" — "Тебя". — "Ты не должна". — "Я знаю, — говорит она, — я не должна. И ты тоже не должен больше искать". — "У меня нет выбора. Я больше ничего не умею". Она грациозно склоняет голову, она покорилась необходимости ждать. У меня в горле комок, но я отворачиваюсь от нее, я пускаюсь по другим тропам, где глубоко-глубоко зарыты другие ловушки, оставшиеся нетронутыми. Какие-то наброски: жизнь в Париже, молитвы в Вильямсбурге, дружба в Танжере.

Грот в горах, тюремная камера, палач, жертва, маски моего лица под очертаниями их лиц. И все время эта мучительная, тоскливая тревога, которая ност в костях и течет по жилам. Теперь она уводит меня в детство, в родной город, в какой-то тайный подземный заговор, где начало смешивается с чьим-то печальным тягучим голосом. Женщина – моя мать – зовет меня: "Ты такой бледный, ты не болен, я надеюсь?" – "Нет, мама, я здоров". – "У тебя такой озабоченный вид, ты не остался без друзей, я надеюсь?" – "Я потерял их, мама, я их ищущу". – "Ты хорошо сделал, что вернулся. Они здесь". – "Это еще не все. Я ищущу один рассказ". – "Ты хорошо сделал, что вернулся, сын. Он здесь". – "Здесь? Где же?" – "Дома, мой сын". Но никакого дома не существует, есть только сумасшедший дом, с его безумцами. Это все, что осталось. Я бегу от них, я кидаюсь к дедушке: "Помоги мне!". Но старик отвечает: "Слишком поздно!" Я бегу к Калману-каббалисту – и опять: "Слишком поздно". Учитель забыл свои молитвы, дед – свои рассказы. На улице я хватаю за ворот нищего, который меня очень любил: "Спаси меня!" – "Слишком поздно!" – отвечает он, смеясь. "Слишком поздно даже, чтобы смеяться?" – "Даже, чтобы смеяться". У меня кружится голова, я кидаюсь к каждому, кто сыграл какую-то роль в моей жизни и сейчас носится в моем лихорадочном, мятущемся мозгу. Кающиеся грешники, посланцы, бродячие проповедники: все они обременили меня – кто благословением, кто молчанием. Один из них открыл мне судьбу человека, который, убегая от себя самого, обрек себя на топтание на месте. В конце рассказчик добавил: "Когда-нибудь тебе расскажут эту историю и тогда..." Тогда – что?

Я подекочил: не голос ли Катриэль? Я затаил дыхание, напряг слух. Ничего. Если Катриэль и не спит, он не подает признаков жизни. Я почувствовал себя виноватым: я словно подстерегаю его. Но ведь я ничего не вижу, я слышу только, как ветер под звездным холодом скользит по палатке.

Я встал и на цыпочках вышел. Небывалый свет окутал меня, по спине побежали мурашки. Холод помог, мне стало лучше. Как это прекрасно, подумал я. Знаете ли вы, Малка, что та женщина походила на вас? Знаете ли вы, как это бывает прекрасно, как пронзительно, когда зверь уже избрал свою жертву и преклоняется перед ней, прежде чем ее растерзать? Знаете ли вы, как рвет сердце ночь, текущая, как река, как река в пустыне, как кровь в жилах умирающего? Завтра, думал я, завтра, может быть, вся эта красота исчезнет, и начнется бойня.

Вдруг я почувствовал чье-то присутствие за своей спиной, чей-то взгляд на своем затылке.

— Невозможно спать, — сказал Катриэль.

В эту минуту я не знал, действительно ли это он, живой Катриэль, или лишь часть моего бреда, моего прошлого.

— Не спишь, — сказал он. — Да я и не нуждаюсь во сне.

Он стоял, засунув руки в карманы, спрятав голову в плечи, и вглядывался в горизонт, словно искал там что-то или кого-то. Не найдя ничего, он просто вдохнул свежий воздух.

— Ты на меня сердисься? Я не хотел тебя обидеть.

Я не отвечал.

— Я хотел с тобой поговорить, — сказал он, помолчав. — Никогда не знаешь, представится ли такой случай снова.

Я все еще не знал, его ли я вижу и слышу. И опять ничего не ответил. Он увидел в этом проявление враждебности.

— Извини, пожалуйста. Я все-таки попробую заснуть.

— Подожди. Подойди поближе.

Не сразу, но он подошел.

— Откуда ты знаешь этот рассказ про путника?

— От отца.

— Я с ним знаком?

— Вряд ли.

— А твой отец — может ли он знать меня?

— Маловероятно. Он ведь слепой.

Мой отец не был слепым, подумал я, снова отгораживаясь от Катриэля. Хотя, пожалуй, и он был слепым. По-другому. Мир и люди были не такими, какими он их видел.

— Этот рассказ... — сказал я. — Я его уже слышал.

— Возможно.

И добавил, поясняя:

— Рассказы моего отца, знаешь ли, принадлежат не ему одному. Часто они только отражают то, что переживают другие люди.

И тогда словно вспыхнул свет, и я увидел разгадку. Когда-то, где-то, в моем детстве, нищий, с протянутой рукой и безумным взглядом, просил у меня вина и хлеба для субботы. Я пригласил его к нашему столу, он отказался: "Я боюсь людей, их рассказы подвергают мою жизнь опасности. Знай, малыш, в тот день, когда тебе расскажут твою жизнь, жить тебе останется недолго".

Внезапно я понял, что путник — это я. Это я, замаскировавшись иностранцем, жил подле женщин, принимавших меня за другого. Настоящий я остался там, в царстве ночи, в плену умерших. А живой я, мнимый я, жил во лжи; я был только эхом давно угасших голосов. Я был тенью и был далек от теней, и на тени я наталкивался день за днем, обманывал их и предавал, продвигаясь вперед. Я думал, что живу своей жизнью, но я только выдумывал ее. Я думал, что бегу от призраков — но только расширял их власть. А теперь уже слишком поздно, чтобы повернуть назад.

Я подстегнул свою мысль. Нельзя было позволить ей останавливаться. Скорее, скорее вперед: она должна дойти до конца. Если путник — это я, если его история — моя, что же это значит? Я снова увидел нищего, услышал его предупреждение. Если он был прав, мне следовало сделать некоторые распоряжения: нельзя было терять ни минуты.

Чтобы овладеть собой, я глубоко вздохнул и от-

кашлялся. Порылся в карманах, что-то ища. Катриэль молча меня разглядывал. Открыть ему то, что он невольно открыл мне? Признаться, что, сам того не зная, он стал для меня вестником смерти? Я предпочел его побережь.

— Не знаю, что готовит нам война, — сказал я. — Я предлагаю тебе договор: мы оба его заключим. Я помогу тебе победить страх и противника; ты же зато будешь помнить меня, какой я есть, каким я буду. Не старайся понять — поймешь потом. И даже если не поймешь, это неважно. Я тебя прошу только хорошенько на меня смотреть и слушать. Держись около меня. Всегда. Даже в бою, особенно в бою. Старайся, чтобы каждое мое движение, каждое мое слово врезалось тебе в память. Ты согласен?

— Но...

— Не спрашивай меня ни о чем. Согласен?

Катриэль был так потрясен, что растерялся. Открыл рот, закрыл его. В конце концов он пробормотал:

— Я хотел бы об этом поразмыслить.

— Время не ждет.

— Кто тебе это сказал? Твой друг Гад?

— Нет, не он.

Он вздрогнул. Я подумал: до чего открыто, до чего невинно лицо человека ночью, лицо человека, который станет твоим союзником, твоим наследником! Знаете ли вы, Малка, как мучительно чист трепет человека, который, предчувствуя свою роль свидетеля, внезапно провидит в будущем не свою, а чужую жизнь — искалеченную или прерванную?

— Я думаю о том, что сказал бы на все это мой отец, — проговорил Катриэль.

— Он бы посоветовал тебе согласиться.

— Почему?

— Потому что и он, конечно, заключил подобный договор.

— Договор? Мой отец?

— Вот именно.

– С кем?

– Неважно с кем. Скажем -- с Богом.

– Причем тут Предвечный?

– Ну, скажем, при том, что Он любит принимать участие во всех договорах.

– Зачем это Ему?

– Ему тоже нужны свидетели. Вначале было слово: слово есть история человека; а человек -- история Бога.

Я был готов к тому, что он закричит о богохульстве, но это не было богохульством, и Катриэль это понял.

– Один вопрос, -- сказал он изменившимся голосом.

– Да?

– Кто сказал тебе, что ты из этого не выйдешь живым? И кто сказал тебе, что я выйду?

– Наш договор -- двусторонний. Тот, кто выйдет живым, будет свидетельствовать о другом.

– Но ведь ты ничего обо мне не знаешь!

– Как ничего? А твои вопросы -- это ничего? Твоя манера слушать, наблюдать -- ничего? Твоя страсть к тайне, к молчанию -- это ничего?

– Ты хочешь сказать, что я -- это, и только это?

– Это -- элементы, среди других, многих других. Все вместе они создают твое Я, которое выражается каждым из них в отдельности. Это -- знаки, ключи. Остальное ты дашь мне потом.

– Потом? Когда? И как я это сделаю? Я не люблю слов. Они разрушают то, что описывают. Они деформируют то, что подчеркивают. Облачая истину, они, в конце концов подменяют ее собой.

– Может быть, ты придаешь этому слишком большое значение. Скажи себе, что и слово создано Богом. Скажи себе, что оно имеет самодовлеющее существование. Ты питаешь слово молчанием? Это хорошо. Но своим пренебрежением ты рискуешь лишиться его природных свойств.

Он нерешительно качал головой. Не надо было на

него давить. Он еще не дал мне согласия, но я знал, что получу его. Я подарил ему минуту передышки, чтобы тут и не пахло принуждением. Потом протянул ему руку:

— Значит, согласен?

Он не принял моей руки.

— Почему ты выбрал меня? — спросил он.

— На это я ответить не могу. Может быть, потому, что мы такие разные. Тебе никогда не хотелось выйти из себя и стать тем, кем ты быть не можешь?

— Нет. Никогда.

— А мне хотелось.

— Мне кажется, это не единственная причина.

— Ну, скажем, я хочу передать историю тому, кто сумеет ее рассказать.

От такого ответа его лицо должно было бы проясниться, но оно осталось напряженным и суровым. Наконец он вздохнул, словно удивившись залетной мысли.

— Согласен, — сказал он.

И пожал мне руку с необыкновенной силой.

XI

— Он говорил вам обо мне? — спросила Малка.

— Очень немного.

Чаще всего он рассказывал мне о своем отце, известном раввине из Цфата, у которого, кроме сына, не осталось на земле никого. В юности Катриэль был многообещающим талмудистом, к тому же он никогда не мог похвастаться здоровьем и легко получил бы освобождение от военной службы, но отец воспротивился этому. Мало того: он приказал Катриэлю пойти в армию добровольцем. "Но, отец, подожди, по крайней мере, чтобы меня призвали!" — "Наш народ в опасности, неужели у тебя, сын мой, хватит терпения ждать?" — "Но кто будет смотреть за тобой?" — "Израиль возрождается из пепла, а ты заботишься только обо мне?" Раввин усадил сына перед собой, и голос его стал жгуче-нежным: "Разве ты не знаешь, что через твое посредство я тоже приму участие в деле обновления?" — "Но, отец, мои занятия, моя преданность Торе и Богу, как быть с этим?" — "Вернешься к этому после". — "Когда?" — "Потом". — "А если я погибну?" — "Бог помогает тем, кто святит Его имя". — "А если я погибну, отец?" Раввин высоко поднял голову, словно желая смерть презрительным взглядом сына, увидеть которого он не мог. "Ты боишься?" — "Да, отец". — "Боишься страдания, смерти?" — "Да, отец, боюсь". Раввин вздохнул и наморщил свой высокий открытый лоб: "Тебе многому еще надо научиться, сын мой. Ты должен бояться причинить боль, навлечь смерть. Умереть во имя Бога и Его заповедей — ничто: это делали наши предки, святые и мученики. Но уби-

вать во имя Бога, проливать кровь — это трудно, это чуждо нам, противно нашей традиции, нашей природе: вот чего ты должен был бы бояться”.

— И он ничего не сказал обо мне? — спросила Малка.

— Я ведь уже говорил вам: очень немного. Как вы встретились в армии. Вы так никогда и не сказали ему, что любите его. Он не сердился на вас за это. Он понимал и признавал вашу правоту: зачем говорить ”люблю”, когда любишь? Каждое движение, каждое биение сердца это подтверждает. Когда любишь, то говоришь это естественно и просто, даже не словами: манерой ходить и вставать, вести себя за столом, опускать глаза перед человеком, которого ты каждую минуту для себя открываешь и каждую минуту желаешь все больше. Не правда ли, Малка?

— Правда.

— Он рассказал мне и о том, как умер Саша. Он очень его любил, но вас он любил больше. Вы знали это, Малка?

— Нет, я этого не знала.

— Он считал, что вы более хрупкая, чем Саша. Что вы под большей угрозой. Он говорил мне: моя жена нуждалась во мне еще больше, чем мой сын. И я в ней. Вы это знали?

— Нет, я этого не знала.

— Пока Саша был жив, вы пели, вы веселились вместе. По вечерам, или в конце недели, вам случалось обниматься, говоря: у нас есть сын, красивый, счастливый, мы имеем право открыто выражать свою радость. Потом, когда случилось несчастье, Катриэль обнимал вас, думая: у нас был сын, он умер, но мы не имеем права плакать; погрузиться в печаль значит признать наше поражение. Ему было необходимо знать, что вы счастливы. Даже потом. Особенно потом. От вас, от вашего ответа, зависела его вера в будущее, в самого себя. Вы это знали?

— Нет, я этого не знала, — вздыхает Малка.

На другой стороне темной площади дрожат огонь-

ки свеч; голоса нескольких молящихся, которые все еще поют псалмы, слабеют, напоминая то пение слепых, то шепот испуганного путника, заблудившегося в чаще леса.

— Мне холодно, — говорит Малка.

Я снимаю пиджак и накидываю ей на плечи. Пальцы мои невольно касаются ее затылка и остаются там: я не в силах их отнять. Там их вечное место — с тех пор, как первое желание пробудило человека. Мне хочется трогать эту женщину, как Катриэль ее трогал, говорить с ней так, как Катриэль говорил. Пальцы мои слышат, как ее тело отвечает моему. Пусть исчезнет то, что нас разделяет: будем одно и не будем ни о чем думать.

— Мне холодно, — говорит Малка, вздрагивая.

Я тоже дрожу, а ведь мне-то не холодно. Напротив, я весь горю. Я задыхаюсь. А Катриэль? Я уже не знаю, чья жена Малка — его или моя, я даже не знаю, кто такой Давид — не Катриэль ли он?

— Пойдем, — говорю я в минуту просветления.

Малка встряхивает головой в знак согласия. Я помогаю ей встать. Завистливый, отвратительный Велвел издает коротенький общинческий смешок. Цадок опускает веки, чтобы не показать, что меня осуждает. Шломо, участливый друг, шепчет:

— Иди, брат: ночь длинна, быть может, тебя кто-нибудь ожидает.

Сумасшедшие корчатся от смеха, нищие кричат слова ободрения и дают советы. Молодой легчик, вытаращив глаза и вытянув шею, давится от волнения. Меня зло берет: за кого они меня принимают? Какие намерения мне приписывают? Неужели они в самом деле воображают, что...

Мы обходим площадь. Малка берет меня за руку, и ее тепло проникает в меня. Мы усаживаемся под самой Стеной, в дальнем уголке, прямо на землю. Подумать только, что это могло и не произойти со мной. Подумать только, что это могло произойти с кем-нибудь другим.

-- Говори, -- просит Малка.

Она обращается ко мне на ты! Это что-то значит, но я лучше не буду об этом думать, не дам себя увлечь.

-- Говорить? О ком вы хотите, чтобы я говорил?

– Все равно.

– О Катриэле?

-- Все равно. О нем, о тебе. О нас. О ком хочешь.

– Как рассказать вам о нем? Он ушел слишком рано, слишком быстро. Раньше меня. Смерть убила своего посланца.

-- Не говори о смерти. Найди что-нибудь другое. Расскажи мне о себе.

Что вам хотелось бы узнать? Что смерть опять сыграла со мной одну из своих шуток?

-- Не говори о смерти, -- повторяет она, съеживаясь.

Я думаю о Саше, о Катриэле, о Гаде. Если бы Саша был жив, он как раз сейчас вступал бы в неблагоприятный возраст, в мятежный возраст: он поставил бы под вопрос системы и ценности, разрушил бы установленный порядок. Когда-нибудь он обратился бы к отцу с вопросом: "По какому праву ты произвел меня на свет, скажи?".

– Твои мысли меня пугают, -- говорит Малка. -- Они удаляют тебя от меня, от нас.

За эти годы другие женщины не раз точно так же просили меня говорить или не говорить о пережитом, думать или не думать о нем. Их всегда интересовало только настоящее и будущее: они строили планы путешествий, общей жизни, любви, требовали верности и обещания вместе, обязательно вместе, бороться против всего, что может воспротивиться нашим шансам, нашим возможностям быть. Кусочек дороги мы проходили вместе, а потом я опять оставался один.

– Смотрите, Малка, -- говорю я. -- Гора движется. Она карабкается на небо. Посмотрите -- гора карабкается на небо. Видите? Она врывается в небо.

– Я не вижу неба.

- А гору?
- Гору вижу.
- Расскажите, что вы видите.

— Мужскую голову. Тяжелую и темную. К ней запрещено прикасаться. Она берет в плен того, кто приблизится, кто попытается любить ее. Ее любит небо.

В своей огненной лихорадке я задаюсь вопросом, о ком она думает: обо мне или о Катриэле? Может быть — о Саше?

Полузакрыв глаза, она прижимается ко мне и предлагает мне свое лицо, свои трепещущие губы, свое желание. Как она осмеливается? С ума сойти можно. Неужели же я проделал всю долгую дорогу, чтобы попасть в эту ловушку? Я стискиваю зубы, напрягаю мускулы: надо сопротивляться, надо овладеть собой, чего бы это ни стоило. Давид обязан сделать это ради Катриэля и ради Малки, которая не только Малка. Катриэль — это все мои товарищи, которых я больше не увижу. Малка — это все женщины, которых я желал, любил и страшился. А я, кто я? Я так долго носился по всевозможным лабиринтам, так долго вызывал смерть, чтобы по ней определить направление, что уже не знаю, в чем смысл моего бегства и отречения.

— Вернись, — слабым голосом говорит Малка.

Малка ли умоляет меня вернуться? Откуда? Чтобы совершить — что? Чтобы любить друг друга? Здесь? Сейчас? Впору умереть со смеху: смешное время для любви, смешное место для отречения друг от друга. Но разве нельзя сказать то же о любом времени, любом месте, любой ситуации? Существует ли любовь, совершенно чистая от предательства? И разве любить не значит исключить себя из мира живых и мертвых? А сказать "нет" любви — не значит ли согрешить все тем же отрицанием? Вот в чем ловушка: "за" и "против" стоят друг друга. Ты меня слушаешь, Катриэль? Вы меня слышите, Малка? А вы, мужчины и женщины, судящие их, понимаете ли вы уже, что любовь не есть решение? И что не существует решения вне любви?

Ибо знайте: вот эту женщину, которая не принад-

лежит мне, я мог бы любить, любить по-настоящему, соединить свое дыхание с ее дыханием, свое ожидание с ее ожиданием. Быть может, кто знает, я мог бы даже спасти ее, указав путь, искру, которая сделала бы ее любовь не такой абсурдной, не такой бесчеловечной. Достаточно было бы слова, жеста. Она согласилась бы, я чувствую. Она была бы мне благодарна, я знаю. А Катриэль? Мы сумеем оттолкнуть его, забыть. Правда, он нас не забудет. Тем хуже. Я все-таки буду говорить.

— Малка, — шепчу я, — Малка, эта ночь нам не принадлежит, но я призываю ее и хочу, чтобы она была черна и никогда не кончалась; нет у меня ничего, кроме этой ночи, — пусть же она станет моим приношением, я так хочу.

И она отвечает:

— Кто ты мне? Просто средство помнить и ждать, чтобы стерлось отсутствие и появился куст и пламя? Нет. Переменчивое имя, покрывающее вечно открытое и неизменное лицо? Тоже нет. Все гораздо проще, гораздо конкретнее: ты то, чем я хочу обладать каждую минуту, чтобы обойтись без слов и без воспоминаний. Ты — та минута существования, благодаря которой я есть то, что я есть: женщина, которая верит в любовь, потому что любит, и верит в свободу, потому что предлагает себя тебе.

И пока мы разговариваем, наши руки, беспокойные, как руки пугливых детей, ищут друг друга, соединяются, сплетаются. Мне хочется засмеяться и завывать, но я боюсь разомкнуть губы. Я боюсь Катриэля, боюсь себя. Во мне такая жажда любви и прощения, что она давит мне на грудь и вот-вот раздавит совсем. У меня начинается бред: я — бродячий, заблудший путник, который только смотрит на людей, но не берет у них ничего; я — ребенок, который отказывается родиться, а Малка — умирающая принцесса, которая отказывается умереть. И мы с ней бежим, мы бежим вслед за галлюцинирующим кочевником с окровавленным ртом, а он бежит прочь от источника, своего и нашего, прочь, туда, в пустыню, где его будут преследовать боги. Мы

бежим за ним и кричим: "Вернись, ты слишком молод, чтобы жить и умереть вдаль от людей". Он нас не слышит. И тогда я говорю женщине, чтобы она уцепилась за меня и удержала и укрыла своей любовью. Я говорю ей: "В мире, который за пределами миров, люди шатаются, задыхаются и выбрасывают любовь за пределы любви и добро — за пределы добра. Солнце их ослепляет, а ночь делает немыми. В конце концов, отчаявшись в силе слова, они хотят быть сумасшедшими, нищими, мертвыми, отсутствующими, святыми; нет, они ничего не хотят, — только чтобы им дружески подмигнул кто-нибудь со спокойной душой, и чтобы была тишина, белизна руки, свет лампы вдаль, в гостеприимной стране. Они одиноки и ненавидят одиночество, вот это одиночество, которое состоит из принуждения и угрызений совести. Другое одиночество их влечет и завораживает — то, что вызывает у них мучительную любовь и желание расцвести, распуститься, и широкий и вольный порыв к ближнему. Но мы, Малка, куда мы бежим? К какой любви, к какому одиночеству?"

Становится холодно, я дрожу, но думаю я не о холоде, а о ночи и о том, что она скрывает. Я уже не думаю о Катриэле, я думаю о женщине, которая нас соединяет и разделяет. Война кончилась, я жив и готов заключить мир и полюбить. Все члены моего усталого тела готовы к миру и к тихой любви, без затраты лишних торопливых движений. Мне бы над этим посмеяться, но мне не хочется. Я бы охотно бросился в огонь, лишь бы защититься от шумов земли и теней за моей спиной. Я бы охотно встал, поглядел бы на небо и поджег его — раз и навсегда.

— Малка, — говорю я, — пойдём танцевать. Давай изменим ночной порядок, и беспорядок тоже. Будем танцевать при свете звезд, и пусть они танцуют тоже.

— Да-да, — говорит она, — будем танцевать под покровом ночи, рядом со звездами — там мы будем защищены, ты не будешь больше мне сопротивляться, ты не убежишь от меня.

Я беру ее за талию, и горы склоняются перед нами. Лукавая луна прячется за ватным облаком. Видят ли ее молящиеся, видят ли они нас? Это неважно. Конечно, это странный час для танцев, и место тоже странное. Но мы ничего не можем с этим поделать, правда, Малка? Непобедимая сила овладела нашими телами и уносит их, как ураган, и все кружится вокруг нас и с нами. Небо над городом, и сам город, и люди, которые в нем, — все несется в общем хороводе. Мы танцуем, стиснув зубы; Малка закрыла глаза, а у меня они открыты, и я позволяю всему, что меня окружает, войти в меня, пропитать меня — ночи и звездам, горам и камням, которые наверху и внизу, и созерцаю я это с нежностью и грустью, как все, что любишь и должен утратить.

И тут я замечаю, что небо не в звездах, а в свечках, которые зажигают для мертвых. И я вскрикиваю: "Не смотри, Малка, не смотри на звезды, это глаза мертвых, глаза мертвых, которых смерть похитила у живых, быть может, глаза Катриэля".

Она прячет голову на моем плече, тут же поднимает ее снова и говорит: "Я не вижу неба, я вижу только твои глаза". Я смотрю в ее глаза, и крик чуть не срывается с моих губ. У Малки глаза не моей матери, а Илеаны, той женщины, которая пожертвовала собой, чтобы спасти мне жизнь.

И я чувствую, что пружина во мне сломалась. Мне уже не хочется танцевать, не хочется оставаться с Малкой наедине. Я сжимаю в объятиях Илеану, я оберегаю ее тело. Но зачем она сюда пришла?

Запыхавшись, мы возвращаемся на наше упавшее дерево к нашим сумасшедшим и нищим, которые, конечно же, встречают нас смешками и упреками. Мне все равно, что они подумают. Илеаны им не настичь. Она — часть моих запретных, нетронутых воспоминаний. Последний выживший запрещает вам всем к ним прикасаться.

Малка права. Вернемся к настоящему. Появляется часовой; он размахивает своим электрическим фо-

нарем, узнает нас и идет дальше, продолжая обход. Он ничего не сказал, тем лучше. Без его снисходительной усмешки я тоже мог бы обойтись. А ветер приносит со стороны Стены обрывки молитвы, как утешение.

— Самое худшее, — говорю я запыхавшейся женщине, которая все еще не хочет отпустить мою безжизненно повисшую руку, — самое худшее, когда у тебя мертвые глаза, хоть ты и жив.

— Хочешь пари, что нет? — говорит Велвел.

— Опять начинаешь? — одергивает его Цадок.

— Все-таки это удивительно, — говорит Шломо.

— Что удивительно? — спрашиваю я.

— Что ты знаешь то же, что и я.

— Объясни мне, что он хочет сказать! — кричит лейтенант. — О чем он говорит? О чем ты говоришь?

— Говори, — приказывает слепой. — Мы имеем право знать.

— Я знал женщину, — говорю я, — и любил ее, и видел, как она умерла.

— Женщину? — кричит Велвел. — Она была молодая? Красивая? Еврейка, по крайней мере?

— Она была не так молода, как я. И она не была еврейкой.

Велвел издает разочарованное ворчание. Он разочарован — и напрасно. Моя любовь к Илеане была не любовью. Слишком издалека я вернулся, слишком изранен был, чтобы увидеть в ней обыкновенную женщину. Нет, она не была еврейкой — еврейскими были ее глаза. И они преследуют меня даже теперь, здесь. У них я возьму историю, из которой Катриэль исключен. Малка это знает, она прикрывает рукой рот, и зубы ее стучат от холода.

Это ничего, думала Илеана. Это ветер бьется в стекло — хочет войти и не может, и мстит мне за это, не даст спать.

Легкий стук, похожий на царапанье. Словно мыши гоняются друг за другом по стеклу. Илеана опять открыла глаза и затаила дыхание. Нет, больше не придется сомневаться: стучат в окно. Полиция? Полиция давно уже высадила бы дверь. Посланец, связной? Кто его послал? Ладно, она посмотрит.

Тихонько, чтобы не разбудить спящего, она соскользнула с кровати, подошла к занавеске, и ей показалось, что она слышит дыхание чего-то огромного, как море. Очень осторожно она раздвинула ставни, глянула в щель и отпрянула. Перед ее домом стояла толпа. И царапанье в окно не прерывалось ни на минуту.

Она хотела было предупредить спящего. Нет, не стоит его пугать. Люди на улице не знают, что он здесь. Чего они хотят? Ладно, она выйдет к ним и узнает. И что бы там ни было, она сама справится.

Она еще больше раздвинула ставни. Ее заметили, и шум стих. Мужчины, стоявшие впереди, стали знаками вызывать ее на улицу. Высокомерно кивнув головой, она дала понять, что согласна.

На минуту она задержалась, чтобы отыскать и надеть халат, ощупью нашла дверь, открыла ее и снова заперла на ключ. Люди увидели ее и зашептались, изумленные: до чего красива эта женщина из замка, такая властная, такая гневная; может, чего доброго, и прибить... Широкоплечий мужчина отделился от толпы.

Илеана подняла руку: "Стой! Кто ты?"

Мужчина остановился как вкопанный — так хлестнул его этот хрипловатый повелительный голос. Ноги его приросли к земле, будто слушались не его, а эту женщину, которая пользовалась словом, как хлыстом.

— Ты не узнаешь меня? Я Антон. Старший мастер.

— Что тебе нужно?

— Поговорить о деле.

— Вы с ума сошли? Ночью?

— Это срочно.

— Для кого срочно?

— Для нас. Для тебя.

— О чем речь?

— Я тебе сказал. О важном деле. Которое всех нас касается.

— Ладно. Подойди.

Она знала Антона. Он когда-то, до войны, работал у них в усадьбе. Скандалист, нахал, бабник, дурак, но себе на уме.

— Говори, — сказала Илеана.

— Я пришел как друг.

— Не сомневаюсь. Только друг посмел бы разбудить меня среди ночи. Вижу, что ты всю деревню поднял на ноги. Не знала я, что у меня столько друзей.

— Все желают тебе только добра.

— Спасибо. А теперь, милейший, я жду объяснения. Ясного, четкого и, главное, короткого.

Антон помял в руке невидимый платок и откашлялся.

— Это по поводу твоего гостя. Он живет у тебя, мы знаем.

— Я принимаю кого хочу. Ты что, ревнуешь?

Антон проглотил слюну:

— Напрасно ты смеешься. Это серьезно. Мы знаем, говорю тебе.

Тут только Илеана поняла, что предстоящая борьба будет нелегкой. Тон старшего мастера ей не понравился. Она почувствовала, что это враг. Что ж, она его победит. Сознание опасности сделало ее еще краси-

вее. На одно мгновение она задумалась — а не следует ли все-таки как-то предупредить спящего. Нет, это ее дело — разбираться с крестьянами. Тем не менее она порадовалась, что не забыла запереть дверь на ключ.

— Хорошо, — сказала она. — Пойдем в сарай. Ты недоволен? Тем хуже. Я принимаю гостей, где хочу. Кого-то в гостиной, а тебя — в сарае.

— Мы идем за тобой, — сказал старший мастер.

Илеана прошла через сад, не оборачиваясь, слыша, как люди позади шаркают ботинками и чертыхаются, спотыкаясь на темных дорожках. Антон проворчал: "Ну и женщина! Ох, нелегко это будет, нелегко!"

— Который час?

— Два часа.

— Давайте поскорее. Я хочу спать.

— Мы тоже, Илеана, мы тоже.

Она остановилась перед длинным прямоугольным добротным строением, от которого пахло сеном и навозом.

— Спички, — сказала Илеана. — И подождите, пока я зажгу свет.

Антон подал ей спички. "Трудно будет, — подумал он. — Трудно будет заставить ее уступить". Он сплюнул. Что за женщина! Ее и тысяча всадников не испугает.

Илеана без труда ориентировалась в привычной темноте сарая. Спичка не дрожала у нее в руке. Керосиновая лампа, свисавшая с деревянного, затянутого паутиной потолка, разлила желтый, грязноватый свет.

— Входите и закройте дверь, — приказала Илеана.

Крестьяне набились в сарай; они были мрачны, их смущал свет, они усиленно моргали; но не забывали соблюдать почтительное расстояние между собой и хозяйкой, которая смотрела на них, стоя под лампой; Антон вытащил было сигарету, но его тут же одернули:

— Я не разрешаю здесь курить.

Старший мастер покорился, разведя руками, чтобы видели собравшиеся — что вы хотите, это тигри-

ца, а не женщина. Илеана еле удержала улыбку: если так пойдет и дальше, все будет хорошо.

Она всматривалась в стоящих перед ней людей. Она знала их всех. Мужчин с загорелыми, иссушенными солнцем лицами; женщин с жесткими, недоверчиво выдвинутыми подбородками. Отцы семейств, парни жениховского возраста, хлебопашцы в выцветших спецовках, конюхи со злобным взглядом исподлобья.

— Добрый вечер, — сказала она. — Спасибо, что пришли.

Она возвысила голос:

— Чему я обязана удовольствием видеть вас? Отвечайте.

Старший мастер выступил на шаг, как школьник, вызванный к доске.

— Я тебе уже сказал. Это по поводу твоего... гостя.

— Ну и что?

— Он еврей.

— Ну и что? — хлестнул ее голос. — Это его дело, может быть, и мое, но, во всяком случае, не ваше.

— Ошибаешься. Он еврей — значит, это и наше дело. Ты подвергаешь нас всех опасности.

— Вы-то уж ничем не рискуете!

— Ты хочешь сказать, рискуем меньше, чем ты. Но когда дело доходит до беды, все знают только, с чего она начинается, а чем она кончится не знает никто.

Ничего, думала Илеана. Я выйду из положения. Я спасу его. Она почувствовала, что бледнеет. К счастью, в желтом свете это было незаметно.

— Я беру ответственность на себя, — возразила она.

— Хорошо говоришь. Надо еще, чтобы и немцы на это согласились.

Что-нибудь другое, думала Илеана. Надо найти что-нибудь другое. Скорее. Вспокоенные беспорядочные мысли бились в голове.

— Хорошо, — заявила она. — Вы имеете право на

объяснение. Да, в моем доме живет еврей. Знаете, кто это? Нет, конечно. Я сама этого не знаю. Такое важное лицо не сообщает, кто он. Даже те, кто прислал его сюда, этого не знают.

— Какое это имеет отношение к нам...

— Имеет, Антон. И немалое. Вы разве не слышали, что в последнее время в наших местах происходят странные вещи? Раньше все было спокойно. А теперь солдаты попадают в засаду, поезда сходят с рельс, военные объекты взлетают на воздух — и все это дело рук подполья. А посетитель — мой гость — один из его руководителей.

Это была неправда. Еврей был слишком юн и слишком слаб, чтобы принадлежать к подполью. Она нашла его в лесу, где он, полумертвый, истекал кровью, и привезла к себе. Она выхаживала его, не задавая никаких вопросов.

— Вы поглупели от страха, — продолжала она, теряя спокойствие. — Неужели вы до сих пор не поняли? Он пришел ко мне по приказу подполья, и по приказу подполья я его оставила у себя. Ваша трусость мне противна...

Она агитировала свою аудиторию пламенно и гневно, взывая к разуму и патриотизму; она потрясала кулаками, топала ногами, метала молнии, расписывая цели и возможности подпольного движения, таинственного и делающего чудеса.

— Ведь мы сражаемся за вас! Чтобы вас освободить и вернуть вам ваше достоинство граждан! А вы, вместо того, чтобы нам помогать, на нас доносите? Это низко! Мне стыдно за вас!

Никто не смел ее перебить, все слушали. Илеана стала рассказывать о тяжелой жизни бойцов-подпольщиков: "Вдали от родного очага они жертвуют своим покоем, своей жизнью ради того, чтобы поднести вам дар, которого вы недостойны. У них тоже есть родные, и друзья, и возлюбленные; они тоже хотели бы пить чистую воду и засыпать в женских объятиях. Но толь-

ко, прежде чем предаться удовольствиям и подумать о своем счастье, они думают о вашей чести”.

Голос ее порой становился нежным, доверчивым и растроганным, и тогда ее слушали в почтительной тишине: она пересказывала им старинную героическую эпопею. То там, то тут кто-нибудь бормотал: ”Да, что уж тут, это верно, ничего не скажешь, это храбрые ребята, чего уж там!”

— Ну вот, — закончила Илеана. — Теперь вы все знаете. Идите по домам и не мешайте нам исполнять наш долг.

Никто не тронулся с места. Илеана подумала: ”Я выиграла партию, но завтра надо будет найти для него другое убежище. Каждый из этих людей боится, что сосед успеет сообщить в полицию раньше его”.

— Идите по домам, — повторила она. — И помните: ни слова об этом собрании. Благодарю вас заранее. Спокойной ночи.

Никто не повернул к выходу. Густо-синее пятно засветилось в круглом окошке, ночь убывала. ”Только бы он не проснулся, только бы не вздумал меня разыскивать”, — думала Илеана. Внезапная усталость охватила ее. Желтый свет придавал лицам трупный оттенок. Почему они не уходят?

— Чего вы дожидаетесь? Идите, я все вам сказала.

Антон удивился, прислушался. Голос выдал молодую женщину: она была усталой и опечаленной, а значит — уязвимой. Сейчас или никогда, сказал он себе, весь напрягшись. И бросил:

— Нам нужен твой приятель.

Илеана пошатнулась, но усилием воли заставила себя держаться прямо.

— У нас нет выбора, — сказал Антон, притворяясь огорченным. — Полиция в курсе дела. В нашем распоряжении двадцать четыре часа. Полиция его требует — живого или мертвого. Поставь себя на наше место.

Это был поворотный пункт. Илеана привыкла повелевать и потому защищалась неумело. Она презирала низость, она не хотела даже бороться с нею. Ей почу-

дилось, что она тонет в грязном желтоватом море. Свора псов гонится за нею, волны качают ее, еврей, ее новый друг, стоит на берегу и кричит ей оттуда какие-то слова, которые теряются в тумане.

— Сигарету, — сказала она.

Антон вытащил из кармана две. Как победитель, он сначала зажег свою.

— Спичку, — сказала Илеана.

Антон протянул ей спичку. Это был самый волнующий час его жизни.

— Я очень хотел бы помочь тебе, — сказал он снисходительно. — Но боюсь, что это невозможно. Ты знаешь, что такое полиция: с ней шутить опасно. Во всяком случае, в военное время. Я уверен, что ты нас понимаешь.

По мере того, как он ее поучал, голос его делался все более высокомерным. Сперва он называл ее "милая Илеана", потом — "Илеанушка", потом и вовсе "моя бедная Илеана".

— Если то, что ты говоришь, правда — а мы слишком тебя уважаем, чтобы сомневаться в твоём слове, — и этот парень не твой близкий друг, то ты должна отдать его нам. Твоя щепетильность, хоть она и достойна уважения, не должна влиять на твои суждения. Твой долг перед деревней куда больше, чем перед чужаком, к тому же евреем. Неужели ты хочешь, чтобы наши дома сожгли из-за вас — из-за него и из-за тебя?

Теперь Илеана жалела, что закрыла дверь на ключ. Надо было предупредить спящего. Поднять шум. Опрокинуть лампу. Вызвать замешательство. Но Антон следил за ней пристально, слишком пристально. Надо бы его отвлечь, выиграть время.

— И ты думаешь, что подполье об этом не узнает? — возразила она, овладевая собой. — Думаешь, что оно об этом забудет? Ты хоть понимаешь, с кем имеешь дело?

— Не волнуйся, — сказал Антон фальшиво-добродушным тоном. — Допустим, подполью придется выбирать между целой христианской деревней и одним

евреем-беженцем. Кого же оно предпочтет? Думаю, что оно делает правильный выбор.

— Да это не беженец! Это боец! Начальник! Его голова оценена! Его подвиги стали легендой!

Антон хитро шурился, выпуская клубы беловатого дыма, плававшие вокруг керосиновой лампы. Чем больше Илеана возмущалась, тем больше она отдавала себя в его руки. Он уже предвкушал победу.

— Кстати, — спросил он небрежно, — о каком подполье ты говоришь?

— Об Объединенном движении, конечно! В нашем районе другого нет!

— Я спросил потому, что мне очень понравилось, как ты хвалила действия подполья. Так искренне и трогательно. Одного только я не понимаю... — Он затаился, прежде чем нанести ей последний удар. — Ты говорила так прекрасно и с такой убежденностью, будто сама принадлежишь к этому подполью. Но я-то знаю, что ты к нему не принадлежишь. Дело в том, моя дорогая Илеана, что руководитель районного подпольного движения в эту минуту стоит перед тобой.

Побелевшая от унижения Илеана стиснула зубы. Одно слово, только одно слово рвалось из ее груди, набухало, рвало ей горло, требовало выхода, как плевок, как рвота:

— Сволочь! — процедила она сквозь зубы.

Старший мастер вежливо поклонился, словно услышал комплимент. Илеана отошла от него и вошла в толпу. Люди почтительно перед ней расступались. Она остановилась перед стариком по имени Миколайчик.

— Ты знаешь меня, ты знал моего отца. Тебе нечего сказать?

— Я стар, Илеана. Для меня каждый день — подарок.

— И во сколько тебе обходится этот подарок?

— В моем возрасте на цену не смотрят.

— И больше тебе нечего сказать?

— Что я могу сказать?..

— Подумай! Подумай хорошенько! Речь идет о

жизни человека, я сказала бы даже — о жизни невинного и невинно преследуемого человека, но дело не в этом. Если ты смолчишь, то пошлешь его на верную смерть. Если что-нибудь скажешь — он, может быть, останется жив. Что скажешь?

— В мои годы, Илеана, уже не играют в судей.

Под ее обвиняющим взглядом Миколайчику стало неудобно в собственной шкуре, и он захныкал:

— Что ты от меня хочешь? Что я тебе сделал? Кто я такой? Я не судья, я не убийца. Не я тут решаю, не моя это была идея. Но не пойду же я против всей деревни, верно? И кто тебе этот еврей? Ты его любишь? Нет. Ты ему что-нибудь должна? Тоже нет. Это чужой, беглец! Забудь его, Илеана, забудь! Ради себя самой и ради нас — забудь!

У нее уже не было ни слов, ни голоса, она могла только смотреть на него — но видела она не его. Она видела себя маленькой девочкой. Девочка играет на пианино, и еврей-учитель говорит: "Мягче, мягче, ритмичнее, не спешите, не спешите!". "Ты его любишь?" Нет, она его не любила. Тут другое. Разве он ее любит? Тоже нет. Он слишком молод, слишком изранен, чтобы любить. Они никогда не прикасались друг к другу. Но перед ним она чувствовала себя чистой и великодушной. Иногда, когда она наблюдала его тревожный сон, ей случалось плакать. В детстве она никогда не плакала. Он это угадал. В самые первые дни, когда он еще не поднимался с постели, он смотрел на нее из-под век и бормотал: "Не тревожьтесь за меня. Я не умру. Я не могу умереть". Однажды он сказал: "Это из-за меня вы теперь легче плачете, чем раньше? Наверное, это я научил вас плакать, плакать беспричинно? Нет, не беспричинно. Беспричинных слез не бывает".

— Забудь, — настаивал Миколайчик. — В твоём возрасте, как и в моем, человек забывает быстро.

"Забудь? — думала Илеана. — Это было бы трудно". Она ничего не знала ни о его прошлом, ни о его тайнах, ни о его желаниях. Она ни о чем его не расспрашивала. Однажды он сказал ей, улыбаясь: "Я

знаю, вам было бы интересно. Но, к несчастью, я боюсь рассказывать. Я не имею на это права. Довериться вам было бы опасно. И более для вас, чем для меня”.

Голос шепнул ей: ”Растянись на земле, позволь им топтать тебя, плевать на тебя, им только это и нужно; против него они ничего не имеют, это тебя они ненавидят, хотят заклеить, раздавить твою гордость, иди же, скажи им, что ты покорилась, что ты принимаешь их месть”. Голос звучал повелительно, но Илеана не умела склонять колени, все еще не умела.

Крестьяне следили за каждым ее жестом, за каждым движением ее тела. Голова ее отяжелела, к сердцу подкатывала тошнота, она ходила от одного к другому, а темная сила влекла ее вниз, к недрам земли, где умирают и голоса, и взгляды. Но тело ее, привыкшее держаться прямо, не склонялось, все еще не склонялось.

Она обошла всех этих людей, которых знала с тех пор, как открыла впервые глаза. К одним она обращалась с просьбой, к другим с лестью, к третьим с угрозой. Но все ее отталкивали.

Синева в круглом окошке редела. Первое движение рождающегося рассвета. Илеана вспомнила, как бодрствовала у постели больного. ”Смотрите, — говорил он после бессонной ночи. — Это самое чистое мгновение. Когда оно наступает, люди еще спят — отсюда его чистота, отсюда могущество”. Потом, когда он стал выздоравливать, он будил ее и тянул к окну. Никогда она не испытывала такого чувства покоя.

— Ты, кажется, очень держишься за своего еврея, — тихо сказал Антон. — Мне пришло в голову вот что: отдайся мне, а за это..

— Сволочь! — сказала она с последним приливом энергии.

— ... а за это я обещаю, что посмотрю — может, что и смогу для вас сделать... — Он расхохотался жирным смехом. — Ну, что скажешь?

Он бросил сигарету, затоптал ее каблуком и вытер

рот, словно после вкусного обеда или бокала крепкого вина. Потом он оглядел молодую женщину по-новому: обмерил, ощупал взглядом. Потом обратился к крестьянам:

— Барышня Илеана сделала мне очень интересное предложение, — сказал он, почесывая голову и прикидываясь смущенным. — Мой долг вам об этом сообщить.

”Я не выдержу, — думала Илеана. — Я не должна была запирать дверь на ключ. Надо было предвидеть, догадаться...” У нее кружилась голова. Этот грязный, томительный желтый свет. И эта громадная холодная рука, которая стиснула сердце и давит, давит...

После слов Антона поднялся общий шум. Смех, ругательства, непристойности. Женщины корчились от смеха. Чтобы порадовать их еще больше, Антон стал кокетничать: причесался перед воображаемым зеркалом, поправил пояс, застегнул рубашку.

— Так вот, значит, это предложение: возместить нам ущерб, — объяснил он. — Решайте сами. Я бы его принял. Моя супруга рассердится, но чего не сделаешь, чтобы спасти еврея?

Мужчины хлопали его по спине:

— Ну-ну, не жалуйся!

— Хочешь, чтоб тебя заменили?

— В сущности, — продолжал старший мастер, — я не должен думать только о своем удовольствии. Я не эгоист. Пусть воспользуются предложением и другие. Попросим нашу красавицу, нашу великолепную благодетельницу быть с нами пощеднее, верно?

Наконец-то тело молодой женщины сдалось и рухнуло на землю. Она потеряла сознание. Аптекарь, который был тут же, привел ее в себя. Голоса из толпы приказывали ему осмотреть ее повнимательнее.

— Не стесняйся!

— Платье-то расстегни!

— Надо посмотреть, какой товар она предлагает!

Илеана открыла глаза и увидела старшего мастера; нагнувшись над ней, он настойчиво спрашивал:

— Где ключ?

Молодая женщина не знала, что у нее уже не прежние глаза: теперь они отражали пустоту.

— Где ключ? Дверь заперта. Твой любимый еврей, быть может, вооружен. Будь умницей, будь добренькой, дай мне ключ. Мы хотим войти к тебе как друзья.

К Илеане вернулась ясность ума.

— Помоги мне встать, — приказала она.

Последний шанс мерещился ей: пойти с ними, открыть дверь, найти способ предупредить его, спасти.

— Я пойду с вами, — сказала она.

— Вот теперь ты ведешь себя хорошо. Bravo!

”Перед самой дверью, прежде чем повернуть ключ, я закричу”, — думала Илеана, ведя крестьян через сад к дому. Но план ее провалился. В нужный момент ей изменил голос.

В полумраке комната казалась мирной и спокойной. Стоя в дверях за всеми этими спинами, Илеана призналась себе, что побеждена.

Все остальное разворачивалось, как хорошо продирижированный кошмар. Антон и три его сообщника на цыпочках, как балетные призраки, подошли к кровати и окружили ее. словно каким-то древним, культовым движением, они все сразу подняли руки, потом медленно, очень медленно, стали их опускать и по сигналу старшего мастера, воткнули свои ножи в тело жертвы — съжившееся под одеялом, будто ожидавшее их тело. И тут раздался рев предводителя:

— Он сбежал! Он ускользнул!

Молодая женщина забыла вздохнуть. Она увидела открытое окно. Антон увидел его тоже. Несколько человек выбежало в сад, чтобы настичь беглеца, но все они вернулись ни с чем.

— Где он? — закричал Антон. — Говори, где он?

— Не знаю, не знаю, — ответила она обморочным голосом.

— Ты заплатишь нам за это! Теперь ты нам за это заплатишь!

Илеана смотрела на него не видя, даже не понимая,

чего он от нее хочет. Она легла на кровать, удивившись даже, что кровать пуста. У нее болели глаза, она подумала: это не мои глаза. Она различила отблески ножей в устремленных на нее, полных ненависти взглядах и поняла, что чудо не приснилось ей, что ее друг спасен. И тогда из ее сдавленной груди вырвался наконец крик — крик, в котором были и освобождение, и радость, и жертва, и призыв к безумию.

ХШ

А игра продолжалась, она всегда продолжается. Оставшийся в живых выдержал все испытания и преодолел все опасности. Его не задело ни пламя пожаров, ни безумие военных дорог. Не раз и не два мир вокруг него рушился – а он поднимался невредимый, словно после спортивных упражнений. Он не понимал: почему именно он, а не кто-нибудь из его друзей? Он и теперь этого не понимает. Если это и в самом деле игра, то он не знает ее правил, так же, как не знает своего противника.

И все-таки, мне показалось, что благодаря Катриэлю я смогу с этим покончить. Я даже был убежден в этом. Приближалась война, и я был уверен, что она разорвет цепи и доведет игру до окончательной развязки.

Я вижу себя с Катриэлем, когда мы были с ним последний раз вдвоем. Он рассказывает о своем детстве, я сравниваю его со своим. Он говорит о своих планах, а я молчу, у меня их нет. Он говорит "завтра", а я знаю, что завтра умру.

Почему завтра и почему в этой стране? Потому что мне сорок лет и я еврей? Потому что хватит оставшемуся в живых гоняться за мертвыми? Какая разница? Ты хочешь, чтобы это было завтра, и да будет воля Твоя, хотя бы на этот раз, аминь.

Я пытаюсь представить себе это: где я найду свой конец? Под развалинами дота – какого? В пустыне – в какой? Я терзаю свое воображение, подстегиваю его, но оно упирается, и мне не сдвинуть его с места. Если будущее существует, мое воображение отказывается впустить меня в него. Может, я буду изуродо-

ван гусеницами танка? Ничего не поделаешь, мне не удастся увидеть себя трупом. Ладно, терпенье! Собственно, кто сказал, что я погибну в бою? Что война разразится завтра? Я знаю только, что для меня она завтра кончится. Неважно при каких обстоятельствах. Может, во время маневров. Почему бы и нет? Шальная пуля. Граната, брошенная на секунду раньше или позже времени. Старая мина. Занавес. Конец.

Комар звенит, садится мне на щеку, я его прихлопываю. Может быть, и он знал, что его ожидает.

”Завтра”, — говорю я себе и удивляюсь своему спокойствию. Легкий холодок за плечами, у позвоночника. Ясные, вполне упорядоченные мысли. Они создают экран, который уже непроницаем для прошлого. Я живу настоящим во всей его полноте. Перемена так внезапна, впечатление от нее так сильно, что мне хочется услышать собственный голос:

— Катриэль...

— Да?

— О чем ты думаешь?

— О войне. Она изменяет тех, кто в ней участвует.

Но в чем?

— Ты боишься?

— Да, боюсь.

— Ты выполнишь обещание? Расскажешь?

— Ну конечно. И ты тоже.

Я ничего не говорю.

— Но не понимаю, как ты будешь рассказывать, — добавляет он тихо.

Он ждет ответа, однако мне уже не хочется разговаривать. Я хочу остаться один!

— Посмотри на меня, — говорю я.

Он поднимает тяжелый, пристальный взор.

— А теперь оставь меня.

От неожиданности он топчется на месте, качает головой, пожимает плечами. Потом, скорее огорченный, чем оскорбленный, он поворачивается и исчезает в палатке.

Меня охватывает чувство жалости. Жалости к Катри-

элю и ему подобным. Жалости к миру, который меня переживет.

Я потягиваюсь, я дышу во всю силу легких. В той части долины, что поросла лесом, шевелится ночь. Я делаю несколько шагов и останавливаюсь, чтобы послушать ее и понять. Два-три прозрачных кристаллических облачка гоняются друг за другом в огромном холодном небе. Белая ускользящая луна покрывается то синими, то серыми, то желтыми пятнами. Передо мной холмы Иудеи, близкие и непроницаемые. Вдали, за пахучими апельсиновыми и пальмовыми рощами, притаился темный город — кулак, в котором зажаты тысячи черных искр. И до самого края света — палатки; лагерь без огней кажется нереальным, пристанищем немых и согбенных теней, которые ждут дня, чтобы возродиться к действию, к прозрению, чтобы улететь к солнцу, крича ему о радости жизни и необходимости умереть. Стой! Кто идет? Царь, который опять стал пастухом, пророк, который хочет вновь обрести видения и голос? Значит, земля все-таки помнит людей? Падучая звезда просверкала и упала. Эй, страж, который же час ночи? Придет утро, а с ним война, и смерть тоже. Как всегда. Да, войны следуют одна за другой и походят друг на друга, и смерть идет за ними и походит на них. И все слезы, все клятвы любви и дружбы не помешают крови течь, а заре носить ее цвета. И все чудеса на свете не помешают страданию существовать и несправедливости побеждать. Путник вам это подтвердит: он вернулся в свою деревню и нашел ее в развалинах. Конец ли это истории? Не знаю. Еще не знаю. Узнаю через несколько дней или часов. Через сколько дней или часов? Скажи, часовой, когда конец? Только Ангел смерти мог бы на это ответить, но он прячется за спиной Бога, о Котором рабби Мендель из Коцка говорил, что Он повсюду, куда Его впускают. Нельзя разлучить два эти присутствия, два зова вечности. А человек? Скажи, страж, где же человек? Придет Мессия и придет молчание, и конец, и траур. Отстранись, спасайся, дыхание его сожжет все на сво-

ем пути. Эй, стражи, смотрите в оба и будьте готовы!

Тоскливая тревога снова охватывает меня: неужели же это в самом деле конец? Я вглядываюсь в тьму вокруг, в тьму в себе и жду знака или отзвука. Все путается. Образы и символы разлагаются. Проповедник, переодетый нищим, указывает мне на слепого старика: это и отец Катриэля, и мой отец, и я сам. Женщина глухо рыдает: это вы, Малка, это Илеана, это моя мать. И вдруг я в городе, который узнаю, хоть и не знал его никогда, среди возбужденной толпы, орущей: "Лови его, лови!" И я кричу тоже. Сумасшедший хватается меня за ворот и говорит: "Тебе грозит страшная опасность, отдай мне твое лицо!". Я отдаю ему мое лицо и просыпаюсь весь в поту, в судороге бешенства, которое не рассеивается целую минуту.

Вокруг все так спокойно, так тихо, тихо до слез! Из командирского барака доносятся приглушенные голоса. Машины останавливаются и отъезжают. Распахивается и захлопывается дверца. Посланец принес донесение, его расспрашивают о чем-то, предлагают выпить и отсылают, то ли успокоив, то ли нагрузив новой тревогой. Брошен ли жребий, приняты ли решения? Кем, когда? Неужто мы, несмотря ни на что, выиграли и этот день? Кто же он, хранитель нашего времени и нашей свободы? Знает ли кто-нибудь, что, когда и где должен совершить каждый, чтобы победить врага, кто бы он ни был, просто победить и выжить или умереть?

Вдали город спит, или притворяется спящим. А Катриэль? Он тоже притворяется? Как же он расскажет? Ничего, он сумеет. Он скажет: "Я видел своего друга перед самой его смертью, он делал вид, что готовится уйти".

Катриэль расскажет, он не забудет о нашем договоре. Bravo, Катриэль! Спасибо, Катриэль! Я вызываю в памяти его лицо, но оно отступает. Тем хуже, я его выдумую, нарисую заново. Скажи, игрок, до каких же пор будет продолжаться игра? Слишком поздно, чтобы жить, слишком поздно, чтобы любить. Черт бы тебя по-

брал, страж, ночь бы тебя поглотила! Я больше не играю ни в какие игры. Слышишь, страж, уже слишком поздно, чтобы сторожить.

Другая ночь, в другое время. Под синим небом, исколотым кровавыми точками звезд, помертвевшие соседи ждут появления моего отца, который пошел за разъяснениями. Он возвращается через час, а может, через два, с изменившимся лицом, с остановившимся взглядом. Я никогда не видел его таким. На все вопросы он может ответить только одно, только одно: "Это будет завтра, завтра, завтра".

И, сам того не сознавая, вырываясь из таинственного города, где время больше не существует, спасшийся от забвения, но не от смерти, я начинаю бормотать: "Это будет завтра, завтра, завтра..."

Но война началась не на заре следующего дня, а через три часа. И как все вы, товарищи моих ночей, я пережил ее в трансе, переходя от неожиданности к неожиданности, от ужаса к восторгу. Пока я оставался жив, мне следовало все увидеть и все запомнить. И внезапно оказалось, что я, который вечно путал места и века, способен сосредоточиться и ограничить себя точной временной рамкой. Час за часом наблюдал я события, фазы боев и двигался вместе со всеми в общей упряжке.

Мы поглощали свой завтрак, и, как всегда, вокруг стоял невообразимый шум, но все-таки мы слышали гул реактивных истребителей, поднимавшихся с ближнего аэродрома. Никто не проявил ни беспокойства, ни даже любопытства. Говорили: разведывательный, наблюдательный полет. Это случалось часто.

Когда завтрак был окончен, я пошел на командный пункт к Гаду. Его рука еще лежала на трубке походного телефона, и он не ответил на мое приветствие. Он склонился над картой, но он не видел ее: у него был отсутствующий вид. Странная улыбка — улыбка облегчения и покорности судьбе — скользила в его голубых глазах, казалось, в последний раз ловивших какую-то далекую мечту. Словно бы в последний раз он позволил себе роскошь подумать о назначении человека, о своем собственном назначении. Это его молодило. Передо мной опять был юноша, которого я знал в Европе, счастливый и несчастный по тем же причинам, что и тогда. Прошла минута.

— Началось, — сказал я, — да?

- Да, началось.
- Давно?
- Час назад. На южном фронте.
- Какие новости?
- Пока никаких... Но все в порядке, да, все в порядке.

Появились офицеры; кинулись к топографическим картам, к планам, стали просматривать их, сектор за сектором, точку за точкой, делая самые невероятные допущения, придумывая самые невообразимые, самые непредвиденные препятствия. Приказ главного командования был предельно ясен и четок: никакой инициативы, второго фронта не открывать. Ждать. Отвечать на местные провокации, и ничего больше. Однако не исключались и другие варианты. Все зависело от намерений противной стороны.

В лагере еще не знали, что шквал уже обрушился на пустыню. Сержанты и капралы инспектировали палатки, походные кухни, личное оружие; они следовали уставу, действовали солдатам на нервы и сами нервничали из-за пустяков. Шла игра в войну под сенью войны; никто не слышал взрывов, никто не чувствовал, что иным из нас недолго осталось жить, недолго осталось играть.

Бездонно синее небо распласталось перед жгучим, мстительным солнцем. Деревья клонили вершины, и легкий шелест ветра сливался с шумом земли.

Из помещения командного пункта выбежали офицеры и кинулись в свои части. Через минуту лагерь стал неузнаваем. Через час батальон был готов к выступлению.

Из-за стен Старого города легионеры уже обстреливали еврейский Иерусалим беспорядочным огнем. Прелюдия к настоящему наступлению? На этот вопрос ответила вражеская тяжелая артиллерия. Хоть ее прицел и был неточен, но она произвела разрушения в пригородах. Второй фронт был открыт; Гад потребовал "добро" для своих танков и получил его. Лейтенанты удивлялись его сдержанности:

— Значит, делаем бросок?

— Да.

— Как намечено?

— Да.

— А главный объект?

— Нет. Еще нет.

— Но, говорю тебе, я могу это сделать. У меня есть возможность.

Категорическое "нет" положило конец переговорам.

Гад владел собой и терпеливо повторял офицерам одни и те же фразы. Направление — на восток, к Иордану. Решающий фактор — быстрота. Захватывать населенные пункты, брать в мешки очаги сопротивления а чистку их оставлять на потом. Не предпринимать никаких действий, которые бы могли задержать передвижение частей. Задача нашего батальона — восстановить наземную связь с соединением, размещенным на горе Скопус, и занять высоты, господствующие над иорданской частью Иерусалима. Время — 22 ноль-ноль. Вопросы есть?

Да. Один вопрос был. Единственный. Бородатый капитан поднял руку и сформулировал этот вопрос:

— А Старый город?

— Запереть и обойти.

И хотя никто не сделал ему ни малейшего упрека, Гад счел нужным оправдаться:

— Вы разочарованы, я тоже. Ничего не могу поделать. Это приказ.

Он казался невозмутимым. Окинув офицеров взглядом, он добавил полумечтательно, полушутливо:

— Да вы не беспокойтесь. Война еще не кончится, а мы уже будем в Старом городе.

Капитан заморгал и тихо спросил:

— Обещаешь?

— Да. И надеюсь, что, когда придет время, вы сдержите мое обещание.

Уже близился вечер — в окрестностях Иерусалима вечер наступает быстро, — когда Гад, все время державший связь со штабом дивизии, получил сообщение,

что правительство, воодушевленное успехами наших частей в пустыне, переменяло решение:

— Главный объект — наш.

Лагерь принял эту новость взрывом восторга. Война внезапно предстала в совершенно ином свете. К ней стали готовиться с энтузиазмом. Никто не хотел обедать, забыли даже о письмах, которые в такой момент обычно пишут домой. Ударные части и служащие интендантства, специалисты ближнего боя и механики — все рвались добровольцами на этот первый штурм. Никогда еще танки, бронемашины и пулеметы не были в таком прекрасном состоянии. Все бурлило и кипело, друзья обнимались, а незнакомые пожимали друг другу руки с горделивой улыбкой.

— Я беру тебя с собой, — сказал Гад.

— Спасибо. Но я буду тебе мешать. Мне и тут хорошо.

— Ты уверен?

— Уверен.

— Ладно. Но смотри, не дай себя убить. Ясно?

На минуту сердце мое забилося сильнее, и кровь бросилась в голову. Мы оба стояли, одетые по-походному, и мне захотелось сделать или сказать что-нибудь такое, что отметило бы конец нашего общего приключения, нашей дружбы. Но мы были не одни. Гада тесной толпой окружили его соратники, и он уже наносил на карту какие-то линии.

— Желаю удачи, Гад.

— Будь осторожен, — сказал он, быстро взглянув на меня. — Ясно?

— Желаю удачи, друг. И бодрости духа!

С тяжелым сердцем я вернулся в свое отделение, где Иоав отдавал последние приказания. Он спросил меня, хочу ли я получить оружие; я ответил, что нет, что не сумею им воспользоваться.

— Мой отец будет доволен, — сказал Катриэль. — Он будет доволен.

Мне показалось, что он выглядит скорее встревоженным, чем воодушевленным.

За несколько минут до 21 ноль-ноль Гад информи-

ровал штаб дивизии, что части приближаются к объекту. Два отделения саперов уже ползли под покровом ночной темноты, чтобы обезвредить минные поля и ликвидировать проволочные заграждения. Танки, под своим зелено-желтым камуфляжем, уже наводили орудия. Парашютисты – первая волна – уже лежали на передовой, растворившись, слившись с землей и тишиной. Мое отделение, которым командовал Арье, сорвиголова, вчерашний подросток, входило в состав подкрепления. Нашим пристанищем оказался трехэтажный дом. В доме напротив, на крыше, уже разместился командный пункт Гада. В погребе медслужба разворачивала пункт первой помощи. Старушка готовила нам кофе и бутерброды. Странно было видеть ее среди лихорадочно возбужденных мужчин в военных касках. Она сновала от одного к другому, внимательная и спокойная.

– Я так благодарна, что вы выбрали мой дом...

– Тут небезопасно, вам бы лучше спуститься вниз, в убежище.

– Я не боюсь. И потом, кто же займется вами?

Вся нежность, вся боль Израиля были в ее глазах, блестящих в темноте.

Может быть, в других секторах другие бабушки ухаживали за ее собственными внуками. По крайней мере, хотелось думать, что это так.

22 ноль-ноль.

Раздался рев, оповещающий о конце света. Ночь вспыхнула, зажгла горизонт за горами и долами, превратилась в тысячеглавое чудовище, изрыгающее огонь и смертный ужас.

Мы вскочили без всякого приказа и кинулись наружу. Сержант торопливо проверил, все ли на месте. Арье, связавшийся по радио с Гадом, знаком подозвал Иоава.

– Выступаем?

– Как только пробьют брешь.

Артиллерийская дуэль продолжалась. Танки и пуш-

ки поливали огнем вражеские бункеры и батареи. С одной стороны — гром орудий, с другой — тишина. Одно проникало в другое. Я, пораженный, улавливал и то, и другое. Мелькнула мысль: люди могут убивать только людей, против тишины они бессильны. Я нагнулся к уху Катриэля и поделился с ним своим открытием: "Знаешь, что такое война? Это путешествие на край тишины". Катриэль смотрел, как снаряды прочерчивают огненные трассы в черной ночи.

— Это ужасно, — сказал он, — но я не могу не находить это зрелище прекрасным.

После артиллерии в дело вступили тяжелые пулеметы. Начиналась настоящая атака, атака, в которую идут люди. Все ринулось вперед; тела поднимались, кидались на прорыв и падали, подкошенные пулей или осколком. Чтобы достичь траншей противника, надо было преодолеть пять рядов колючей проволоки. Крики атакующих, крики раненых, рык командиров. Каждое сердце было сердцем истерзанной ночи, каждая слеза — хвалой ее жестокости.

Когда, в какую минуту мы взобрались на машину? Когда она двинулась, в каком направлении? Когда мы выпрыгнули из нее? Ничего этого я не запомнил. Помню только страшный грохот, окружавший меня; и сам я был только шумом, отвергаемым убегавшей тишиной.

Меня бросало, швыряло, качало взад и вперед — и вдруг я оказался на ничьей земле, позади сержанта, который кричал не переставая и бежал, оглядываясь на ходу и подзывая отстающих. Казалось, у него было гораздо больше, чем два глаза, чем две руки: он видел всех своих людей, он видел все, что они делали. Только одно слово было у него на устах: скорей, скорей! — но это слово выражало сейчас все чувства и все мысли. Оно выражало гнев, доброту, мольбу. Сейчас было важно только одно: сохранить напор, пройти вперед как можно дальше, как можно скорее.

Я был увлечен этим механизмом так же, как все остальные. Моя решимость во что бы то ни стало со-

хранить ясность мысли и запоминать происходящее — шаг за шагом, минута за минутой — осталась позади и вонне. Ничего не видя, я бежал мимо раненых, которых оттаскивали назад, мимо уже сокрушенных препятствий. Как и другие, я полз, когда надо было ползти, и пробирался через проволочное ограждение, если не было возможности его обойти. Я следовал за сержантом, как за сердитым, но всемогущим отцом, который защищает своих детей, ведя их к славе — и к жертве. Как и все остальные, я хватал ртом черный воздух и дым, обливался потом, кричал неведомо что неведомо кому, подхватывая призывы и предостережения, висевшие над полем битвы, распространявшиеся по волнам ужаса и темноты:

- Внимание! Мины!
- Бункер! Ты идешь по бункеру!
- Граната!
- Не шевелись! Все направо! Направо!
- Санитар! Я ранен!

Я не был ранен, но кричал вместе с раненым, за него.

- Третье отделение, ко мне!
- Шайке, дай гранатомет!
- Узи! Ты чего ждешь?

Под градом снарядов, под желто-оранжевыми молниями, прошивающими тьму и населяющими ее искалеченными, обезображенными призраками, среди криков ярости, боли, бешенства, среди зовов о помощи со стороны друзей и врагов — ничего нельзя было разобрать.

- Нагнись, идиот! Нагнись!

Кто-то спас мне жизнь. Надолго ли? Какая разница! Я ни о чем не думал. В эту минуту, в этом бесформенном кровавом месиве надо было делать только одно, что я и делал: бежать, бежать вперед, не слушая и не глядя, бежать, подчиняясь все равно какому приказу, все равно какому рефлексу, отбросить мысль, которая уже не имела ко мне отношения, уже не держала меня в плену, гнаться за тишиной, которая уносилась в

темноту, оставляя за собой острый запах серы и крови.

Занятые укрепления, вывороченные оконные рамы, скрюченные, обуглившиеся пулеметы, опрокинутые машины. Треск легких пулеметов, треск автоматов, взрывы снарядов. Вот мой звездный час, мое сражение. Я принял его как стойкий, хоть и безрассудный, воин.

— Эй, ты! — крикнул старшина. — Где твоё оружие?

— У меня его не было.

— Держи!

Винтовка, которую я ощутил в руках, внезапно пробудила во мне ослепительное чувство реальности. Я разглядывал ее, она казалась мне тяжелой и неудобной: кому она принадлежала? Как с ней обращаться? Я держал ее на некотором расстоянии, опасаясь признать своей, но не смея от нее избавиться. Я почувствовал себя бесполезным, смешным и лишним в этой войне, в которой я принял участие благодаря посреднику. Если я умру, скажут, что я пал в битве, что будет неправдой. К счастью, Катриэль будет тут, он восстановит истину. Но где он? Я закричал: "Катриэль, Катриэль!". Нет Катриэля. "Иоав, Иоав!". Нет Иоава. Нет Арье. Нет Гдалии. Я понял, что отрезан от своей части. Положив винтовку на землю, я кинулся бежать и тут же споткнулся обо что-то — о камень, о бревно? Нет: о мертвое тело. Я метнулся в сторону: он лежал передо мной, скрючившийся, но огромный, и кровь текла у него изо рта. Один из наших? Откуда мне знать? Сейчас не до того, чтобы вспоминать лица. Я должен бежать вперед. Дальше! А дальше опять труп, раскинувший руки крестом. Еще один, лежащий поперек круто спускающейся дороги. Видно, передо мной выложили всех убитых в сегодняшнюю ночь. Тем хуже. Не смотреть! Не обращать внимания! Пробежать мимо! Проскочить. С закрытыми глазами. Шломо-слепец — это был я. Мне не хотелось видеть, куда я бегу, на кого наступаю. И тут я услышал шум мотора. Машина. Она поравнялась со мной. Да это Гад!

— Влезай! — крикнул он, не останавливаясь.

Чьи-то руки подхватили меня, усадили на броне-

транспортер. Я почувствовал, как обмякает мое тело; я пытался вдохнуть воздух и не мог. К тому же мне надо было подавить душившее меня рыдание. Хоть я и сидел уже, но видел себя бегущим и видел, как меня заглатывает пустота. Продолжая бежать, я спросил Гада: "Как бой?" Он не ответил. Он не услышал меня, потому что ни один звук не сорвался с моих губ. Я дернул его за рукав, он увидел мое искаженное лицо и понял:

- Все хорошо, все хорошо!
- Хорошо, хорошо, — повторил я как эхо.
- Есть потери, но мы продвигаемся.
- Продвигаемся, продвигаемся, продвигаемся...

Как долго мы разговаривали? Как долго ехали? Час? Может быть, и меньше. В нас входила бесконечность. Мне казалось, что война и ночь не кончатся никогда, никогда. Напротив, они набирали мощь. Опять горизонт, показалось мне, охватило пламенем. Между тем заградительная стрельба окончилась. Прошла целая минута, пока я понял: занималась заря. Победная, пылающая, она брала у предрассветных сумерек их золото и напор, чтобы зажечь холмы, кусты, облака. Ночь уходит? Уже? Выброшенный из времени, я полагал, что наступление только началось. Но точно так же я был уверен, что оно длилось вечно — всегда, всегда, всегда... И над войной, над мужчинами, напивавшимися ночью страданиями и победой, плыл голос Гада:

- Арье, где ты?
- Идем вперед.

Юношеский, взволнованный голос моего лейтенанта. А где наше отделение? Я надеялся, что Гад задаст ему этот вопрос, но Гад не вникал в подробности.

- Узи?
- Порядок.
- Шломо?
- Это Авиццер: капитан ранен.
- Почему Моти не принял командование?
- Он тоже ранен.

Иона, Пинхас, Нафтали, Мордехай, Абир — голоса:

грубые, хриплые, измученные, медлительные, напряженные. Они сменялись и повторяли одни и те же слова: "Порядок, да, порядок, идем вперед".

— Сколько у тебя осталось боезапаса?

— На объект хватит.

Во всю длину веерообразного фронта, на всех участках уже прорвали оборону и двигались вперед, но это доставалось недешево. Враг оказывал отчаянное сопротивление; он дрался мужественно и стойко. Он оставлял позиции, только истратив все патроны до последнего. Там и сям вспыхивали рукопашные бои, дрались ножами. В результате из ста двадцати человек двенадцать могли продолжать наступление. И они шли вперед. Гад информировал об этом командующего дивизией.

— Хочешь подкрепление?

— Не думаю, что это необходимо.

Аппарат продолжал стрекотать; монотонное стрекотание, смешанное с незнакомыми хрипящими звуками. Лейтенант был убит на середине доклада. Сержант кричал: "Говорит Надав, сержант Надав, нас только шесть, нас только шесть".

— Где ты? — спросил Гад.

Надав повторял:

— Нас только шесть!

Большинство этих людей Гад знал лично. Он легко ориентировался в лабиринте голосов. Мне же, чтобы понять, как развивается наступление, оставалось всматриваться в его лицо. По нашей машине стреляли, но он оставался невозмутимым. Стреляли в меня, и, странная вещь, я увидел, как солнце перевернулось вокруг своей оси и стало падать с головокружительной скоростью, а потом я увидел его внизу, на земле, и оно было похоже на черную, убитую молнией ворону.

— Пустяки, — сказал врач. — Простая царапина.

Я знал, что он ошибается.

— А другие? — спросил я. — Гад? Шофер?

— Целы и невредимы.

Это Гад привез меня сюда.

— Когда?

— Два часа назад. Или три.

Я хотел приподняться на локте, но пришлось снова лечь. От левой руки поднялась острая боль и пронзила мозг.

— Пустяки, — сказал врач. — Царапина.

Это было не так, но он не мог этого знать.

— Я хотел бы уйти; мне надо поскорее попасть в свою часть.

— Прекрасно.

Чтобы меня успокоить, он рассказал, что со мной произошло.

— Тебя чуть-чуть не задела пуля. Товарищ успел тебя толкнуть, ты выпал из машины и от падения потерял сознание. Тебе надо будет пройти обследование. Но не сейчас. У нас все переполнено.

В палатке стонали и корчились от боли десятки тяжелораненых.

— Отдохни немного. Силы тебе еще понадобятся.

— Не можете ли вы сказать, где мне найти подполковника Гада? — спросил я.

— Поехали со мной.

Мне хотелось расспросить его о положении на фронте и о судьбе Старого города, но он, видимо, был не в настроении разговаривать. Ведя машину, он как-то слишком наваливался на руль: вероятно, рана на голове его мучила.

Добрых десять минут мы ехали молча. Нам попадались на пути сожженные танки с задранными к небу гусеницами, похожие на уснувших на боку животных. По изрытой снарядами дороге мы проехали мимо отдыхающих под деревьями солдат: деревья уцелели во время ночного шквала. Еще несколько минут — и мы въехали в населенный пункт, кишевший солдатами. Мы остановились перед домом, пострадавшим меньше других: это был новый командный пункт батальона.

Адъютант сказал, что Гада нет — он на совещании в штабе дивизии. Предложил подождать.

— Я лучше вернусь в свою часть, — сказал я.

— Как хочешь.

От недосыпа он был ко всему равнодушен.

— А где она?

— Кто — она?

— Моя часть.

— Ты хочешь сказать — то, что от нее осталось?

Спроси внизу.

Я вышел на улицу. Старшина указал мне на дверь:

— Если ты ищешь Иоава, то он там.

Иоав там был, Катриэля не было.

— А где... остальные?

Он протянул мне бутылку с газированной водой.

— Пей. В такую проклятую жару пьешь не переставая.

— Какие у нас потери, Иоав?

— Лейтенант. Гдалия. Да, маленький иеменит. И Цви. Студент. Эти убиты. Амрам, Перец, Бернард, Нехемия эвакуированы в тыл.

— А... Катриэль?

— С ним все в порядке. Он где-то тут, неподалеку.

В конце концов я его нашел. Он сидел на тротуаре напротив брошенного дома и, казалось, спал с открытыми глазами. Я сел рядом — он даже не заметил. Я заговорил первый. В немногих лаконичных и точных словах я рассказал, что со мной случилось, и под конец описал странное ощущение, охватившее меня, когда я очнулся в походном госпитале: я ранен, но куда — не знаю.

— А ты? — спросил я.

— А что — я? — спросил он не своим, грубым и хриплым голосом.

И повернул ко мне такое гневное, такое одичавшее лицо, что я еле его узнал, но он тут же отвернулся, словно ему стало стыдно.

— Что ты хочешь знать? — крикнул он раздраженно. — Хочешь знать, убивал ли я? Да?

Его трясло от бешенства, может быть, от ненависти.

— Да, убивал! Хочешь знать, кого? И сколько раз? Я сам не знаю! И никогда не узнаю! И это не имеет зна-

чения! Я убивал, и теперь все не имеет никакого значения. Ты это хотел узнать, да?

Я был ошеломлен, я не знал, что сказать. Я ждал продолжения, окончания. Катриэль бросил на меня пронзительный взгляд и заплакал, потом засмеялся, потом стал плакать и смеяться одновременно.

— Ты думаешь, что можно все знать! Все понять и все передать! Ты смешон, ты жалок! Уходи! Оставь меня! Ты хочешь сохранить невинность, но не понимаешь, что это такое. Я тоже!

— Да нет же, Катриэль, я понимаю. Я понимаю, что тебе надо отдохнуть.

— Ты думаешь? Ничего ты не знаешь!

Неужели и в нем война оставила каплю своего яда, своей ненависти?

— Уйди, прошу тебя.

Я ушел, чувствуя терпкую горечь во рту.

— Вроде с тобой все в порядке, — сказал Гад, в конце дня принявший меня.

— Простая царапина.

— А ведь был на волосок, счастливчик ты этакий!

— Да уж, если бы не ты!..

— В следующий раз будешь внимательнее. Я не всегда буду рядом, чтобы выбросить тебя из машины.

— Слушаюсь, командир.

Хотя лицо его обострилось от напряжения и бессонницы, он был спокоен, бодр и полностью владел собой. Перед тем, как меня отпустить, он сообщил последние новости: мы идем от победы к победе, мы побеждаем на всех фронтах. На Синае противник удирает во все лопатки; вся нация держит пари!

— А Старый город?

— Мы возьмем его завтра. Завтра утром.

Мы пожали друг другу руки, и я вернулся к себе. Иоав показал, где ложиться.

— Пол жестковат, но сейчас ты этого не заметишь.

Я остановился, чтобы посмотреть в окно. Затемнение превратило город в призрак. Вчера, только вчера,

человек, которого я никогда не узнаю, стоял, вероятно, перед этим же окном; о чем он думал?

— Ложись, — сказал Иоав. — Ночь пройдет быстро. А потом...

Где жители этой деревни? Где дети этого дома?

— Ты что, не слышишь, что тебе говорят? — раздраженно спросил Иоав.

Я растянулся на полу. Мне вовсе не хотелось спать. Я бы охотнее вышел прогуляться. Но это воспрещалось. К тому же это было опасно. Ладно, попробуем заснуть. Но спать я не мог. Чем больше я старался, тем дальше убегал от меня сон. Опять меня бросило в лихорадку, опять стала мучить тревога. Я был на пределе усталости, на пределе познания; я не знал, что со мной будет завтра.

— Скоро мы будем в настоящем Иерусалиме, — сказал голос рядом со мной, голос, принадлежавший Катриэлю.

Я торопливо вызвал в себе вчерашние воспоминания и прежние голоса. Возвращайтесь скорее, мечты! Иерусалим так близок, так далек! Он живой, он скоро будет доступен. Я мысленно разговаривал с собой — ребенком. Ну, сделай же так, чтобы я рассмеялся. Один-единственный раз. Да так, как никогда еще не смеялся в своей жизни. Над вчерашним и над завтрашним днем, над Катриэлем, который поддался — а не следовало бы! — и над Гадом, который сопротивляется — уж слишком хорошо сопротивляется! Теперь я хочу принести в дар Иерусалиму свой смех — смех, а не слезы!

Я вижу себя в городе моего детства. Иом Киппур. День поста и покаяния. Вечером один и тот же крик вырывается из каждого сердца: "В будущем году в Иерусалиме!". Справа от меня стоит человек в талесе, но он не молится. Я увидел сго на следующий день, у входа в школу, среди нищих и блаженных. Я подал ему милостыню — он отказался ее принять. "Мне этого не надо, малыш". — "А чем же вы питаетесь?" — "Снами".

В праздник Суккот я опять наткнулся на него — в хижине Боршер ребе, где во все горло распевали хасиды.

— Выйдем, — сказал нищий. — Я подарю тебе свои сны.

Мы уселись под топодем. "Снилось мне, что я иду по дороге. Я увидел издали, как горит Храм. Я бросился бежать к нему, но земля под ногами отбрасывала меня обратно. Храм горел, а я ничего не сделал для его спасения". — "Мне не нравится этот сон", — сказал я, вздрогнув. "Мне тоже. Попробуем переменить его, хочешь? Я видел, что иду по дороге. Издали я увидел Храм во всем его великолепии. Я взмыл в воздух и полетел к нему. И за это я лишился ног. Теперь мне остается только летать и видеть сны". — "И этот сон мне не нравится тоже", — сказал я. "Как хочешь... Мне снилось, что я иду по дороге и вижу, как горит Храм. Я знаю — чтобы спасти его, я должен петь. Но тут я чувствую, что у меня нет языка. И тщетно я ищу его в пыли на дороге и в облаках в небе: его нет нигде. Я выкапываю мертвых, трясу живых, заглядываю в рот каждому: нет, моего языка нет нигде. Я и теперь его ищу, и буду искать, пока дышу. Иногда я вижу его во рту у кого-нибудь, и тогда я кричу ему: "Не трудитесь, нечего пользоваться моим языком для того, чтобы воспеть силу человека и его право на утешение. Храм горит, и счастье умерло. А если бы и не умерло, то я, сирота, убил бы его собственными руками".

Я заткнул уши и хотел бежать прочь, но нищий насильно меня удержал. Кривляясь, он продолжал громче и громче: "Раз тебе не нравятся мои сны, я расскажу тебе мою жизнь. Однажды утром мне приснилось, что я сплю, и мне приснилось, будто я проснулся. Ты спросишь: "И это все?" Да, малыш, все. Но и этого слишком много".

Я вырвался и пустился бежать. Голос его преследовал меня: "Знай, малыш, что в тот день, когда тебе расскажут твою жизнь..."

Когда мне случилось заболеть, я отказался спать.

Я боялся закрыть глаза, боялся увидеть себя в другом сне другого нищего. Бабушка побежала к равнине и принесла мне его благословение. Мать вызвала врача; тот поговорил о переутомлении и малокровии, сделал мне укол и выписал рецепт. "Отдохни, успокойся. Тебе станет лучше. Завтра же. Сам увидишь. Ты будешь другим человеком. Закрой глаза и спи". Меня трясла лихорадка, я был на пределе страха, я протестовал: "Не хочу спать, не хочу видеть сны, не хочу никакого завтра". Я уже спал, а мои стоны все еще будоражили весь дом.

– Ты дрожишь, – сказал Катриэль. – И я тоже. Для меня все это – возвращение.

И, не вспоминая о своем недавнем приступе, он начал рассказывать одно давнее воспоминание. Он участвовал в битве за Иерусалим двадцать лет назад. Его рота защищала Старый город. Дела шли все хуже и хуже. Не хватало людей, не хватало вооружения, не было возможности подвезти людей и боеприпасы: они были отрезаны от еврейской части города. Дрались за каждую развалину, за каждый кирпич. Это было безнадежно. Однажды вечером среди измученных солдат появился неизвестно откуда странный человек и предложил свою помощь. Офицер не смог удержаться от смеха: "Прикажешь считать тебя подкреплением?" Изодранный костюм, кожа да кости и важный вид – ну, кем он мог быть, как не каббалистом, одним из тех безумцев, которые во все века населяли Старый город. Слова офицера его задели. "Напрасно вы отказываетесь от моей помощи". – "Но как ты можешь помочь нам, дед?" – "Могу просто к вам присоединиться". – "И все?" – "Этого достаточно". – "Ладно, – сказал офицер, – это все-таки лучше, чем ничего". Человек поблагодарил. После этого он появлялся каждый вечер и оставался с нами до утра. Странное дело, бойцы к нему привязались. Чтобы не потерять его, люди готовы были продолжать безнадежное сражение. Нисколько не опасаясь противника, он появлялся снова и снова и приносил то кусок черствого хлеба, то кувшин воды.

Никто так и не смог выяснить, где он их брал и куда потом уходил. Как его звали? Сколько ему было лет? Все вопросы он отклонял: "Не люблю любопытства". Я думаю, что это благодаря ему защитники города не впали в апатию и отчаянье. Он поднимал их дух, будоражил их воображение. Каждый видел его по-своему: пророком Ильей, который поддерживает несчастных, могучим царем Давидом, поэтом Иехудой ха-Леви, убитым у подножия Стены.

— Ну, а потом? — спросил я.

— Что потом?

— Что потом с ним случилось?

— Ничего. Незадолго до того, как все было конечно, он предложил себя в проводники. Он утверждал, что может нас спасти. Он говорил: "Я этот квартал знаю лучше, чем вы, лучше, чем кто угодно, я живу и прячусь здесь давно. Я тут, чтобы его защищать. Как и вы. Позвольте мне помочь вам. Я укажу переходы на земле и под землей, и вы ударите противнику в спину. Вы захватите его врасплох. Скажите "да", и я открою вам дорогу к победе, скажите "да", и я вручу вам ключи от города, который не сумела победить никакая сила". Но наш командир, усталый и разочарованный, ответил: "Благодарю, друг. Жаль, что ты пришел так поздно. Уже слишком поздно, чтобы сражаться, нам нужны люди, оружие и боеприпасы. Одних слов недостаточно". Он был прав. У нас оставалось по десять патронов на винтовку. Старик ушел, сгорбившись от печали. Наутро мы сложили оружие.

— А нищий?

— Откуда ты знаешь, что это был нищий?

— Просто так подумал.

— Я его больше не видел. Наверное, его эвакуировали с гражданским населением. — Помолчав, Катриэль добавил: — Впрочем, не думаю. Скорее всего, он остался в Старом городе. Он и теперь там, прячется в своем невидимом царстве. Я даже думаю, что он мог бы тогда избавить нас от капитуляции. Мы напрасно отвергли его предложение, напрасно не доверились ему. Наш

командир гордился тем, что он принадлежит к новому поколению, которое руководствуется здравым смыслом. Но вряд ли дети Израиля могут уйти от прошлого Израиля. Наш командир считал, что все мы должны быть здоровыми, нормальными людьми, без всяких там тайн и каббалистических чудес. Но отсутствие невидимого — только иллюзия. Доказательство — эта война. Уже не раз нас ставили на край пропасти. Ничего не переменилось. Сценарий, декорации, пружины, персонажи — все то же: ждали только, когда поднимется занавес. Как и прежде, они хотели нашей смерти. Как и прежде, наш пароль — одиночество. Нищий это знал. Вот почему он предложил нам себя и свое собственное оружие, испытанное веками.

Вот, Малка, о чем Катриэль разговаривал со мной в ту ночь. Но кто был этот нищий? Иногда мне кажется, что это был он. А иногда — что это был я.

Мы встали до рассвета, проглотили кипящий кофе и рассыпались по машинам, которые должны были доставить нас на передовую. Все сосредоточились на своих мыслях и старались не разговаривать. Одни думали о павших товарищах, и о том, кому еще предстоит пасть. Другие, положив каску на колени, старались нацарапать в темноте слова прощания, обращенные к жене или родителям.

Минуты удлинялись, тяжелели. Лицом к лицу с врагом, со смертью ожидание куда труднее, чем перебежки под огнем. О чем думает человек, когда нервы его обнажены, и он хотел бы ускорить ход событий? Не о будущем. Он возвращается назад, давая полную волю своей фантазии. Он исправляет прошлое. Вот я на экзамене, у доски, и отвечаю не "нет", а "да", и учитель поздравляет меня. Вот в одно несчастное утро я оказываюсь на том же перекрестке, но поворачиваю не налево, а направо, и от этого вся моя жизнь поворачивается совершенно иначе. А еще теснятся в голове досадные мелочи: напрасно обидел соседа, не заплатил за квартиру, не вернул книгу в библиотеку.

А Катриэль? Катриэль сердито молчал. О чем он думал? Может быть, о том, что опять придется убивать во имя Иерусалима?

Ночь лежала на моих веках, как ожог. Вдруг я вздрогнул. Облако в вышине надо мной остановилось и разделилось надвое. Я опустил голову и увидел, что Катриэль пристально смотрит на меня. Я хотел спросить, почему он так смотрит, но он не дал мне этой возможности.

– Слушай, – сказал он дрожащим голосом, – я хочу попросить тебя об одной услуге.

– Да?

– Держись от меня подальше. Я не хочу, чтобы ты был рядом со мной.

– А наш договор?

– Прошу тебя!

В его голосе была такая тоскливая тревога, такое отчаяние, что я не смог ему отказать.

– Понимаю, – сказал я, попытавшись улыбнуться.

Не надо сердиться на него за это, Малка. Вы тоже постарайтесь понять: не так-то легко стать безумцем, когда убиваешь на глазах у свидетеля.

– У тебя найдется для меня место?

– Потеснимся.

Гад стоял перед бронетранспортером и совещался со своим окружением. В два прыжка я оказался подле него. Посмотрел вокруг и чуть не вскрикнул от восторга.

С площадки, на которой стояла командирская машина, можно было одним взглядом охватить крепостные стены с их темными смертоносными башнями. А с другой стороны на фоне синеватых сумерек уже вырисовывался, принимал форму и объем Старый город; уже можно было различить его купола и минареты и низенькие обшарпанные дома.

– Тебе! – сказал радист и вручил Гаду наушники.

Передавалось обращение ко всем нам.

”От имени командира дивизии – всем офицерам и парашютистам. Мы поднимаемся в Старый город. Сегодня мы освободим Храмовую гору и Стену Плача. Еврейский народ ожидает этой победы, и мы принесем ему ее. Эти часы войдут в историю Израиля. Успеха вам всем!”.

Передача давно прекратилась, а Гад продолжал держать аппарат обеими руками.

– Ты запомнишь этот рассвет, – сказал он мне.

– Уже светло.

Он посмотрел на часы, словно проверяя мои слова.

— И в самом деле, уже светло.

И вдруг зазвонили колокола, как когда-то давно в городе моего детства. Трепет охватил нас всех: это было почти невероятно. Спокойные, ничем не потревоженные звуки плыли над скалами и полями, устланными трупами. Может, все это только сон? Может, я никогда не покидал своего дома, своего сада, своих друзей?

— Гад, — сказал я. — Где мы?

— Скоро узнаешь.

Держа руку над глазами козырьком, Гад всматривался в небо, и там тут же, словно приняв его сигнал, появились истребители. В ту же минуту загремели бесчисленные орудия. Казалось, земля и небо соревнуются — кто изрыгнет больше огня, кто произведет больше всеразрушающего грохота.

— Нам! — сказал радист.

Резким голосом Гад отдал приказания командирам атакующих частей. Он наблюдал в бинокль за тем, как разворачивались бои, которыми он руководил, не теряя хладнокровия. Доклады, которые он получал и передавал, в свою очередь, в генеральный штаб, становились с каждой минутой оптимистичнее: похоже было, что прорыв завершится раньше, чем предполагалось. Я увидел, что Гад выпрямился и решительным жестом поправил каску.

— Надоело смотреть на все это издали, — сказал он своему окружению. — Мы тоже едем туда!

Шофер, который уже раньше завел мотор, немедленно нажал на педаль. Машина дернулась и рванула вперед.

— Мы тоже едем туда! — повторил Гад.

Не нужны были никакие уточнения. Все стало предельно ясным и простым. Мы все сидели выпрямившись, у нас у всех жадно трепетали ноздри, мы все смотрели вперед, ничего не видя, ослепнув от волнения. Все наши чувства были возбуждены. Никто не обращал внимания ни на препятствия, ни на вражеских снайперов. Событие было слишком значительно; ка-

кая-то безотчетная сила подчинила нас себе, и мы летели в огонь, не слыша свиста снарядов и не чувствуя взрывов. Мы знали, что достигнем цели. И крик вырвался у всех нас одновременно, и отдался вдали: мы едем туда, мы едем туда!

Мы кричали все громче и громче, чтобы перекрыть свист пуль, лай пушек, стоны раненых, хрипение умирающих. Это было исступление, это было исполнение обетования. Мы кричали, потому что весь мир должен был услышать нас — прошедшие и будущие века; мы кричали, потому что от нашего крика должны были рухнуть укрепления. В этот час мы должны были освободить не только город и Стену, мы должны были освободить вечность; мы кричали, чтобы убедиться, что наши голоса принадлежат нам, и наши предчувствия сбываются.

В прозрачной, пронзительной ясности рождающегося дня я увидел, как отовсюду несутся солдаты, влекомые той же неодолимой силой: на машинах и пешком, бегом и еле волоча ноги, раненые и невредимые, в порыжевших военных формах, в касках, нахлобученных на самые глаза — все устремлялись в одном направлении, к одному месту сбора, к одним воротам — мне показалось, что я слышу рычание львов. Я нагнулся к Гаду:

— Этого не может быть! — прокричал я ему в ухо.

— Может! — проревел он. — Потому что безумцы взяли дело в свои руки!

И вот мы в Старом городе. Темные узкие переулки, встроенные друг в друга дома. Здания с изъеденными проказой фасадами. Заложенные камнями окна. Взорванные баррикады. Где-то плачет ребенок. Легионер бросает с крыши связку гранат и сам летит вниз, беспомощно болтая руками. Вдали кто-то выпустил пулеметную очередь. Ему отвечают огнем. А в двух шагах от нас маленькая девочка, окаменев от страха, стоит в проеме приоткрытой двери.

Война продолжается. Дерутся в каждом доме, в каждом дворе. Враг изменил тактику. Он уже не мо-

жет думать об организованном сопротивлении. Но его солдаты прячутся в щелях и стреляют в спину нападающим. Ничего, ими займутся потом, главное сейчас — продвигаться вперед.

— Скорее, скорее, — кричит Гад, и мы вместе с ним.

Даже Гад — и тот поддался общему исступлению. Он уже не хладнокровный командир, взвешивающий каждое слово. Новый, дикий огонь сверкает в его глазах. Только тут я замечаю, что его лицо покрыто слоем черной сажи. Может быть, это вовсе не Гад — под этой черной маской? Ничего, это выяснится потом.

И внезапно наша машина вылетела на ровное место, которое, казалось, поднималось до самого неба: Хар ха-Байт, Храмовая гора. Странно: командир дивизии, полковник Мота Гур, уже тут. Он прибыл сюда первым, раньше своих разведчиков. Дрожа от гордости — гордости, похожей на гнев, — он рычал в передатчик: "Хар ха-Байт в наших руках! Вы меня слышите? Хар ха-Байт в наших руках!" О да, его слышали — его слышали не только в генеральном штабе, его слышали на другом конце света!

Гад преобразился; он приказал шоферу подать машину назад и оставить ее в боковой улице, огибающей священный холм. Тут тоже не нужны были объяснения. Следующий объект — Стена. Мы будем там в числе первых, но мы будем там не одни. Туда уже бежали, повинувшись тому же импульсу, все, кто проник в Старый город. Наскоро сооруженная противником баррикада — бревна, столы — тут же опрокинута. Еще одна. Следующий переулок слишком узок для машин. Мы бежим вслед за Гадом. По дороге к нам присоединяются десятки солдат и офицеров. Старики-арабы смотрят из-за занавесок и изумленно покачивают головами. Свистят пули и осколки снарядов. Кто-то падает на бегу. Его подхватывают и тащат дальше; ничего, первую помощь ему окажут потом. Смерть потеряла над нами власть. Позже она вернется, но пока — она подождет.

— Смотрите! — закричал кто-то. — Смотрите! Стена!

И другой, и третий:

— Стена! Тут, тут, передо мной!

И все вместе:

— Смотрите! Смотри-и-те!

Все остановилось. Дыхание, жизнь, солнце. Сама война остановилась как вкопанная. Я не смел ни вздохнуть, ни приблизиться. Я боялся разочарования, боялся пробуждения, мне пришлось сделать над собой невероятное усилие, чтобы смотреть на нее.

Я смотрел на Стену, как смотрят на живое существо, с которым давно уже были разлучены. Я никогда не видел ее раньше, но я ее узнал. Однако чувство, что все это происходит во сне, не покидало меня. Напротив, оно нарастало. Часть моего существа не хотела этому верить. Я знал, что это Стена, но не мог поверить, что именно я вижу ее. Победитель во мне был мне чужд и совершенно незнаком.

— Мы должны разорвать на себе одежды, — сказал голос за моей спиной.

Катриэль, суровый и постаревший, бросился мне в объятия.

— Так говорят наши мудрецы. Тот, кто видит Стену, должен быть в трауре — в память о разрушенном Храме. Я уверен, что мой отец сделал бы это, если бы он был тут и мог ее видеть.

Катриэль подавил рыдание и продолжал:

— Но я этого не сделаю. Сегодня я этого не сделаю. Сегодня не траурный день. Когда увидишь моего отца, расскажи ему об этом.

Он помолчал.

— И еще расскажи ему, что для того, чтобы добраться сюда, нам всем пришлось изорвать свои одежды.

Я хотел спросить его, продолжает ли действовать наш договор, но он не дал мне на это времени.

— А теперь надо писать, — сказал он.

— Писать? Что писать?

— Желание. Напиши и засунь в щель Стены. Таков обычай.

Он подал мне листок бумаги и карандаш. Я растерялся, стал искать слова, имена. Какое желание, чего я должен желать? Ученики, за которых должен был выступать Баал-Шем-Тов, просили только здоровья: телесного и душевного. Хорошо, последуем их примеру. Попробуем. Я написал свое имя: Давид бен Сара — Давид сын Сары. И рука моя отказалась продолжать. Когда-то это делала моя мать — Сара дочь Довида: это она писала наши желания, она вымаливала для меня, для нас, заступничество святых и праведников и желала мне походить на них.

— Поторопись.

Катриэль уже написал свое желание. Нет, Малка, я не знаю, о чем он просил. Не знаю, чего он хотел. Я видел, как он приблизился к Стене и засунул в расщелину скомканную бумажку. А я по-прежнему не знал, что писать. Чего просить для себя? Кого просить? Мне хотелось бы нацарапать: Господи, пожалей Свое творение и Себя Самого! Но имя моей матери выросло в неодолимое препятствие.

Гад исчез в толпе, Катриэль тоже. Гад вскоре погиб, но я узнал об этом не сразу. Когда я остался один, я уже совершенно не знал, чего и у кого мне просить.

И тогда я услышал голос, говоривший:

”Я око, которое смотрит в другое око, которое видит. И оттого, что я все время смотрю, я слепну: тем хуже, тогда я буду петь. Оттого, что я буду все время петь, я сойду с ума; что ж, тем хуже, тогда я буду видеть сны”.

Я увижу во сне, что меня зовут Давид сын Сары. Я расскажу своей матери, что я сделал из ее молчания и ее слез. Расскажу ей, что я сделал из своих лет, из своей жизни. Почему так поздно? Потому что у меня не хватало сил. Я не мог принять ее отсутствия. Если я никогда не писал ей, то это потому, что я никогда ее не покидал. Это она уехала. И с тех пор я вижу, как она уезжает. Только это я и вижу. Год за годом ты уезжаешь, мама, удаляешься, захваченная черной и немой волной отлива, но небо, которое поглощает огонь, те-

бя поглотить не может. Огонь это ты, и небо это ты. И рука, пищущая тебе, тянется к тебе. И видение, которое неотступно преследует меня — я отдаю его тебе. И молчание я снимаю с твоих уст — и возлагаю его туда же. Я, бродячий нищий, я, узник, — это твой голос я пытаюсь освободить в себе. А когда мне случается обращаться к чужим людям, я говорю с тобой.

Я созерцаю Стену, у которой лицо моей матери. У моей матери было два лица. Одно, от воскресенья до пятницы, отражало все ежедневные тяготы и заботы, второе отражало субботний покой. И теперь у нее осталось только это, второе лицо.

Люди толпятся вокруг него, ищут у него укрытия. Я же становлюсь взглядом и не шевелюсь.

В ослепительном озарении я вижу весь мир, от края до края, и себя самого до самой глубины. Я вижу всех, кто раньше меня стоял здесь, перед этой Стеной, в потрясенном смирении или в экстазе. Цари и пророки, воины и священники, поэты и мыслители, богачи и бедняки, те, что веками выпрашивали повсюду немного терпимости, немного братства; они пришли сюда говорить об этом.

Здесь, говорил один из мудрецов Израиля, здесь камни — это души: это они каждый день отстраивают заново невидимый Храм. Но напрасно я буду искать там душу моей матери. Душа моей матери нашла приют в огне, а не в камне. Она мечтала когда-нибудь постоять в молчании близ этой Стены. Хорошо, вместо нее здесь я.

Где я видел этого военного раввина, который приближается с Торой в руках? Он похож на жениха, который дождался дня своей свадьбы. Лицо его залито слезами, он читает молитву и трубит в шофар. Мне кажется, что рог этот принадлежал овну, закланному на этом самом месте три тысячи лет тому назад отцом, отягощенным любовью и верой, и сейчас тоже присутствующему здесь. А раввин? Не ангел ли это, сжалившийся над Авраамом, который спас его, спасши его

сына? Если да, то, значит, хоть на этот раз Бог на стороне тех, кто служит Ему, на стороне безумцев.

А этот старик, который бежит сюда и еле дышит — где я его видел? Черное пальто, черная шляпа, талит под мышкой; он так бросается к Стене, словно собирается разбиться о нее. Загипнотизированный видом камней, он их ощупывает, он их гладит, рыдая. Солдаты подхватывают его и начинают подбрасывать в воздух с криками: не надо плакать, не надо больше плакать, с жалобами покончено, надо радоваться, дед, надо кричать Стене о нашей радости, ей это нужно, и нам тоже. Вот уже возник хоровод, а вот и другой, и все танцуют, и на ковре из плеч старик танцует тоже, он не боится ни упасть ни взлететь, он ничего не боится, и мы тоже. Кто-то затягивает песню, и песня эта наполняет площадь, город, страну. Старик кричит: "Выше, выше!". И каждый раз он подпрыгивает все отчаяннее, он охвачен экстазом, и мы тоже. Кто-то около меня не может больше сдерживаться, ему все равно, пусть видят его без маски. Кто-то плачет, но это не я. Кто-то плачет — это я. И во сне, сквозь слезы, я вижу, что старик поднимает руки, как будто хочет оторвать лоскут от неба и подарить его тем, кто поет и пляшет внизу. Кто это? Может быть, царь Давид? Или Авраам. Или Катриэль. Или опять Мессия.

Где-то в самой глубине своего существа я знаю, что следовало бы страшиться: чудо слишком велико, радость слишком сильна. Так не может долго продолжаться. Но ведь я знаю, что сплю. На вершине горы я спотыкаюсь о камешек, падаю, вижу пропасть, которая, приближаясь, становится чернее, чем черное око грозы; я пугаюсь, но и испуг мой — часть сна.

Пусть он длится. Еще рано. Солнце, кажется, остановилось над камнями, освященными людьми. Старая суровая песня плывет над городом и спускается в долину Иехошафата, и душа моя, не смейтесь над этим словом, душа моя не ощущает ни потребности, ни желания последовать за ней, даже для спасения от того, что ей угрожает.

Издали я вижу, как пляшущие ставят старика на землю. Они устали, а он нет. Теперь я лучше его вижу. Знакомое лицо. Это тот нищий, или проповедник, которого я знал в детстве. Он узнает меня и делает мне знак. Я отрываю ногу от земли и делаю шаг, потом еще один. И перевожу дух: это не он, это вообще не старый человек. Не Катриэль ли это? Толпа разделяет нас; я стараюсь пробиться сквозь нее, но теряю его из виду. Спрашиваю людей: куда девался высокий стройный человек с горящими глазами? Они не знают. Встревоженный, я кидаюсь к одному, к другому: одни поворачиваются спиной, другие смотрят, ничего не понимая.

А толпа тем временем густеет. Военные, чиновники, журналисты текут снизу длинной процессией, и к ним присоединяются раввины и безбожники со всех концов города, со всех концов страны. Мужчины, женщины, подростки всех возрастов, всевозможного происхождения, говорящие на всех языках, занимающиеся всеми на свете ремеслами — я вижу, как все они поднимаются к Стене, к тому, что осталось от их общей тоски. Как недавно, на Синае, в тот день, когда им была дана Тора. Как когда-то, в царстве ночи, когда ее отобрали у них. Вот и опять происходит великое собрание изгнанников: круг завершен, конец соединяется с началом и оправдывает его. Там, в лагере, тихий и набожный человек в приступе безумия кричал: "Мы все слышали Бога в пустыне; здесь нам дано будет Его увидеть". "Да, — ответили ему, — увидеть Его и погибнуть". Образ Бога нельзя вынести: его можно унести только в смерть.

А здесь рождается образ человека. И, чтобы обрести его, весь народ уже в третий раз двинулся в путь.

Это все тот же народ, и походка у него все та же. Не изменились и декорации. Персонажи меняются с бешеной скоростью: будто кто-то торопливо заслоняет одни картины другими, все более и более старыми. Цари и отшельники, принцы и мятежники смешиваются с раввинами в черном, с солдатами в защитной одежде, со студентами-талмудистами, от восторга не чувствую-

щими под ногами земли. Глаза и руки их полны мечтаний и приношений. Несколько вечностей назад начался их путь, и у них походка людей, твердо решивших сделать своими и свое прошлое и свою судьбу.

Вот этот упрямый, сгорбленный папаша с порыжевшей бородкой: на каком костре, по какому закону он терпел свое мученичество? А этот подросток с круглой спиной — от какого счастья его отвергли? И та девочка, грызущая ногти: в каком гетто, в какую эпоху обрела она такую зрелость, такой опыт? Она идет мелкими шажками, и я спрашиваю себя, почему она не бежит, она должна была бы бегать и расти. Она должна была бы убежать и выжить. Она не бежит потому, что ее держит за руку женщина. У женщины благородная, неторопливая походка. Внезапно я вижу профиль женщины — и сердце мое обрывается. Все начинает кружиться вокруг меня и во мне. Теперь я вижу отчетливо их обеих, обмануться невозможно: у девочки открыт рот, она жадно ловит воздух, ей душно, ей хочется пить, но она ничего не говорит, чтобы не огорчить свою мать, которая и моя мать тоже.

И вот так, то уступая, то сопротивляясь, я окончательно отдаюсь галлюцинациям и вижу друзей, родных и соседей, всех мертвецов со всех кладбищ, вижу все мертвые города с того кладбища, в которое превратилась Европа. Все стали пилигримами, и в этот сумеречный вневременной час наполнили собой Храм, чьим огненным подножием, чьими святителями они стали. Легкие, высокомерные, покинувшие этот мир, они вернулись сюда издалека, очень издалека, поверх крыш и звезд, вернулись из разных времен, от разных очагов для того, чтобы одновременно пережить и воскресение начала и воскресение конца. Ничто не могло их удержать, даже та воля, что сковала Мессию. Ибо нет у них могил, чтобы их удержать, нет кладбищ, чтобы привязать к земле; они спустились с неба, небо их кладбище, а взгляд их — вечность. И ее мрак.

Я смотрю на них и боюсь смотреть, боюсь открыть среди них себя. Тем хуже, я сделаю вид, что ничего не

видел. И я смотрю, смотрю без конца. Отец поднимает на плечи сына и велит ему смотреть во все глаза. Пара влюбленных, держась за руки, убыстряет шаг. Две вдовы, наоборот, замедляют. Я стараюсь очнуться: да нет же, ты ошибся в дате, если не в месте. Ты все это видел не в этот день! Хорошо. Ну, и что из этого? Я видел это в другой день, через неделю, или через месяц. Время не имеет значения. Да и не один я видел все это и вижу до сих пор. Вот человек разглядывает толпу, скрестив на груди руки. Теперь я знаю, кто это, и ошибка тут невозможна: это странствующий проповедник, который приносит с собой молчанье, то, которое нужно, туда, куда нужно, и тогда, когда нужно. Он мрачен и суров, он и выше и прямее, чем был при жизни, и он беседует с учеником, который, странное дело, на него похож. "Знаешь ли ты, почему Иерусалим был спасен?" — "Нет. Почему?" — "Потому что на этот раз все они — города и местечки, большие и маленькие, сотнями и тысячами, и сотнями тысяч — поднялись на его защиту".

И, как всегда, он говорит правду. Недалеко отсюда, в пещере *Мартеф ха-Шоа*, посетитель увидит только их названия, великое множество названий, одни прославленные, другие неведомые, которые и произнести-то трудно; они выгравированы в черном камне. Вот и все, что осталось.

Города и местечки, лишенные своих евреев, имена, отрезанные от своих источников, соединили свои усилия и воздвигли огненный щит — *амуд эш* — вокруг города, который их принял. Сигет и Лодзь, Вильно и Варшава, Рига и Белосток, Дранси и Братислава сошлись в Иерусалиме.

"И мертвые, — сказал проповедник своим вибрирующим голосом. — И они были с нами. Тот, кто сегодня жив, кто победил сегодня, не должен забывать о них. Израиль победил своих врагов потому, что его армия, его народ насчитывали всех нас и еще шесть миллионов".

Молодой женщине, которая смотрит на меня — вместо того, чтобы созерцать тени у Стены, я говорю:

— Теперь, Малка, вы знаете, как евреям удалось выиграть эту войну.

Она морщит лоб и сжимает губы:

— Да, я знаю.

Я поворачиваюсь к ней и смотрю ей прямо в глаза:

— Больше я Катриэля не видел.

Она выдерживает мой взгляд.

— Знаю. Это я тоже знаю.

Вон человек.

Вы его видите? Он сидит на поваленном дереве, в стороне, далеко, и вглядывается в тени, которые молча колышутся над башнями, чтобы покинуть площадь раньше, чем проклюнется заря. Скоро они скроются в детских мечтах стариков и навязчивых снах сирот.

Скоро рассвет. Солнце рассыплет свою малиновую пыль по переменчивым долинам, прольет свою кровь на купола, на своды, на башни и подожжет висящие между небом и землей горы.

В этот час вокруг меня образуется пустота. Случайные посетители разошлись по домам, стража снята. Мои товарищи уходят по одному или по двое, по трое. У нищих тяжелая походка, у сумасшедших легкая. Одни смеются, другие хмурятся. Перед тем, как расстаться, они держат совет и делят между собой мир, который сегодня им опять предстоит обойти.

Один пойдет в синагогу, другой на базар, на кладбище, на пляж и — почему бы и нет? — в театр. А принц — вернется ли он в свое царство за Самбатионом? И найдет ли слушателя слепой Шломо? И Аншель, почувствует ли он себя менее виноватым перед своими голодными поставщиками? Может быть, когда-нибудь я это узнаю, может быть, завтра, если завтра существует.

— Я хочу домой, — беззвучным голосом говорит Малка. — Пойдем со мной. Тебе тоже надо отдохнуть.

Волосы ее растрепались, черты расплылись, рот увял: она жалуется, и, как все отвергнутые женщины, она жалка.

— Я больше не могу, — говорит она, почти шепчет. — Я больше не выдержу. Прошу тебя: испытание длилось слишком долго. Пойдем, пойдем домой.

Бедная Малка. Знает ли она, что нелегко вернуться назад? Знает. Но это ее не обескураживает. Что ей ответить? Лучше не слушать.

А вот уже и первые верующие, первые пилигримы. Сейчас начнется утреннее богослужение. На нем присутствуют всегда одни и те же люди. Пинхас-отшельник: двадцать лет назад он заперся у себя в доме и дал обет выйти только тогда, когда Старый город будет освобожден. Недавно к нему постучал офицер: "Реб Пинхас, пойдите со мной!". Дальше Барух, немой, с закинутой головой, с приоткрытыми губами, кажется, спрашивает у неба, позволено ли ему наконец нарушить молчание. За ним тоже приехали в военном джипе. Он отказался сесть в джип. Он смотрел на офицера, не понимая, о чем ему говорят, потом, не изменив выражения лица, не мигнув, кинулся бежать, как одержимый, совершенно не обращая внимания на непрерывающийся обстрел, и, странная вещь, он был у Стены раньше, чем джип. И третий богомолец, тоже всем знакомый: Гилади. Он молчалив и печален: он был последним бойцом, оставившим этот квартал после его падения. Теперь он бродит тут часами. А Катриэль, где он? Быть может, его увели мертвые?

Что это — усталость, бессонница? Я чувствую, что моя рана открывается снова. Из глубин пропасти каскадом поднимаются годы и отчаянно бьются о мое сердце. Меня охватывает тревожная тоска, как будто предстоит мне встретить, увидеть что-то абсолютное, окончательное и чистое, как смерть ребенка на рассвете. Я смотрю на свою жену, трогаю ее, и мне хотелось бы отдаться любви, но что-то во мне сжимается и содрогается. И меня охватывает непобедимое желание идти. Идти без остановки, без цели, без отдыха, день за днем, ночь за ночью, с пересохшим горлом и расширенными зрачками, идти, чтобы наказать тело, взявшее в плен время, наказать дух за то, что он ему сопротив-

лялся; идти, чтобы за пределом истощения настичь ту пронзительную ясность, которая раскалывает зеркало на тысячи осколков и каждый осколок на тысячи отражений, идти, чтобы умереть, продолжая идти, может быть, только для того, чтобы потом ожить и снова вспоминать — тем хуже. Но Катриэль останавливает меня. Он меня судит.

Посмотрите на меня, Малка. Посмотрите хорошенько и скажите, кого вы видите, потому что я уже не знаю, кто я. Скажите мне, ждете ли вы Катриэля так, как я его жду. Катриэль — действительно ли его звали так? Да или нет — неважно; это имя он принимал, чтобы отвести угрозу или чтобы снискать Божественное присутствие. Иногда, сияя, он произносил это имя медленно, торжественно; он пробовал его на вкус и испытывал его глубину. А иногда, разгневанный, желчный, он бросал его с размаху, словно желая от него избавиться. Ночью, за палаткой, это имя в его устах превращалось в жалобу, в прощальную песню; он пользовался им, чтобы открыть брешь в самом себе или дойти до предела в своем видении, в своем порыве. Днем это имя было для него игрушкой, одеждой. А его отсутствия — они были непредсказуемы и продолжались недолго. Всего несколько мгновений. Время, необходимое для того, чтобы войти в чужое сознание и опомниться: не надо, Катриэль. Тогда в глазах его возникал дрожащий, мучительный блеск. И у этого блеска не было имени.

Но я замечаю, что говорю о нем в прошедшем времени, а этого не следовало бы делать. Катриэль ушел, но он может вернуться. Когда-нибудь ему надоест быть там, куда он ушел, и он возникнет снова, под другим именем или вовсе без имени, еще более загадочный, чем всегда, еще более непобедимый, и начнет рассказывать Катриэлю приключения Катриэля. "Уж не пришел ли я слишком поздно?" — спросит он. И вы, Малка, смеясь и плача, ответите, что да, он пришел слишком поздно, слишком, слишком поздно.

И нищий, который ждал его до конца, прибавит:

”Слишком поздно, чтобы смеяться, слишком поздно, чтобы плакать”. Для того-то он и живет здесь уже больше недели, больше месяца, чтобы ему это сказать. Он зябнет, плечи его ссутулились, он чувствует себя старым, старше стариков, когда-то бывших его учителями, чье благословение все еще его мучит: ”Когда-нибудь, сын, безумцы в тебе успокоятся. И тогда...” Они умерли, оставив ему в наследство неясное обещание. С тех пор он все требует от них продолжения, окончания: ”Я обошел всю землю, чтобы дойти до этого места, где время наконец-то поглощает меня вместо того, чтобы извергнуть; я питался легендами из ваших уст и стал жить в них и включил в них мои собственные; я пересекаю судьбы и границы и подбираю их. Но зачем же ключ от покоя вы доверили Катриэлю?”

А вы, Малка, отчего вы отдаляетесь? Не пытайтесь привлечь меня страхом. И жалостью тоже. Вашей жизни не грозит опасность, это вам говорит нищий, а он видит то, что от вас скрыто. В отличие от Адама, которому Бог позволил окунуться в будущее и узнать всех своих потомков, до последнего, я покажу вам прошлое и его истоки. Не бойтесь слушать. Кто-то поет: это Давид оплакивает смерть Авшалома. Кто-то плачет: это Иеремия предсказывает разрушение нерушимого города. Кто-то кричит: это рабби Акива изгоняет несчастье смехом. Кто-то превращается в шепот: это Иехуда ха-Леви, поэт Сиона, душа которого проникает в камень, и камень охраняет ее трепет; это ребенок, спрашивающий своего деда: ”Написано, что Шхина, Божие присутствие, никогда не покинет Иерусалима, но написано и то, что она пошла за евреями, за всеми евреями, в изгнание: нет ли тут противоречия?”. И дед отвечает: ”Это доказывает, что Шхина присутствует даже в противоречии”.

— Чего ты хочешь, чего ты ждешь от меня?

Вы этого не знаете, Малка — и я тоже не знаю. Нищий не просит у вас милостыни; ему с ней нечего делать. Он просит вас только посмотреть на него, хоро-

шенько посмотреть: ему это нужно, чтобы определить, где он и кто он. Посмотрите на него и скажите, принадлежит ли ему его лицо и принадлежит ли оно только ему. Он этого уже не помнит. Может, его украли, как украли и другие опознавательные знаки. Если бы только он мог вообразить Катриэля убитым или немым, все стало бы очень просто: он знал бы, что ему осталось делать. Но он на это не способен. Исчезновение Катриэля не доказывает ничего, кроме того, что у некоторых историй нет конца. Впрочем, нет и начала.

О да, если бы Катриэль был мертв, я знал бы, что делать: я бы вырвал его у смерти. Но если он жив, имею ли я право поступать так, как если бы его не было, и говорить, и жить вместо него? Как мне убедить себя, что это его, а не моя воля заставляет меня пересказывать его воспоминания и наваждения, которые к тому же мне трудно отличить от своих? И эта мысль, эта мысль, которая возвращается вновь и вновь и леденит кровь в моих жилах: а что, если это я мертв, а он жив?

— Пойдем со мной, — умоляет Малка. — Оставь в покое прошлое. У мертвых нет права жительства в Иерусалиме.

— А Катриэль? — говорю я, задетый за живое.

— Оставь в покое Катриэля.

— А если он вернется?

Малка делает жест отчаяния: все уже было сказано.

Заря растворяется в тумане. Небо и земля целуются прежде чем расстаться. Где-то, со стоном, поворачивается больной: ангел еще не похитил его глаз. Лает собака, и лай ее отдается, повторяясь, как далекий, таинственный призыв. Вдова, утешая себя, придумывает новый повод для надежды. Перекликаются дозорные на башнях. Город встряхивается, сбрасывает покровы, берется за дневные дела. Эй, страж, что с жизнью? Что с победой? Страж ушел. Я не стану отвечать вместо него.

Рассказчик наклоняется над фотографией, которую сделал немецкий офицер, любитель сувениров. На фо-

тографии отец и сын на фоне человеческого стада, направляющегося к яме, где через минуту их всех расстреляют. Левая рука отца на плече мальчика, отец что-то говорит и правой рукой указывает на небо. Он показывает сыну битву любви с ненавистью: "Видишь, дитя мое? Мы ее проигрываем". И, так как сын не отвечает, отец продолжает: "Знай, сын мой, что если существует безвозмездное страдание, то оно происходит по Божественной воле. Тот, кто убивает, становится Богом. Но тот, кто убивает, убивает Бога. Каждое убийство — это самоубийство, и вечная жертва его — Предвечный".

А где же во всем этом тот, кто остался в живых, кто выжил? Он в конце концов напишет свою просьбу и засунет ее в расщелину Стены. Она будет обращена к мертвым, это будет просьба пожалеть мир, предавший и отвергнувший их. Ибо они могущественны и мстительны, и могут позволить себе все.

Но успокойтесь, полно! Страница перевернута. Звери в человеческом сердце перестали рычать, обливаясь кровью. Здесь, в этом месте, проклятие снято, царство его кончилось. Ни славы, ни святости уже не добьешься, убивая или давая себя убить. Воины вернулись в свои дома, мертвые — в свои могилы. Сироты учатся улыбаться, победители плакать. Да, война окончена, и нищий это знает. Он одинок, но об этом он не догадывается.

Площадь наполняется народом. Обычная толпа: зеваки, туристы, гиды. Сюда, господа, поторопитесь, дамы! В тысячный раз, на всех мыслимых языках я слышу все те же объяснения, которые даются все тем же фальшиво-взволнованным тоном: "Вот мечеть Омара. С этой скалы Мохаммед вознесся в небо. А вот гроб Господень. Плачьте, восхищайтесь, наводите аппараты, улыбайтесь: благодарю! Ну-ну, примите взволнованный, потрясенный вид. Благодарю, благодарю!"

У Малки измята одежда, слиплись губы, она не обращает внимания на туристские группы. Могла бы погладить мои изболевшиеся виски и сказать, что все ра-

ны затягиваются и излечиваются: но она от этого воздерживается, и за это я ей благодарен. Как и я, она знает, что это была бы пустая трата времени. Она робко улыбается:

— Хочешь, чтобы я ушла?

— Да.

— Хочешь, чтобы я пришла опять?

— Да.

Она говорит "хорошо" и встает. Одергивает юбку, поправляет на голове косынку и покидает меня, не оглянувшись. Я вижу ее в толпе, она идет решительным шагом, словно знает, куда ей идти и с кем встретиться. И я вижу себя в день нашей свадьбы: было всего десять человек, миньян, необходимый для церемонии. Чужие люди. Чуть не плача я сказал ей: "Прости, Малка, наши гости не смогли прийти".

"Когда тебе расскажут твою историю..." Да, предсказание оказалось верным. И эта война тоже была рубежом. Кто-то во мне умер, но я еще не знаю, кто. Знаю одно: жив Катриэль или нет — это уже неважно: я перестал завидовать его прошлому, его невинности. Теперь надо продолжать. Это потребует времени, терпения, но нищий умеет ждать.

И все-таки на днях ему придется принять решение, назначить предельный срок ожиданию и, в свою очередь, уйти. Куда он пойдет? Домой, но он еще не знает, где это. Женщина готовится его встретить, но он все еще не знает, кто она. Завтра, или через неделю, все равно, придется вернуться и стереть следы своих шагов, но он забыл обратный путь: на этот путь нельзя вступить безнаказанно.

Победитель? Победа не помешала страданию. Страдание все равно существовало, и смерть тоже. Как успокоить живых, не предавая тем самым отсутствующих? Вопрос все равно остается, ни один новый факт его не снимет. Конечно, тайна добра не менее тревожна, чем тайна зла. Но одно не отрицает другого. Только человек в состоянии соединить то и другое, вспоминая.

Принимая двойственность и раздвоение, нищий по-

рой хотел бы потерять и память — но это ему не удается. Напротив: она все время ширится, набухает, загромождается событиями и лицами до такой степени, что чужое прошлое смешивается с его собственным. И оттого, что он выжил, он уже не знает, кто его союзники, заступники, руководители, и обязан ли он им верностью; для него все под вопросом, в том числе и чудо, которое держит его на поверхности.

Вот почему я остаюсь на этой населенной привидениями площади, в городе, где ничто не теряется и не рассыпается в прах. Это необходимый, неминуемый перевал. Чтобы передохнуть. Чтобы привыкнуть к состоянию, новизна которого вызывает головокружение. Здесь я не считаю ни часов, ни людей. Я смотрю, как они проходят; нищий во мне мог бы их остановить — но он их пропускает. Мог бы и пойти за ними — но пропускает. Катриэль, может быть, существовал, но нищий за ним не пошел.

В конце концов все истории, как и все люди, имеют один и тот же исток, одно и то же начало.

Иерусалим 1967 —
Кристианстед 1968

КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Гершль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш.Й. Агنون. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ

37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Исгуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ МО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. СТАТЬИ ОБ ИУДАИЗМЕ. Сборник
67. А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ

72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н. Бялик и И.Х. Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
 Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля
 С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД – ИЕРУСАЛИМ
85. Жак Держи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС 1947"
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов.
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ.
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ.
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ.
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ.

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ**

**Наши книги можно заказать
также по адресу:
Р. О. В. 39298
61392 Tel-Aviv
ISRAEL**

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Шломо Авинери. **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ.**
Пер. с иврита.

Цель автора книги, профессора Еврейского университета в Иерусалиме, изложить некоторые аспекты еврейской политической мысли, нашедшие выражение в трудах наиболее значительных мыслителей XIX и XX веков, и с их помощью рассмотреть специфику появления современного сионизма на исторической арене.

Хаим Вейцман. **В ПОИСКАХ ПУТИ.** Пер. с англ.

Х. Вейцман (1874–1952) – первый президент Государства Израиль, ученый – был личностью более чем незаурядной. Его дальновидность и мудрость ярко проявляются в книге "В поисках пути" (1949). Книга написана так, что не может оставить равнодушным ни профессионального историка, ни рядового читателя.

Луи Финкелстайн. **РАББИ АКИВА.** Пер. с англ.

Увлекательно написанная биография одной из самых выдающихся личностей начала нашей эры. Луи Финкелстайн (р. 1895), американский теолог и историк, восстанавливает живой образ рабби Акивы и мудрецов, его окружавших; воплощает широкую картину бурной жизни Палестины в I–II вв., выводит образы исторических личностей того времени – Иосифа Флавия, императоров Траяна и Адриана, апостола Павла и многих других. Велик вклад автора в понимание и приятие ценностей иудаизма периода Талмуда.